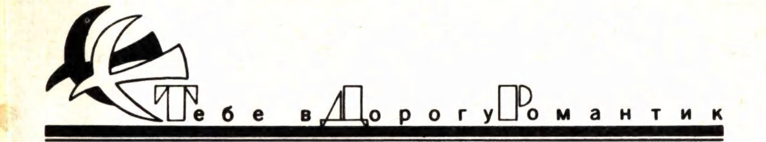
М. ПРИШВИН

СКАЗКА О ПРАВДЕ





М. ПРИШВИН

СКАЗКА О ПРАВДЕ

МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1973

Р 2
П 77

Составитель, автор предисловия
и сопроводительного текста
В. Д. Пришвина

Художник Ю. Иванов

7—6—3
165—72

Правда без выдумки — как самолет без горючего.

М. Пришвин

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА

1

Прочность вещи испытывается временем. Его поток мчится, поглощая все отжившее на своем пути. Но, бывает, вещь в нем плывет — не тонет, она вливается с новой волной в новую жизнь. Мы находим ее, рассматриваем, убеждаемся: это действительно вещь, велика она или мала, это несомненная ценность, победившая время.

Тогда мы, новые, осторожно берем ее в руки, ставим на особую полку в своем доме и, по старинному четкому выражению, «невзирая на время», обращаемся к ней то за помощью, если вещь полезна, то за радостью, если она просто прекрасна.

Так мы понимаем вещь, которую у нас принято называть классической. В этом смысле мы можем сказать обо всем на свете: о картине и о живом пейзаже, о вазе и о комнате, где она стоит, о слове и о человеке, произнесшем это слово, тем более о книге, если человеку удалось создать книгу из своих особенных слов.

Писателю Михаилу Михайловичу Пришвину было отпущено долгое время. Он умер на 81-м году жизни. В 1973 году исполняется сто лет со дня его рождения. Его время проходило в атмосфере двух веков, XIX и XX, среди различных веяний и влияний, в живом воздействии их на него.

Прошло уже почти двадцать лет со дня кончины Пришвина, а книги его выходят и на Родине, и в других странах мира. Жизнь писателя продолжается. Это значит — он оставил после себя достаточно прочные вещи.

2

Одна из существенных черт Пришвина-художника: создавая новую вещь, он не предопределял возраст будущего читателя. Он обращался ко всем, будь то ребенок, юноша или старик, и одновременно к единственному другу, где-то существующему, несомненно для него существующему.

И вот на деле оказалось: у писателя Пришвина объем мысли таков, что одни его светлые до прозрачности рассказы печатаются в хрестоматийных сборниках для малых детей, другие вызывают подчас споры и недоумения взрослых. «Это хорошо, — говорят они, — образно, музыкально, очень народно, но слишком г у с т а мысль, — и добавляют: — Объясните, какой он был, Пришвин!»

Мы могли бы ответить такому читателю на его вопрос словами К. Г. Паустовского, написавшего прекрасное предисловие к посмертному собранию избранных произведений Пришвина. «Пришвин — один из своеобразнейших писателей. Он ни на кого не похож — ни у нас, ни в мировой литературе. Может быть, поэтому существует мнение, что у Пришвина нет учителей и предшественников. Это неверно. Учитель у Пришвина есть. Тот единственный учитель, которому обязана своей силой, глубиной и задушевностью русская литература. Этот учитель — русский народ... Народность Пришвина — цельная, резко выраженная и ничем не замутненная... Жизнь Пришвина была жизнью человека пытливого, деятельного и простого. Недаром он сказал, что «величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди». В этом «быть как все» и заключается, очевидно, сила Пришвина. «Быть как все» для писателя означает стремление быть собирателем и выразителем всего лучшего, чем живут эти «все», иными словами, чем живут его народ, его сверстники, его страна...

В повестях, рассказах и «географических очерках» Пришвина все объединено человеком — неспокойным, думающим человеком с открытой и смелой душой. Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к человеку... Его не интересует наносное. Его занимает суть человека, та мечта, которая живет у каждого в сердце, будь то лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача! А сделать это трудно. Ничего человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и, уж конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно доверить свою мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин».

Казалось, этой характеристикой художника другим большим художником мы могли бы ограничиться в своем введении к книге, если бы тот же К. Г. Паустовский в те же годы, напутствуя молодого писателя Сергея Никитина, шедшего впервые на свидание с Пришвиным, не сказал ему вдогонку: «Конечно,

сходите к нему. Обязательно! Только смотрите, чтобы он не запутал вас. Начнет колдовать, берегитесь. Колдун!» В своей книге «Золотая роза» Паустовский повторил о Пришвине почти те же слова.

Нередко мы наталкиваемся на этот оттенок то влюбленного, то любопытствующего недоумения. Чего-то Пришвин действительно не успел или не сумел по разным причинам досказать. Тем более не сумею сделать этого я. Но мне хотелось бы вместе с читателем проникнуть в душу писателя, в его слово, помочь молодому читателю понять Пришвина. Это будет у нас общий с автором разговор, так начнется наше сотворчество. Ведь это и бывает постоянно в большом искусстве; потому оно и большое, что мысль около него — творчество около него не кончается.

Для полного понимания художника нужно, чтобы прошло время, то время, впереди которого он всегда движется силой своего особого художнического дара. «Поэзия — это предчувствие мысли», — говорит Пришвин. Иными словами, дарование поэта в том, чтобы опережать время, «угадывать» его направление и его смысл, чтобы в образе воплощать движение жизни, эту лаву, еще не остывшую, не затвердевшую в логической формуле, в незыблемом факте бытия. В понимании Пришвина, систематизировать художественную мысль, загнав ее для того раз и навсегда в заранее заготовленные логические отсеки, — это значит ее убить. И если на этом пути мы могли бы даже получить полезный для нашего здоровья мед, собранный с цветов, сами-то живые цветы погибнут.

Пришвин постоянно повторял, что искусство постигает жизнь, ту же самую жизнь, что и наука, но как бы создавая вновь ее в высшем качестве, при этом своими, лишь ему подвластными средствами.

Наука делает свое великое дело, но в отношении искусства мы видим, что самое ж и в о е проскальзывает обычно сквозь ее решето и не дается ей в руки. Пришвин думает об этом так: «Жизнь больше науки».

После этих размышлений мне остается теперь лишь одно — показать читателю М. М. Пришвина в его собственных строках и поделиться некоторыми своими наблюдениями и догадками о нем, поскольку два последних десятилетия его жизни проходили на моих глазах и при непрерывном в ней участии.

Ограниченная объемом книги, я помещу в ней избранное из избранного у Михаила Михайловича и самим построением книги, подбором материала постараюсь рассказать, кто такой в моем понимании писатель и человек М. М. Пришвин, чем он

интересен для новых поколений и как просто можно его понимать.

Две темы, или, лучше сказать по Паустовскому, две «мечты», сливающиеся воедино, заметны в Пришвине как человеке и художнике: первая — это мечта о личном счастье, понимаемом как общение с другом по духу. Когда читаешь его многолетние дневники с молодости и до глубокой старости, остается одно впечатление, один образ: душа, жаждущая любви! Любовь, о которой мы сейчас говорим, — это «радость о бытии другого». В таком понимании личное счастье, которое иной человек даже стыдливо скрывает, это счастье облекается у Пришвина великим светом и смыслом.

Это радость о друге сочувственном, со-мысленном, ценителе твоей души и твоих лучших стремлений, слово «друг» тут в самом богатом его понимании.

Но тут-то и открывается: счастья двух, если только они прячутся в нем от всего живого, тоже борющегося за радость, — такого уединенного счастья мало для человека. Человек, оказывается, тем только и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения со-отнесен. Эта весть и есть наша человеческая со-весть: так названо и освящено веками и поколениями родное, прекрасное, точное слово.

Совесть и является, по-видимому, синонимом поэтического призвания, иначе говоря, голоса, подающего нам весть о чужом существовании как о своем. Это слышит в своей душе безобманно каждый подлинный поэт.

Что же делать услышавшему этот зов? Единственное — ринуться на помощь или на сорадование всем существом, забыв себя.

Самозабвение — это щедрый ответ на голос родства; это чувство ответственности. Оно может проявиться в самой малости, в самой, казалось бы, ничтожной повседневности. Но разве для поэта, услышавшего тот голос, может быть что-нибудь ничтожным в природе?

Как пример выберем у Пришвина самую малость — описание первой зеленой травы:

«...Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка, и кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость... Вот почему я выхожу и в себя и записываю для всех: «Зеленеет дорожка, друзья мои!»

Оказывается, именно в обращенности ко всему живому, в самозабвении, в этом особенном вольном воздухе духовной сво-

боды — в этом полете души и встречает человек свою радость Достаточно ее увидать — и тут же слетаются к нему, тоже как птицы, наши лучшие слова, издавна полюбившиеся народу и утвержденные великой русской литературой. Это — «справедливость», «самоотверженность», «со-чувствие» и, наконец, «любовь».

Вот как преображается вторая тема Пришвина — тема общечеловеческой связи — в дело жизни. Это уже не мечта — это работа. Пришвин четко называет ее для себя: родственное внимание. «Внимание, как величайшая творческая сила, лежащая в основе всякого дела на земле».

Эти две темы — родство с другом и осуществление жизненного дела, обращенного ко всем, — они срастаются, становятся творческой необходимостью, как у птицы два крыла, чтоб ей дальше лететь.

Выход из себя — радостная самоотверженность безгранично расширяет пространства, где живет и ожидает нас друг. У Пришвина его устремленность к человеку идет через всю жизнь, причем друг этот может быть за тысячи верст и «даже без имени». Но тем не менее к нему направлено все, о чем пишет художник. Чтобы стать счастливым, достаточно уверенности в том, что друг существует.

Пришвин не запрашивает многого у жизни — он только борется за человеческое достоинство, за лучшее, в то же время строго проверяя себя по природе: не нарушил ли он пределы ее гармонии, ее мудрого равновесия. Пришвин не отделяет вовсе себя от природы, и в то же время он поднимает ее на мыслимую человеческую высоту: «Природа это любовь, а человек — это что из любви можно сделать». И еще он пишет: «Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому».

3

В этих двух берегах, или «мечтах», и протекла жизнь и работа М. М. Пришвина. Не хочется произносить в отношении к этому человеку несколько выспреннее слово «творчество», так все в жизни его естественно, искренно, слитно. Он записал в своем дневнике: «Чем я силен? Только тем, что ценное людям слово покупаю ценой собственной жизни».

Такие слова записал он, конечно, для себя и побоялся бы человеческого к ним прикосновения. «Мечта не выносит самого малого осмеяния», — прочли мы только что у К. Г. Паустовского и не без колебания решились открыть это интимное признание читателю.

Перечитывая написанное Пришвиным за пятьдесят лет, устанавливаешь для себя почти что закон: не устаревает искреннее — такое, где, по слову Пришвина, писатель еще не успевает «излукавиться». И потомки ценят искреннее, пусть даже в чем-то несовершенное, иначе сказать — не довершенное художником по каким-то причинам. Происходят постоянные изменения в сознании, изменения во внешних событиях и обстановке жизни, и в то же время человек остается неизменяемым в своем существе от рождения и до могилы. Это можно сказать о М. М. Пришвине. Впрочем, каждый, кто имеет за плечами долгий путь, тот знает: жизнь, оказывается, коротка, как одно усилие, как рывок в неизведанное пространство. Она так коротка, что ребенок не успевает состариться перед лицом великой вечности, стареет лишь тот, кто поддался Кащею (проще говоря, всякому проявлению зла) или сам превратился в него. Об этом образе Кащея в пришвинском творчестве будет сказано особо.

Человек вырастает из природы, чтобы с нею бороться и в то же время чтобы ее же спасать. Человек этот прекрасен, он *должен* быть прекрасен! «Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидал лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел — и увидел небо. Так и мое искусство, друзья, не больше лужицы, в которую из-за нашей спины смотрится невидимый нам весь человек с природой своей, небом, деревьями, водами, и я пишу вам только, чтобы вы обратили внимание».

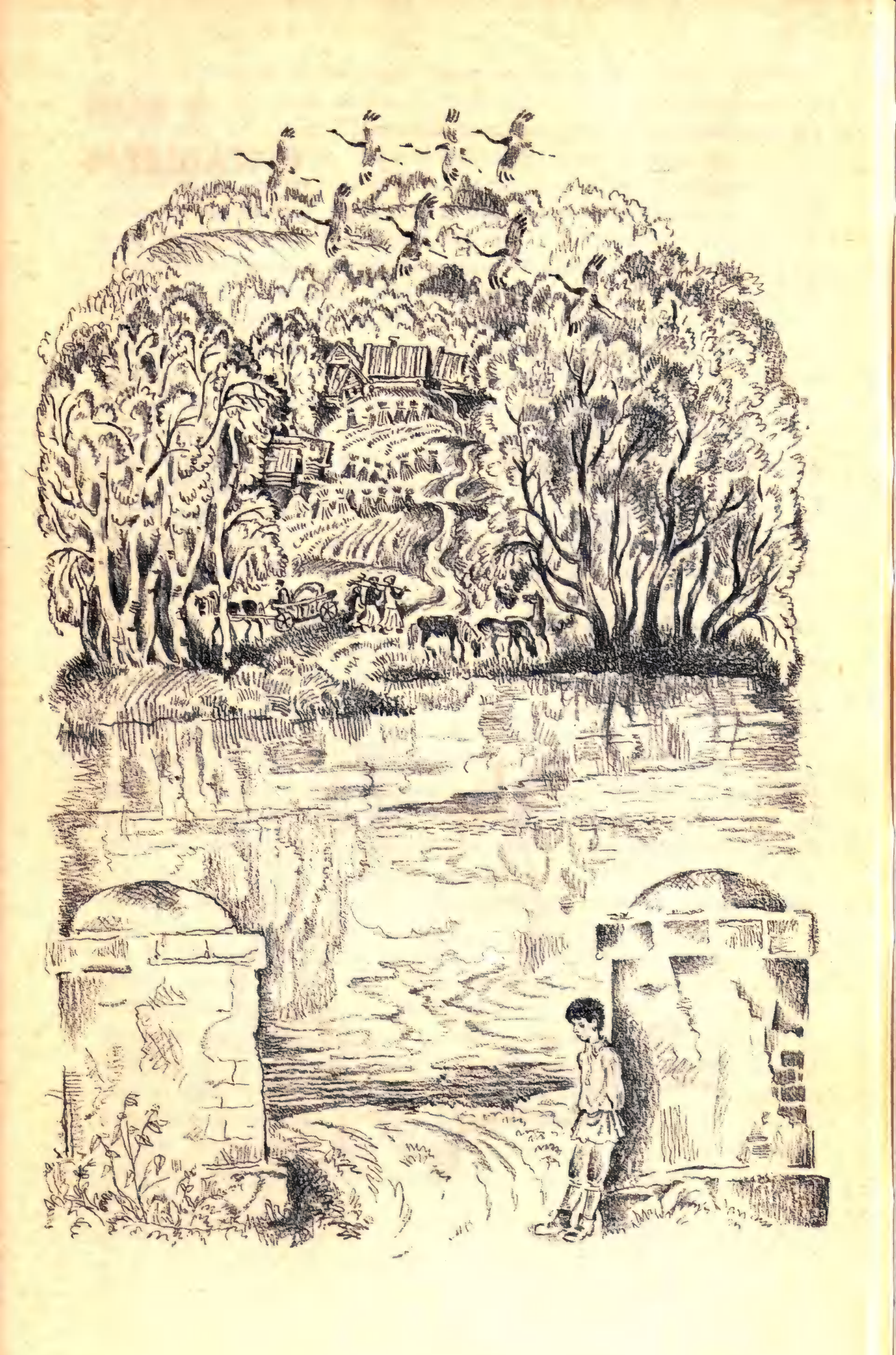
Таков, по мысли Пришвина, и каждый из нас. Таков и мальчик, о котором написан в конце 20-х годов автобиографический роман «Кащеева цепь» (там его зовут Курымушка). Этому же мальчику посвящен и последний в старости недописанный роман «Осударева дорога» (там его зовут Зуек). «Зуек — это я», — говорит Пришвин, начиная последнюю переработку романа незадолго до своей кончины.

Заканчивается роман торжественным открытием вновь построенного канала. Ребенку Зуйку разрешается первому привести в движение работу воды: «Мальчик махнул рукой, на водосбросе повернули ручку — и падун замолчал. Мальчик опять приказал — и падун опять зашумел, и опять, как человек, кто-то в нем все шагает вперед и вперед... Это добрая мысль человека, глядящего в беспредельную даль, о том, что каждый из нас где-то соединен с другим человеком и все мы люди в суровой борьбе за единство свое, все, как капли воды, когда-нибудь придем в Океан».

В. Д. Пришвина

В БОЙ С КАЩЕЕМ





Детство Пришвина, описанное в автобиографическом романе «Кащеева цепь» *, протекает в русской деревне, переживающей недавнюю реформу 1861 года. В народе назревают настроения близкой революции.

М. М. Пришвин родился в семье бывшего купца, в небольшом имении Хрущево Орловской губернии; имение это досталось отцу по наследству.

«С малолетства, — пишет Пришвин в конце жизни, — я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Отец был увлекающимся человеком. Так, он увлекся конным спортом, потом садоводством, охотой и, наконец, карточной игрой. Он спустил свое имение и впал в неоплатные долги. Умер он рано, когда мальчик был еще маленьким, оставив свое перезаложенное имение и пятерых детей мал мала меньше на руках матери.

Мать, работая «неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить образование», — пишет Пришвин.

Мальчик вырос в близком общении с крестьянами. Товарищами детства были крестьянские мальчики. При впечатлительности и наблюдательности будущего художника крестьянская жизнь слилась с его собственной, и понятно, почему эта тема — жизнь крестьян — будет одной из постоянных, сочувственно и тревожно отражающихся в его творчестве. «Всю жизнь я толкусь среди крестьян», — напишет Пришвин в 20-х годах.

Совесть рано открыла мальчику реальное зло в мире природы и людей, и он сразу бросается с ним в бой. Так проявляется «призвание» будущего художника. Существо, с которым он борется в детстве, — это сказочный Большой Голубой. Все в нем еще смешано — и добро, и зло: то Голубой предстает как образ страстно

---

* Роман начал печататься с 1923 года.

желаемого доброго и мудрого отца (может быть, потому, что мальчик рано осиротел), то как образ зла из народной сказки, слившийся с образом Кащея.

Мальчик борется за свет, он презирает Кащея — и Кащей истощается, отступает в тень, лишенный внимания человека. Зрелый художник Пришвин напишет об этом так: «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью».

От непонятного, двойственного Большого Голубого, увиденного таким в детстве, остается в конце концов у художника после его долгой борьбы с Кащеем один лишь высокий голубой свет. Он вспыхивает то здесь, то там по страницам и в конце жизни пронижет насквозь, прямо-таки потоком зальет одно из самых светлых произведений Пришвина, «Повесть нашего времени».

Почему именно голубой? Иными словами, почему Пришвин так часто прибегает к цветовым характеристикам?

Надо сказать, что Пришвин считал себя от природы живописцем, работающим «мастерством чужого искусства», то есть средствами поэтического слова. Отсюда становится понятным его плененность цветом. Вот, например, из дневника: «Апрельский свет — это темно-желтый, из золотых лучей, коры и черной, насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь ходим».

Пришвин пишет о «синей тишине» *. Для Пришвина цветом окрашиваются самые различные явления жизни. Так, у него соотнесены цвет и звук:

«...В эту зарю все так было в небесных цветах, так согласно высвистывали свои сигналы певчие дрозды, что как будто из переходящего цвета зари и рождался звук певчих птиц».

Но почему же в «Кащеевой цепи» цвет *голубой*? Потому что он в восприятии Пришвина и есть солнечный. Без солнца существует только тьма или еще отраженный свет луны, неверный, таинственный: добра он или зла? Солнце же — сама жизнь и образ истины. Навстречу ему и устремляется всеми силами души маленький художник.

В детстве — и на всю жизнь — возникает у Курымушки еще один сказочный образ: прекрасной Марьи Моревны. Это образ «неоскорбляемой» женственности во всей мыслимой ее чистоте.

---

* Уже после опубликования этой записи в «Глазах земли» мы встретили у немецкого писателя Штриттмахера знакомую нам «синюю тишину».

Понятно, почему встрече с Марьей Моревной сопутствует образ Сикстинской мадонны, висящий над ее постелью.

Так и пойдет через всю жизнь: без сказки не бывает и правда. Правда без сказки — как самолет без горючего.

Сказка, по Пришвину, поднимает человека на борьбу с силами зла за самую что ни на есть реальную жизнь. Пришвин точно определяет в этой борьбе свое место мыслителя и художника: это «та точка, где кончается природа и начинается человек». Точка эта означает некое их идеальное единство: природа еще сохраняет свои соки, свою силу, свою «правду», свою «девственность», а человек в ней уже действует как ее первенец и ее преобразователь. Человек с его духовным миром — это и есть «чудо» природы, ее «сказка».

Влечение художника к свету, к «светлой стороне жизни» сказалось и в том, что роман «Кащеева цепь» был задуман, по признанию автора, как роман не столько о себе, сколько о хороших людях, его окружавших, в противовес ненавистному ему скепсису *. Пришвин называет скепсис «врагом жизнетворчества», не только высматривающим везде темное, но и тайно влюбленным в него, порочно его смакующим, чуждым нашей отечественной культуре.

Это особое «пришвинское» отношение к действительности никак не надо нам понимать как отрицание «критического реализма». Это своеобразие художника, позволяющего себе отстаивать свой тон восприятия и действия. Он никому не навязывает своего, он откровенно признается, что сатира ему чужда.

Кстати, следует сообщить здесь одно, еще неизвестное признание Пришвина: иногда и он поддавался чуждому ему восприятию жизни. Так, в свое время в «Кащеевой цепи» он безвыходно мрачно описал провинциальную елецкую гимназию и своих учителей **. Впоследствии Пришвин об этом высказывался по-иному в своем дневнике. Например, в 1943 году он пишет так: «Сколько лет должно было пройти (60 лет!), чтобы я мог отделаться от чувства обиды и несправедливости за мое исключение из гимназии и признать наконец, что они (старшие) были правы, и я должен был быть исключенным. Для этого должна была пройти вся русская революция между двумя мировыми войнами... Учителя не были так плохи, как я их изобразил».

---

* А. С. Пушкин, Публицистика. «Скептицизм во всяком случае есть только первый шаг умствования». Academia, 1936, т. 1, стр. 30.

** Среди которых был хотя бы Первов — первый переводчик Паскаля.

Автобиографический роман «Кащеева цепь» есть, по определению Пришвина, «песнь мальчика о своей родине». Свою реальную жизнь без прикрас, без опоэтизирования Пришвин понимает так: «Вся моя литературная деятельность была отдана чувству родины». О ком бы Пришвин ни писал — все он соотносит с Родиной своей — любимой Россией. С ней связывает он и образ матери. Он говорил, что и писать-то начал в молодости для матери, чтоб доказать ей, что он, неудачник в глазах близких людей, исключенный гимназист, недоучившийся студент, высланный подпольщик (об этом мы еще расскажем), чем-то может ее утешить и возвыситься в ее глазах над обыденностью. Он не помышлял тогда о себе как о писателе. До самой смерти возвращается он к имени Марии Ивановны Пришвиной и к имени России.

Есть у нас в доме старинный портрет. На нем мальчуган — это Миша Пришвин. У него сосредоточенное, как у взрослого, без улыбки лицо. Сделав в 1942 году перепечатку с этой фотографии, Пришвин записал у себя в дневнике: «Напечатал свою фотографическую карточку «Курымушка» и вспоминал свое прошлое; мне кажется теперь, будто мальчиком не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал».

С этим мальчиком и познакомит вас первая часть романа, названная автором «Голубые бобры». Почему они тоже *голубые*, станет ясно из первых же глав.

Открывается роман, как это характерно для Пришвина, описанием простейшего; за этим автор скрывает значительное, о чем читатель сразу и не догадается. Описывается заяц, сидящий на крыльце покинутого помещичьего дома. Но так лишь на первый взгляд.

Вглядишься в него — и заяц оказывается тоже сказочным: это один из образов самого Курымушки, будущего художника и автора романа. Образ так неожидан, так свободен, что сразу вводит нас в атмосферу пришвинского мира: этот мир — человек, стоящий на грани природы. Он одновременно и сказочен, и трезво реален: заяц и заяц. А по-иному посмотреть — это волшебник, творец нового, прекрасного мира.

Рассказ о зайце обрамлен фразой о тройном умирании: «Усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал».

Достаточно прочесть это короткое начало романа, чтобы почувствовать художника. И еще понять: поэт ничего не теряет, будучи прозаиком. У Пришвина это настоящая поэзия.



КАЩЕЕВА ЦЕПЬ

(Отрывки из романа)

ЗАЙЧИК

Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотою тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц...

Я не поверил своим глазам — подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.

Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место

героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием *«Двенадцать добрых дел»* и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика: невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было еще довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.

— А что, — подумал я, — случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: «Смирись, мол, писатель, не умствуй, герой — это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зайчишке».

— Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячихина мать.

— Марья Васильевна, — сказал я, — слыхали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?

Старуха всмотрелась и вникла.

Я подсказал:

— Заяц ли это?

Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.

— Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?

Старуха еще раз перекрестилась, уж не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала:

— И очень просто — прикинулся, да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужикам.

Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и в прах.

После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!

К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки заячье: Курымушка.

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако, совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и все приняли как автобиографию и семейную хронику.

Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь, и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты — не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик

и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.

ХРУЩЕВО

Родился я в 1873 году в селе Хрущево Соловьевской волости Елецкого уезда Орловской губернии по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы.

Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью — Поповка, где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке и третья — в усадьбе.

Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина, кажется генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину.

Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.

В барском имении мой отец вел себя не по-купечески: весь огромный усадебный двор он окружил

строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная *, поперек под углом — старая маточная и за нею — варок **. В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым.

Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.

А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского «принца».

Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».

Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.

Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно

* Маточная — помещение для кобыл с маленькими жеребятами.

** Варок — огороженное место для выгула коней.

жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и, мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника.

Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе! Черноземная земля под Ельцом представляет собою край того обезлесенного, выпаханного чернозема, где богатейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек «культурный» укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах.

Совсем другое — родная земля на родине моей матери, легкая, покрытая лесами земля по Оке.

Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.

КУРЫМУШКА

В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и за то получил с малолетства прозвище «Курымушка».

Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал.

Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле.

Я думал, что у каждого из нас жизнь как наружная оболочка складного пасхального яйца; кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, — раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше. Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все

нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было: все отлетело, и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала:

— Папа просит тебя на постель, полезай к нему!

Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: *голубые бобры.*

Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога, — нет ответа! Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

— Царство небесное! — перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

— Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота.*

— Ну что ж, — ответил Курымушка, — зато у меня вот что есть!

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры.

— Фантазер был! — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Курымушки.

— И правда — одни голубые бобры. Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной закладной, пять человек детей!

— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле — и это у него естественно; разорится и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.

— Хотят жить как господа!

— Вот и пожили: все профуфукал покойник, и, правда, остались какие-то голубые бобры.

— Сиротка, — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. — Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина.

Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:

— Теперь всю жизнь работать на банк!

— Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.

— Ну, вы дворяне, вас все-таки опекают.

— Зато вы такая здоровая и сильная.

— Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.

— Почему вы так думаете?

— Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.

Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму, и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он сирота, что «мы купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.

БЛЕДНЫЙ ГОСПОДИН

Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидеть Курымушке. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.

— Рыжка — *того?*

— Причинает, Марья Ивановна!

— А Бурышка?

— Не *того!*

— Опять ты за свое «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурышка... того?

— Пошла в передой.

— Вот те раз! Ну как же ты это допустил?

— Да это не я.

— А кто же, не ты?

— Бык ослабел.

— Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел!

И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.

Кто это Банк и где он? (На небе господь живет, а Банк — в городе, на синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там — Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк, — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.

Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку и о том, как можно освободиться от Банка.

— На ле-галь-ном положении, — говорит Дунечка, — я долго работать не буду, это я временно.

— Да, только бы освободиться от Банка! — постоянно говорит мать.

— Нужно терпеть, — учит Софья Александровна, — наша вся жизнь есть долг и терпение.

Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.

Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал, — если велят по-хорошему, то хо-

чется идти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин — и это хуже всего — был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему. «Сама виновата, — ответил старец, — не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца.

Все это шепотком от прислуги — это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:

— У вас почем стала рожь?

— По восемнадцать копен.

— Хорошо! Вязь большая?

— Не обхватишь снопища.

— Как все у вас ладно выходит!

— Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащат у вас?

— Мешками тащат, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.

— Я научу вас, как нужно.

— Нуте-с?..

— Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уже бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду, будто отдохнуть, на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересижу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание — и время потеряли, и мешки.

«Вот какой хитрый старец, — думает Курымушка, — и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться старца?»

Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила: «Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что

сама в этом плохо понимает — почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.

— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?

— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю — из них могут потом выйти очень хорошие, умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смирятся и будут умные люди.

— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, — он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним как за богом шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.

— Не говорите так, Мария Ивановна!

— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.

— Да разве так можно?

— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за больную собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.

— Не-ле-галь-но, — твердит Курымушка.

— Что ты там шипишь? — спрашивает его мать. — Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро ужинать.

И опять Софье Александровне:

— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, пока...

— А потом?

— У них про-грам-ма: жить без царя.

— А потом?

— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ниа-тюр-ная, кулачки свои крошечные подымет; царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.

— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?

— Симментала? Нет еще.

— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.

Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин, —

Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на легальном положении хуже», — думал Курымушка.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи — все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля — сокол поднебесный,
Воля — светлая заря.

Матери песенка эта очень нравится, она говорит:

— Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.

А за дверью громкие вздохи и кашель.

— Кто там?

— Я!

— Гусек?

— Так точно!

— Тебе что, Гусек?

— К вашей милости.

— Ну, что?

— Землицы!

— Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?

— Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.

— Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов ловить.

И просветлив потемневшее лицо:

— Нуте-с?

Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».

— Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще слово «ер».

— Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.

И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит:

— Нуте-с?

Прежний голос поет:

Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я?
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.

Дунечке это не нравится, она не любит царя:

— Какое старье ты поешь!

И читает:

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать,
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

— Какую же правду? — спрашивает Софья Александровна.

— Правду какую? Вот:

В мире есть царь, этот царь беспощаден...

— Ты, Дунечка, — говорит тот голос, певший «волю», — вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двухлошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.

И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слыхал:

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.

А мужик все вздыхает в передней.
— Ты разве не ушел, Гусек?
— Никак нет.
— Что тебе от меня надо?
— Землицы.
— «Землицы, землицы»! Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоем месте и носа не показала сюда. Ты намедни скородил?
— Скородил.
— Борону ты сломал?
— Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.
— Кто же сломал?
— Сама сломалась.
— Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех землей наделить.
— Сделайте божескую милость.
— Ухо-ди! Нет у меня земли.
— Какую-нибудь завалящую.
— Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою ни отдыху! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!
Только собралась опять с духом и сказала свое «нуте-с» — в передней новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко приотзынул дверь.
— Что там?
— Мужики пришли.
— Вот те раз! Те?
— Те самые, намеднишние.
— Что им надо?
— Земли просят: запольный клин.
— Рожна им! Запольный клин хотят энти снять.
— Энти посильнее.
— Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята».
И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять приотзынул двери.
— Энти! — шепнул.
Мать моргнула.
«Энти» — богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и вод-

кой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.

— Что вы пришли?

— К вашей милости.

— Ну что... к милости?

— Пожалейте нас!

— Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте.

Перечисляет все их преступления за лето.

— Это не мы, — защищаются «энти» мужики, — это те, они разбойники, а мы...

— Те, те! — сердится мать. — А чьих загоняли лошадей?

— Мы прикоротим!

— И в саду копыта видела!

— Это те.

— Ваши копыта!

А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, довольная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижних полочках за дверцами — четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попадет в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уже настежь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.

— Все?

— Никишке красное.

Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, что пьет! — в стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.

— Извините, я сейчас! — повторяет хозяйка гостям.

И последнее — короткий наряд на завтра:

— Хватею — солому возить, Кузьме — дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?

— Слушаю.
— Ступай.

Конечно, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: «Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой глаз» тревожно смотрит на дверь.

— Там кто?
— Я!
— Кто ты? Гусек?
— Так точно!
— Тебе что?
— Землицы!

Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «завалящий клок» под работу в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: «Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим Гуськом».

ГУСЕК

Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие на полях они — те же самые мужики. «Это не они виноваты, — решил Курымушка, — это наш дом такой: мы купцы».

Было однажды весной, у колодезя Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:

— Посторонись, барин!
— Какой он барин, — сказал Павел, — он купец.
— А что значит купец? — спросил Курымушка.

Павел ответил:

— Индюх!

Было очень обидно.

— Нет, брат, — успокоил Гусек Курымушку, — ты не горюй — купец нам с тобой самый хороший человек; купец — человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит птицу.

— Какую птицу!
— Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.

И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть, но Гусек подводит к любимому.

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела — перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.

— Люб ли тебе?

— Они все одинаковы.

— Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попова огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусек?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый. Перепела в поле разные, хорошие редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат — залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать — и в поля. В прежнее время, — рассказывает Гусек, — купцы к нам в каретах съезжались, с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.

— Озолотит?

— Озолотит! Буду богатый и куплю тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий — белый.

— Белый?

— Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— Погоди, — шепчет Гусек, — соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть...

— Закричит?

— Во-она!

Гусек шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное «ма-ва».

Стихают один за другим соловьи: чмок-чмок, и конец.

И кажется, звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чемуй-то много жундит жуков, — шепчет Гусек.

— К чему?

— Да бог его знает к чему. Молчи.

Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Ку-а, ку-а! — передразнивает недовольный Гусек.

Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.

Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю — от попова огорода и по Горелый пень — будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, — крикнул перепел.

— Голосистый? Белый?

— Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще.

Голосистый не шутит: бьет — в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусек напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусек свою кожаную тюколку и тюкает.

Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть: «Тюк-тюк!»

И наступает решительный миг, самка взяла:

«Тюк-тюк!»

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:

«Пить-полоть!»

А она в ответ тихо:

«Тюк-тюк!»

Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно, ему!

Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник — колко! На прошлогоднюю полынь — гнется! Хочет крикнуть — голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» — хриплое и неслышное, страстное «ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!

— Летмя, летмя! — шепчет Гусек, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшится — и не может. Хочет быть как перепел — тесно.

И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

«Ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

«Иди, иди, любезный перепел», — замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью — плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнув-

шись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

«Видит или не видит?» — замирает охотничье сердце.

Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую голову из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он — тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу. Думать тут нечего!»

Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.

Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусек будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит!

Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.

— Поймай, Гусек, Христа ради!

— Сию минуту, — отвечает Гусек, — не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее теп-

леньким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусек и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство, купеческие перепела — белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете!

Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.

Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.

— Во-она!

— Что ты, Гусек? Покажи.

— Серый, — качает головой Гусек. — Опять мимо капнуло — русака ловили.

Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

— Так и нет их на свете?

— На све-те! Что тебе, свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места.

— А где новые места?

— Известно, в Сибири.

— И там, верно, есть белые?

— Там перепела все белые.

— И бобры голубые?

— Синенькие, зелененькие. Там всякие есть — по дорожкам бегают. Надо бы и нам подаваться туда.

ТАЙНА СУШЕНОЙ ГРУШИ

На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду — сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет

выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что — трава на клумбах! Отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю — это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это — розы, это — вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья Курымушки — гимназисты. Бывало, только заслышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками, — тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:

— Гости!

Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: «Выйдут и попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека — и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и оттого-то все разбегается и разлетается, когда заслышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется... Обернулся — и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.

— Что с тобой?

— Ничего, я обедню служу.

Сбылось однажды тайное желание Курымушки — всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.

Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну — и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.

— Стяни мне сухарь.

— Вот еще!

— Ну, так я покажу сейчас грушу.

И кончик ее показал ему под столом.

«Не покажет, — думает Курымушка, — не осмелится».

А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше. «И вдруг покажет? Нет, не осмелится!»

— Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?

— Не стяну.

— Не стянешь... Ну, так вот же тебе!

Кладет руку на стол и медленно открывает.

— Подожди, подожди!

— То-то.

Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава богу, благополучно сошло!

— Ну, отдавай теперь грушу.

— Как бы не так! Стяни мне конфетку.

Пришлось и конфетку стянуть.

И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши Коля распоряжался Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.

ОЗОРНАЯ ТРОПА

В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:

— Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.

— Давай.

— И зажарим на вертеле, как Робинзон.

— Какого же гуся?

— Поповского. Поповские самые жадные!

Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови.

Хватились — нет спичек. Один побежал добывать и вернулся:

— А не вытрем ли из дерева?

Долго трут палку о палку, ничего не выходит.

— Нет, ступай скорей за спичками.

Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что, если и его они палками: «Не подглядывай, не подсматривай!» Невозможно.

Вот бежит, запыхался.

— Добыл?

— Есть!

— Ура!

Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет, крадучись, а пшеница ему — как лес, конца этому лесу, кажется, нет, и только небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное, что пшенице конца нет, что тихо, а Большой Голубой смотрит и все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади, давно уже сомкнулась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям — будь что будет, — только бы не быть одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гокнул о сухую набитую озорную тропу, гулко ударился — и как закричит! Братья от гусиного крика — прысь назад и, не посторонись Курымушка, сби-

ли бы его с ног. Но он, услыхав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка: «Избави нас от лукавого». Упадет, прошепчет молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица, дево, радуйся», — обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочел: «Господи, милостив буди мне, грешному», пшеница кончилась, и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.

Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше, но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие — они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши — как бы просто, казалось, открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди открой, — ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у старших есть свои тайны — у Софьи Александровны со старцем, у Дунечки с Бледным господином, и старец и Бледный тоже, наверно, пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот скажи вслух про нее.

БОЛЬШОЙ ГОЛУБОЙ

До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика уносимой ястребом птицы: как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то Большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороть Голубого, я это знаю, не миновать этого. Но все-таки совсем он один мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю: «Отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть

Голубого, не сделай его напрасной жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой ястребом птицы».

Есть тайна у Курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы в пшенице кровавый гусак.

Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собой говорили:

— Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством. Некогда за детьми посмотреть и не на что, должно быть, гувернантку нанять. Дети совсем одичали.

— А как хорошо бы здесь жить богатым! Это настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна.

Ее звали Катя.

В другой раз Курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла — не было Маруси, она всегда была одна, и эта она так радовала и так мучила Курымушку. Она всему радует и от всего спасает, но тайну эту никому сказать нельзя, и если узнают, то пусть лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся», и вдруг огненно покраснеешь, — раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда скажут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак», и тогда встают перед глазами ужасные картины: и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает:

— Что с тобой? Отчего ты такой бледный?

— Должно быть, муху проглотил, — отвечает Курымушка.

Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой, чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял.

Отец, отец, пожалей своего мальчика!

Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом вошла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах — настоящая Марья Моревна!

Она вошла и сказала:

— Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке, ей хочется побыть с родными — у нас столько здесь воспоминаний.

Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина в черном.

Долго они потом ходили обнявшись по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой.

— Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня? — спросила дочь генеральши.

— А вон стоит.

— Возле нее был налив?

— И налив на своем месте.

«Не убежать ли, — схватился Курымушка, — а то еще вспомнят и розанку». Но подняться было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было смотреть на Марью Моревну и думать: «Вот это она, вот это она пришла, настоящая».

Генеральша говорила:

— Нужно отдать справедливость этим купцам: они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них — у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня розанка, и внизу в стволе ее было окошко.

— Помню, как же... Да вот и она стоит!

— Ну пойдем посмотрим.

Курымушка не успел убежать. Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:

— Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.

Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:

— Мария Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство.

— Какая там уж превосходительство! — улыбнулась генеральша.

— Вот настоящие господа! — говорила няня после Курымушке.

— А мы-то не настоящие?

— Ну, какие мы господа, мы купцы!

Никто не мог так радоваться гостям, как мать, она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина!» Чего-чего тут для них не наготовили!

За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая она, про которую все говорят — кра-са-ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу — взглянут и скажут: кра-са-вица! — об этом он так решил: «Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разно, а красавица одинакова со всеми — богатыми и бедными, большими и маленькими, да! Вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит совсем как с большими. Но что, если вдруг, — в ужасе подумал Курымушка, — она — эта настоящая и единственная она — за столом ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это она!» На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу пустить и вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот правда Марья Моревна смотрит прямо на него, улыбается...

«Господи, милостив буди мне, грешному!» — готовит Курымушка своего гусака.

Марья Моревна спрашивает:

— Ты умеешь читать?

Курымушка сказал про себя: «Ад, сатана!» — и сразу пустил гусака.

Земля там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, — теперь ногти эти срастаются, и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обры-

ваются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он победил. Мать говорит:

— Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел?

Курымушка ответил:

— Должно быть, муху проглотил.

— Вот всегда ты хапаешь ртом. Ну выпей поскорей воды, может, пройдет.

Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:

— Я умею читать.

— Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен. Не читал?

— Нет, не читал.

После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.

БОЙ С ГОЛУБЫМ

В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел затрубил, он не слыхал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поскорей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает — ужасно! Попробует дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел — еще страшнее! Нет, дальше так нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать и чтобы уж к этому месту никогда не подходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась. Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее зеленый вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица-сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло.

— Ну что? Читал мою книжку? — спросила Марья Моревна.

В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон уносимой ястребом птицы.

— Что с тобой? — спросила Марья Моревна.

— Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.

— Чего же ты дремлешь? Слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!

Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голубой, и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда за ястребом пустился Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях и вспомнил: нет у него крыльев, и ястреба ему невозможно догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по зарослям, прыгает; только что выбрался... что же там под голубым небом и палящими белыми лучами полдневного солнца? Там — то самое страшное, желтое, непереходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там, где-то в этом же поле, на одном месте все кричит и стонет жалобно птица. Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.

Большой Голубой стал против него: «Кто у нас одолеет?»

Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед — и ад, и сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рассекая воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.

Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак; сюда, в этот овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет, и в этот самый овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один кустик, и прямо за

ним слышно — пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями.

На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст.

За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впустив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных седых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнутого клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, четвертый...

Умирающий пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле, «домой иду», и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она — хлоп! хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них тоже значит свое: «домой, домой улетаю». Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями оправляется, обирается и улетает жить в сад. Теперь все это, разбросанное в мире: голубое небо — все, желтое поле — все, и лес далекий впереди — весь, и сад назади — весь, — все вместе собирается и летит сюда в голосе, и голос этот милый зовет и все близится, близится, и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:

— Ты — герой!

Счастливые проходят дни, и, как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсен. Теперь там картинки больше уже не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка: на ней лицо

с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими крыльями.

— Знаю теперь, знаю, — говорит Курымушка.

— Что ты знаешь?

— Красавица, это значит — ты на картинке.

— Ну и я хочу что-то сказать... хорошее.

— Я гадкий.

— Почему ты это знаешь?

— Я видел себя в зеркале: я Курымушка.

— А не смотрись в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.

Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.

— Ты лебедь?

— А ты лебеденок. Я унесу тебя далеко.

— Где живут голубые бобры?

— Там все голубое.

ПЕЧЬ КАМЕР-ЮНКЕРА

Бывает летом — накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, под навесом, чаю попить, но выходит мать, осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают, а на дворе работники только что запрягают.

— Что-то я заспалась сегодня, — говорит она, — мужики уж на работе. И все так: пока сам не проснешься, никто у нас не начнет.

Она всегда про себя говорит «сам».

— Сам встал до свету, — ворчит она, — кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам.

Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени, под навесом балкона.

— Нельзя, — говорит мать, — там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Переносите все в комнату, живо.

— Мама, — просит Курымушка, — зачем в комнату? Мы же не будем работать, все равно будем чай пить.

Стыдливо бормочет мать:

— Мало ли что!

И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами.

«Она боится мужиков, — думает Курымушка, — так же, как мы боялись раньше гостей, мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А чего их бояться?»

Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него есть тайна, и, должно быть, большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уже осенью, и сразу от него на дворе все стало не так.

— Вот конюх так конюх, — говорит мать, — и лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит, таких еще у меня не было!

Только одно плохо — на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:

— Что тебе говорят, Иван! Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я тебе приказала починить колодезь.

А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу переменилась:

— Иван, как бы круг на колодезе починить.

С тех пор всегда говорит ему: «как бы». А отойдет от него и жалуется:

— Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный.

Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:

— Ешь сам. Что у меня, рук, что ли, нету яблок нарвать?

— Тебя поймают.

— За что?

— Яблоки не твои.

— А твои, что ли, они?

— Мои!

Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:

— Ты головастик.

С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок — везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни возьмется. За дугу — в глазу его: «Ну разве у настоящих такая дуга?» Конь застоялый взовьется у него в руках, как огненный, а он

хлестнет его, и так, будто это последняя кляча; и все так — и этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж, не за что ухватиться пока.

«Не Балда ли это? — думал Курымушка. — Тот ведь тоже был хороший работник, а что из работы вышло: от одного его щелчка поп улетел».

Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз «Балду» и, когда прочел:

— Нет, Иван не Балда.

Про Ивана каждый день говорили: «Вылитый он». А он был Бешеный барин, атеист.

ТАЙНА ИВАНА

Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний; где-то в гостях — очень редко случалось — были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла — не проверять ли, что было на печке? Совершенно один был в старом доме Курымушка и вдруг слышит голос: «Царя убили!» Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя». Курымушка, услыхав, подумал сразу о Дунечке: «Теперь Дунечке хорошо будет». Но за криком и плач начался, шум, топот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.

— Да вот убили царя-батюшку, — всхлипывает няня.

— Чего ты плачешь, няня? — спросил Курымушка. — Что будет от этого?

— Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.

«Топорами на печи сено косят раки», — подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления.

— Ай-ай-ай! — вдруг залился Курымушка.

Няня испугалась:

— Что? Что ты?

— Как что? Мужики пойдут с топорами!

— А может, и не пойдут.

— Пойдут, непременно пойдут.
— Ты-то почем знаешь?
— Царя убили.
— Царя-то убили.
— И пойдут.
— Очень просто, пойдут.
Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.
— Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?
— Нужно позвать мужиков, посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков!
— Как мужиков?
— Наших ребят, наши смирные.
Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел.
Няня говорит Ивану:
— Теперь всех перечистят?
Иван отвечает:
— Всех под орех.
Курымушка:
— И нас?
— Какие же вы господа? — усмехнулся Иван.
— Слава богу, — обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: — Почему не тронут купцов, Иван, открой мне всю тайну!
— Купцы на капиталы живут, — сказал Иван. — Да ты этого еще не понимаешь, я тебе растолкую. Сотворил бог Адама на земле?
— Ну сотворил.
— Адам согрешил, и бог его выгнал из рая. Знаешь?
— Слышал.
— А знаешь, что бог сказал человеку, когда выгнал из рая?
— Не знаю.
— Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.
— Это знаю.
— А вот Гусек есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?
— Перешла к маме.
— Твоя мама купила у господ. А как она к господам от Гуська перешла? Они ее не покупали. Кто ее дал господам?
— Царь, должно быть?
— Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.

— Да вот, — сказал Павел, — у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к господам, а от господ к купцам.

— И вот теперь опять к вам перейдет?

— Вот будут землю столбить, тогда разберут.

— Как столбить?

— Ну, барин, тебе всего не расскажешь.

Иван усмехнулся по-прежнему:

— Барин, барин без портков, а пляшет.

— Как без портков? Я в штанах.

Все так и покатились со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:

— Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики говорят: барин, барин без портков, а пляшет.

КАЩЕЙ

С тех пор как Марья Моревна уехала — обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, — собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, в полях, а теперь стало в людях, и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются или говорят: «Сам догадайся», а есть такое — спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама, что бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила «энти мужики». И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от этого второго Адама начались, как мать называла, «те мужики», и вот те мужики задумали землю столбить.

Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить. Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.

— Куда увезли Ивана?

— Куда Макар телят не гонял.

— Какой Макар?

Все засмеялись, и это значило «сам догадайся»!

Царя убили, и опять стал царь, сразу большой, с бородой.

Мать раскладывает: «Николай умирает, Александр

рождается». Не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся.

— Отчего это, мама, — спросил он, — все догадываются сразу, а я после?

— Оттого что ты очень рассеян.

Вышла новая загадка — все люди как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы хоть на один день увидеть Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.

Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали: «Как день-то прибавился!» Еще сказали: «Это весна!» А еще сказали: «Сегодня Маша приедет!»

Мать говорила:

— Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша, как они ее слушаются, скажет: «Нарвите цветов», и они собирают, но мало того: часами сидят, подбирают цветочек к цветку, и букет выходит. Скажет: «Найдите хорошее яблоко», и сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное.

Скупая Софья Александровна против этого:

— По-моему, и не очень хорошо.

— Как нехорошо? Что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам — и бежать. Теперь сами гостей встречают и радуются. Удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов.

— Очень горда. Она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному, а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.

— Этому сама жизнь научит, а Маша... тургеневская женщина.

— Экс-пан-сив-на-я! Ее бросает в разные стороны: то она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на ма-те-ма-ти-чес-ком, то в Италии, то доит корову у Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они не занимали?

— Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить: дети мои неузнаваемы, в гимназии начали хвалить.

— Ей бы устроиться гувернанткой в аристократи-

ческую семью. Но разве она пойдет? Я, право, не знаю, что ждет ее в будущем.

— Пустяки! Такая красавица и не найдет партии себе?

— Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас женихи.

— Женихи, правда, у нас никуда.

— Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собирается, каждая находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то, право, уж она чересчур горда.

А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек; он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кащеем Бессмертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня приедет, и он все ей перешепчет. Марью Моревну он не отдаст Кащею Бессмертному.

СУД

Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем — она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна Бешеному барину.

«А главное, — опасается Курымушка — при гостях как я ей перескажу про заговор с Кащеем Бессмертным?»

Так он думал. Крикнули: «Едут!» Он бросился.

— Оденься, оденься!

Но было уже поздно. Курымушка раздетый, без шапки вылетел вон на снег и там машет, и пляшет, и поет, встречая Марью Моревну. Вон она выходит из саней, целует его, вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает:

— Какие удивительные перевороты бывают, я это знаю: он был настоящий атеист.

— Какой там атеист, — отвечает Дунечка, — просто и верно говорят мужики: Бешеный барин.

— Но все-таки Александр Михалыч в бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг...

— Как же это вышло? — спросила Маша.

— А так вышло. Очень странная история: после убийства царя он стал сам не свой и даже заболел — на желудочной почве начались экс-цес-сы.

— Тетенька, — засмеялась Дунечка, — вы ужасно смешно рассказываете.

— Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая — воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета. Ответ был, как всегда, ла-ко-ни-чес-кий: «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете! Все у него прошло, настроение прекрасное, и говорит: «Православные посты — великое дело».

— И уверовал?

— Не сразу. К старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот увидите: сегодня они вместе придут. Очень интересно.

Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя, и царь опять сразу явился, а Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении и по-прежнему стоит, маленькая, у печки, читает:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин.

Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет, — украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает:

— Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму. Бывают все-таки и жандармы хорошие?

— Тетенька!

— Вот, для примера, становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде — какое он сделал для крестьян колоссальное дело!

— Тетенька, это совсем другое.

— Но почему же другое и как это у вас разделяется? Жандарм, положим, исполняет честно свои обязанности, чем он хуже других людей, а вы всякого жандарма презираете! Царь был тоже человек, освободи-

тель крестьян, и его убили. Ну как это понять! Объясни, пожалуйста, ведь я на медные деньги училась.

— Вы правы, — сказала Маша, — убийство — это несчастье, убийство задумывать нельзя, и если оно выходит, то это несчастье.

— Маша, Маша! — воскликнула Дунечка. — Как ты этого не понимаешь! Это не убийство.

— А что же это такое?

— Это? Это суд!

Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели, и обычный ужасный крик раздался, будто кого-то собака за ногу схватила.

— Гости идут!

— Тетенька, милая, отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать.

— Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду, что ты, будешь одна сидеть? И знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескари. Накрывайте же на стол, няня, няня!

ОТКРЫТИЕ

Случилось это первый раз за все время: Софья Александровна вошла со своим мужем Александром Михалычем и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом — разговор обрывался, мать нетерпеливо говорит в дверь: «Ну, скоро ли у вас будет готово? Подавайте же!» И опять занимает гостей:

— У вас, Александр Михалыч, червяк сильно точил озими?

— Пустяки! У нас каждую осень бывает червяк.

— Осенью все-таки зеленя очень зажухли, весной, вы думаете, отрыгнут?

— Какая будет весна.

— Я спрашивала и старца про это, — сказала Софья Александровна, — он тоже ответил: «Осень — выключу, а весна — как захочу».

— Разве старец и в этом понимает? — спросила Маша.

— Ну как же, он все понимает, ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спрашивают — в каком платье венчаться: в голубом или розовом, какого поросенка оставлять: белого или пестрого...

— А это уж глупо!

— Как вам сказать... Он так говорит о себе: монах — сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель, и существует монах, чтобы поддерживать хмель.

— Как это прекрасно! Какой он мудрый человек! Я только про баб думаю. Можно ли такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?

— Он отвечает всегда: «Ты сама как хочешь?» — и благословляет то, что они сами хотят.

У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями.

— Значит, — сказала она, — они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются?

— Конечно, так просто.

— И это он благословляет их собственную догадку в пути к нему?

— Их догадку.

— Так они и старца рождают в своем сердце? Как это прекрасно! Я непременно хочу видеть его поскорей.

— Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше.

«Конец, конец, — думает Курымушка, — теперь все пропало, он не успеет ничего ей рассказать, она рано уедет, и Кащей Бессмертный никогда не выпустит от себя Марьи Моревны; но во что бы то ни стало нужно добиться разговора с ней и предупредить». Полный тревожных дум, рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно: шарик был один, а казалось два.

— Убери руки со стола! — сказала мать. — Что ты там делаешь пальцами?

— Шарик катаю, — ответил Курымушка. — Удивительно: шарик один, а кажется два.

— Как это? — спросил Александр Михалыч.

— Вот так.

— А и правда!

Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать шарики!

— Ну молодец! Вот так открытие!

Как сказали «открытие», высоко взлетел Курымушка, и так сладко стало ему там наверху. «И почему бы, — думал он, — теперь не спросить их всех сразу обо всем — они все хорошие, и сам Бешеный барин катает шарики как маленький».

«Спрошу! — решил Курымушка. — Может быть, и это будет открытие».

Уже хотел спросить про царя, почему он, не как все люди, рождается сразу большой, с бородой, про тайну Ивана, почему он вы-ли-тый Александр Михалыч, и про все, но раньше его мать свое начала:

— Я думаю завести четвертый клин с клевером и тимофеевкой, хочу посоветоваться с Данкевичем.

— Что же, посоветуйтесь, — сказал Александр Михалыч, — у него хозяйство образцовое. Он только что вернулся из Петербурга.

— Представлялся царю?

— Я его вчера видел, он в восторге от царя: «Лицо русское, борода широкая».

Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку, мать стеснялась Дунечки. Маше тоже отчего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно: «Спрошу! И, может, опять это будет открытие». Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем молчании:

— Царя убили, и он сразу родился с бородой — как это может быть?

Вышло второе большое открытие: все, даже Дунечка, долго смеялись, и Александр Михалыч наконец объяснил:

— Царь рождается, как и все, маленьким и растет наследником, а потом, когда царь умирает, наследник прямо же становится на его место и делается царем.

— А если так, — спросил Курымушка, — если царь всегда, непременно рождается, то зачем же его убивают?

Тогда вдруг что-то злое стало в лице Александра Михалыча, он посмотрел на Дунечку и сказал:

— Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает.

Дунечка вся вспыхнула. Все глухо замолкли. Открытие было какое-то ужасное. Но Курымушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил про тайну вы-ли-тых.

— Бог сотворил Адама на земле?

— Ну хорошо, сотворил.

— И велел землю пахать?

— Велел.

— Почему же он земли не дал?

— Вот ты какой! — удивился Александр Михалыч. — Неужели это ты сам догадался?

— Я не умею догадываться, — ответил Курымушка, — мне это Иван сказал.

— Тебе это Иван ска-зал?

— Иван, а про Ивана почему-то все говорят: вылитый Александр Михалыч.

Тогда случилось, как бывает часто во сне: по стеклянному полу в большом зале идет Курымушка, по сторонам много людей, смотрят на него, как он пройдет, а пол стеклянный вдруг наклоняется, и — ай-ай-ай! — он катится торчмя головой и куда-то бух! — просыпается.

Пол наклонился, Курымушка полетел и видит, как моргает ему мать черными глазами, как махала ему белой салфеткой, слышал, как сказал Александр Михалыч: «Рано тебе за столом разговаривать, ты еще дурак!» Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго велели: «Ступай спать».

ТИХИЙ ГОСТЬ

Велика эта ночь вышла Курымушке, уснуть не мог и все думал, будто это он что-то неловко тронул, сорвался с цепи Кащей и теперь всех закует своей цепью, и с Марьей Моревной теперь простись навсегда. В приоткрытой двери маминой комнаты светится лампада, и долго слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью.

— В письме так и сказано: «Работать неопределенное время на легальном положении». Это значит — всю жизнь в этой тьме и глуши.

— Милая, поезжай в город.

— В городе таких, как я, много.

— Ну не плачь, не плачь, привыкнешь, обойдется. Что же делать? Вот я работаю на банк, и, видишь, совершенно одна.

— Вы все-таки любили.

— Что ты! Как я любила? Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван, и увидела я черную бороду — вот и все.

— А потом?

— Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно — не эта любовь.

— Не говорите так, у вас есть дети, мне и того не достанется.

— Полюбишь чужих детей, как своих.

— Полюблю, я знаю, но все это не то.

«Бедная, бедная, — шепчет Курымушка, — всех вас опутал Кащей своей цепью, но как быть? Ведь это я виноват, это я выпустил Кащея. Как быть? Надо покаяться, — решил он, — во всем покаяться Марье Моревне, все ей сказать, и тогда будет опять хорошо, а главное, нужно открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню, «в маленькую комнату», разбудить? Она все поймет. Но как пробраться туда через мамину комнату, по коридору и как дождаться, пока все уснут?»

«Надо, надо!» — решил он, и с этой минуты началось ему это «надо» на всю долгую ночь.

Долго шепчутся мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаз и видит голубой снег, по снегу идет он к дереву и там у дерева долго стоит. Дед Мороз спрашивает: «Тепло ли тебе, Курымушка?» — «Очень тепло!» — отвечает он Морозу, а со стороны голос: «Надо, надо!»

— Слышите? — спрашивает Дунечка. — Слышите?

— Кажется, плачет. Надо посмотреть. Вот всегда так дети при гостях нервничают, — что он сегодня разделывал!

— Ужас! Всегда один, вот нехорошо: в одиночку у детей складывается все особенно.

— Спишь? — тихонько спрашивает мать.

Курымушка нарочно сопит.

— Спит!

И обычное: рука на голове.

— Кажется, есть жарок, но это нервное, в другой раз непременно буду раньше укладывать. Давай-ка и сами ложиться, очень уж поздно.

Пока они раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном; ему представилось, будто он машет ладонями по воздуху, как крыльями, и поднимается, пробуя еще раз, — выше поднимается, к самому потолку в зале, всю залу у самого потолка облетает, как муха. Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу собирается на двор посмотреть, как полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля, как магнитом, держит

его ноги, и все хохочут, ругаются: «Вот собрались, дурака-то мальчишку послушались!» Но когда все разошлись, он попробовал и опять поднимается, и все выше и выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие. Было бы так хорошо всем летать.

— Опять плачет, слышите? — говорит Дунечка.

— Не дать ли ему брому? — спрашивает мать.

— Нет, подождите, кажется, опять спит.

Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает и опять видит белую поляну, спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной. Иван-царевич подходит к ней, и надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и чтобы не испугалась, так и стоит и стоит Иван-царевич возле спящей красавицы, вот-вот и сам заснет. Вдруг как из пушки ударило: «Надо, надо!»

Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло и не надо. «Нет, надо!» — опять вспомнил он и прислушался: все спят, слышно даже, как Настя в коридоре храпит, и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. Нет, надо идти, надо, надо! Холодно в одной рубашке, но где тут искать штаны в темноте! Открывает дверь, громко скрипнула под ногой половица, он сел и ползет между кроватями. Мать спит, и Дунечка спит. Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбудить. Эту самую ручку и он теперь шевельнул.

— Ты что, няня? — спрашивает мать.

— Живот болит, не знаю, что делать, — отвечает Курымушка. Кажется, сказал вслух, и ничего не сказал, и мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот, темный и длинный, где Настя храпит и крыса скребет. Вот «маленькая комната», и у нее ручка точь-в-точь такая же, только медный пестик, но тут хорошо, пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она не слышит — спит. Открывает дверь, и вдруг как сон: на белом лежит спящая красавица, и темные ее волосы разметались и даже свесились с подушки, и он, как Иван-царевич, стоит, хочет, и страшно будить: она вскрикнет на весь дом — и все откроется, и что тогда

скажешь при всех? Иван-царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке. «Не убежать ли?» — спрашивает себя. «Надо, надо!» — кто-то велит.

Тихо шепнул он:

— Марья Моревна!

Открыла глазок и закрыла.

— Марья Моревна!

Опять открыла глазок.

— Марья Моревна!

Другой.

— Ох, как я долго спала! Кто это? Ах, ты Курымушка?

Странно смотрит, и страшно от этого. И уже хочет сказать Иван-царевич в ужасе: «У меня живот болит, не знаю, что делать».

«Надо, надо!» — требует ночной голос. И падает маленький гость, как в «Отче наш», на колени:

— Прости меня, прости меня, милая Марья Моревна!

— Ну что ты, родной, что, милый мальчик? — шепчет Марья Моревна. — Иди сюда на кровать, ложись. Вот так. Ну что? Рассказывай все!

Про Кащея Бессмертного рассказывает Курымушка — как он спустил его сегодня с цепи и что там уже есть заговор на нее — отправить завтра к старцу, а старец и есть Кащей, и что он велел себе не упустить Марью Моревну, — все рассказал, все тайны открыл, и даже как он во сне куда-то летал, и при людях это не удалось, и его засмеяли.

— Не уезжай, не уезжай к старцу!

С улыбкой счастья глядя куда-то, кажется на эту картину прекрасной дамы с младенцем на руках, Марья Моревна сказала:

— Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю: никто никогда меня не возьмет.

— Не поедешь завтра к старцу?

— Зачем теперь мне к старцу ехать, я без него знаю, что мне нужно делать.

— Неужели ты пойдешь в гувернантки?

— И в гувернантки не пойду. Я всегда буду с такими, как ты, кто меня будет любить и звать, к тому я и буду ходить.

— Я всегда тебя буду любить и звать.

— И я всегда буду с тобой.

Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит.

— Кто это?

— Кого ты видишь?

— Вон, Голубой!

— Ах, это уже рассветает. Спи, сыночка!

— Но отчего же там голубое?

— Это всегда так, весной на рассвете так голубеют снега.

— Мне показалось, будто кто-то вошел.

— Сыночка, спи, дорогой, ничего не бойся и не летай во сне без меня; может быть, когда-нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться.

— И все полетят!

— Все, все полетят!

— Куда же? В рай?

—Какой тебе рай, это близко, — далеко за рай — в страны зарайские!

— Где живут бобры голубые?

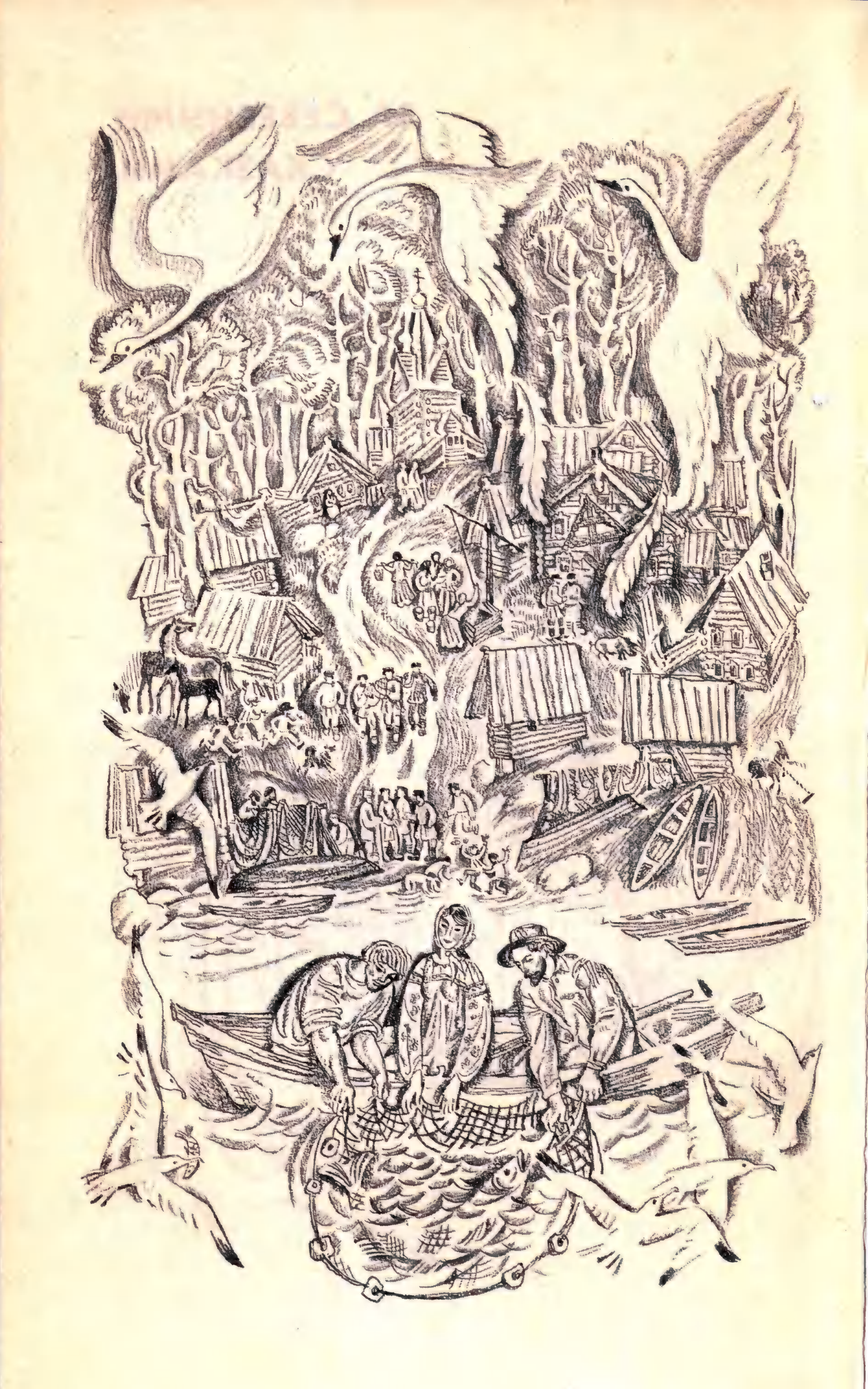
— Там все голубое.

Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кащееву цепь?!»



ЗА СЕВЕРНЫМИ СКАЗКАМИ





Главным событием в жизни Пришвина — гимназиста первого класса был побег с двумя товарищами, им же соблазненными «на смелое дело», побег в «Азию — страну золотых гор». Конечно, это было продолжением его детской сказки о стране счастливых, где не существует злого Кащея.

Путешественников изловили и доставили обратно — «поехали в Азию, попали в гимназию», зло издевались над ними остальные мальчишки.

Шли 80—90-е годы XIX века. Еще так недавно Чернышевский стоял у позорного столба, Достоевский — у виселицы. Все взывало к совести молодых людей — выйти на прямую общественную борьбу. Пришвин-студент уже член одного из первых в России марксистских кружков, он захвачен подпольной работой, он переводит и распространяет среди рабочих революционную литературу классиков марксизма. Из ранних дневников: «...Самое счастливое, самое высокое было, что я стал со своими друзьями одно существо, идти в тюрьму, на какую угодно пытку и жертву стало вдруг не страшно, потому что уже было не «я», а «мы» — друзья мои близкие, и от них как лучи «пролетарии всех стран». Чувство конца, и окружающей тебя мерзости, и своей неудачи: быт России, разлагается семейная жизнь, теряется всякий образ... На пустом месте становится идеал общего счастья и мыслимая близость с несчастными всех стран «пролетариями».

Пришвин переводит книгу Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем». «Никакой поэзии не было в книге «Die Frau und der Sozialismus», но для меня книга как флейта пела о женщине будущего», — вспоминает Пришвин в конце жизни. Не случайно выбрал он именно эту книгу: ведь она была о самом заветном — о детской Марье Моревне, или, как впоследствии он скажет, о его «физическом романтизме». Что это значит у Пришвина?

«Мне вспомнилась моя вековечная раздвоенность: позор «обыкновенной» любви и страх перед большой любовью. Еще мальчишкой в 20 лет я в этом сознался Маше (Марье Моревне из «Кащеевой цепи», о которой мы только что прочли. — *В. П.)*,

а она мне на это, лукаво, как Джоконда, улыбаясь, ответила: — А ты соедини».

Через отношение к Марье Моревне мальчик предчувствовал: есть в любви к женщине какая-то целостность, осуществление прекрасного. Впоследствии он узнал, что это в человеке называется старинным словом «целомудрие». Какое старомодное дедовское слово — и сколько оказалось в нем содержания!

По существу, это началась в юноше борьба против разрыва на дух и на материю, разрыва, терзающего многие века сознание человека.

В конце жизни Пришвин пишет в дневнике: «...Святость жизни — акт соединения духа и материи — воплощение и преображение мира. Творчество это непременно требует двух и называется любовью. Итак, любовь как творчество есть воплощение каждым из любящих в другом своего идеального образа. Любящий под влиянием другого как бы находит себя, и оба эти найденные новые существа соединяются в одного человека».

Эта романтическая тема шла рядом с подпольной работой рядового революционера *, к которой он был, по его собственному признанию, «до последней крайности неспособным». Тем не менее эту честную самозабвенную работу он вел, и она привела его в тюрьму и в ссылку, а потом уже за границу, где он кончал университет: агрономическое отделение философского факультета.

«Да вы, сударь, — сказал однажды ему Горький, — настоящий романтик... Вы что делали? Почему не взялись за перо и пропустили столько времени?»

По окончании университета Пришвин попал в Париж, и там на него обрушилась как величайшее испытание не мечтательная, а реальная любовь к реальной девушке — русской студентке. Это было событие, во многом повлиявшее на его дальнейшую жизнь.

Намечавшийся было брак окончился разрывом. Почему? Пришвин винит одного себя в этой любовной неудаче. Он винит себя за то, что был только «потребителем любви», неспособным к вниманию в отношении встреченной им женщины. Он бессознательно пользовался ею «как поводом для своего полета». Позднее он напишет: «Постоянная моя тема о женщине, что поэты любят не ее, а свою мечту».

В 1937 году, проглядывая свою жизнь, всю — и до последней минуты, Пришвин записывает в отношении себя до преувеличенности беспощадно: «В любви моей была спешка, чувственность, с неспособностью вникнуть в душу другого человека».

---

* См. рассказ «Большая звезда».

Та девушка оказалась проницательней его, она увидела его колебания, все поняла, отказала ему, и тем самым она подарила нам поэта; она поставила мужчине, по словам Пришвина, нравственную задачу «стать мужем», и мы должны принять это слово у Пришвина в самом глубоком его значении: он должен был духовно созреть — научиться давать, а не брать, любить, а не просто любоваться женщиной.

«Женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем, и от прикосновения пальца ее к струне родился звук. Так было и со мной: она тронула — и я запел».

Женщина подарила нам поэта, а сама растворилась в безвестности, увяла седеющей конторщицей лондонского банка. Такой она промелькнула где-то в 20-х годах в единственном сохранившемся от нее у Пришвина письме.

Разрыв был пережит молодым человеком как удар столь сильный, что следы от него чувствовались в душе многие десятилетия. Он был оглушен, подавлен, находился на грани душевного заболевания. Он сразу же вернулся в Россию и стал работать в деревне. Он приник к земле, как к последнему прибежищу, и там, у природы, стал вновь, как малый ребенок, учиться жить.

Он наблюдал теперь, как серьезно, самоотверженно живут и любят звери, птицы, все живое. Как пуста бывает подчас человеческая «свободная» любовь. И в то же время как много надо человеку создать своего и вложить в чувство любви, чтобы поднять его до себя.

«Природа — это любовь, а человек — это что из любви можно сделать», — повторим мы снова за Пришвиным.

На этом и обрывается автобиографический, тоже, по существу, недописанный роман «Кащеева цепь».

Роман не дописан, но из него-то и вытекает, потоком разливаясь по всем последующим произведениям, тема об «охоте за счастьем», об охотнике, отказавшемся схватить преследуемую им прекрасную самку оленя. Он не может присвоить прекрасное, он предпочитает ему служить. Прекрасное, по словам Пришвина, не дается ни мечтателю Дон-Кихоту, ни завоевателю Дон-Жуану. Оно дается труженику, бескорыстному в своем труде.

В конце жизни Пришвин вспоминает о давно прошедшем: «На людях было неплохо жить, и никто не подозревал о том, что происходило во мне. Но оставаться одному с самим собой нельзя было; легче было бы, кажется, переносить колесование тела, чем эту тоску. Вот и было один раз, в таком состоянии колесования души я попробовал отвлечь себя от боли записью каких-то слов народной речи... Я увлекся писанием и потом, очнувшись, по-

чувствовал впервые себя счастливым. И это счастье, оказалось, пришло ко мне оттого, что я забыл себя с моей тоской... Так я, утратив невесту, нашел ее единственную в слове...»

Идет начало века. Пришвин — агроном в деревенской дореволюционной России. У него жена — крестьянка, «простая и неграмотная, очень хорошая женщина». И самое главное, он никогда за всю долгую жизнь не соблазнится «опытом» в любви: «...В этом одном опыт не дает ничего и даже наоборот: чем больше опыта, тем более неведомой остается область любви, и все кончается тем, что герой попадает в обыкновенные лапы. Напротив, «неопытный» делается господином и строителем семьи. Так что есть область жизни, которая не открывается, а затемняется в опыте».

Пришвин живет теперь как природа: строго и просто.

Неосознанное, но непреодолимое призвание к искусству заставляет Пришвина в 1905 году бросить науку, уводит его на поиски какого-то «края непуганых птиц и зверей» — на необжитый, дикий по тем временам Север — Карелию и Беломорье. Мы понимаем — это было продолжение детского побега в «Азию — страну золотых гор». Правда, он едет сейчас с практической, трезвой целью по поручению ученого-этнографа собирать и записывать народные сказки.

В 1944 году он вспоминает о начале писательства:

«...Меня куда-то повело по пути страданий к блаженству... Природа откликнулась на этом пути: я стал просто записывать эти отклики и тем удостоверять других в действительности существования страны непуганых птиц. Есть такая страна! — вот и вся тема моего писательства».

У этой выдуманной страны появится в будущем много имен: это будет и «Берендеево царство» в 20-х годах, и «Дриандия» в 30-х, и, наконец, «Корабельная чаща» под самый конец жизни, очень реальная, как будто уже и найденная и все-таки таящая в себе невысказанную тайну: сказка через всю жизнь! Но ведь без сказки не бывает и правды...

Скромный агроном возвращается в Петербург со своими путевыми заметками и неожиданно для самого себя становится художником: его «заметки» оказываются на деле книгой «В краю непуганых птиц и зверей».

На следующий год новое путешествие на Север и новая книга — «За волшебным колобком».

Впитав в себя все художественные ценности современного ему искусства, Пришвин в этой книге поражает нас своей полной самобытностью. В ней он как бы вступает в противоборство с отвлеченностями, иносказаниями и условностями символизма. Вер-

нее сказать, Пришвин вносит в это направление нечто такое свое, свободное и цельное, что легко возвращает читателя в мир реальной жизни, в то же время решительно отбросив соблазны упрощенности и натурализма.

Впрочем, если приглядеться внимательно, все попытки синтетического творчества, как бы они ни назывались, непременно питаются не только реализмом, но и натурализмом. Трудность в том, как его художественно осмыслить и преподать.

Жизнь у Пришвина сохраняет глубину, многоплановость. Рождается его собственный реализм. «Он ни на кого не похож», — сказал о Пришвине К. Г. Паустовский. В дореволюционной литературе тоже обратили на это внимание. Писали так: «...М. Пришвин. Многим ли известно это имя? А между тем в лице его мы имеем подлинного творца-художника, что особенно ценно в наше, наводненное «беллетристикой» время. ...Беллетристов много, художников мало; но ценность и значение литературе дают только художники. Вторая книга М. Пришвина «За волшебным колобком». Это яркое художественное произведение почти никому не известно. Да и не мудрено: издатель отнес его в рубрику «книг для юношества» (!), соответственно издал и этим устроил книге похороны по первому разряду... А между тем эта книга — яркое художественное произведение... Что такая книга могла остаться неизвестной или малоизвестной — это один из курьезов нашей литературной жизни».

В «Колобке» говорит с нами непосредственно сама природа, кипят ее силы, играют краски, воздух, свет. Течет многообразная жизнь по своим нечеловечески страшным и все же прекрасным законам, в своей непостижимой гармонии. Художник понимает ее как хаос, и страшится, и любуется ею.

А на границе всей этой твари, играющей, борющейся, бездумно погибающей, появляется у Пришвина человек, тоже как первозданный — в свежести сил, человек без прикрас, в суровой жизненной правде, но с затаенной где-то в нем мечтой вмешаться в хаос и повернуть его на свой человеческий путь.

В «Колобке» Пришвин как художник находит и одно из основных богатств своего стиля — это его неповторимый юмор, истоки которого в живой народной речи. Самобытный реализм Пришвина формировался в какой-то мере именно благодаря этому его дару. Он — этот пришвинской юмор — рождается естественно, легко от противопоставления простоты природного и сложности человеческого, приходящих в соприкосновение и эстетически где-то несовместимых. Отсюда и добрая усмешка Пришвина. Как пример достаточно указать на эпизод с «бабушкой-задворенкой» в деревне Дураково, деревне не надуманной, а впрямь

существовавшей под этим именем у Белого моря. Или вспомнить фигуры двух стариков, тянущих сеть на берегу, сходящихся спинами друг к другу и никак не могущих сойтись. Картина накрепко врезается и остается перед глазами, и нас не покидает странная уверенность, что смешные и серьезные старики и сейчас все еще тянут и тянут свою сеть.

Мы приведем лишь начало книги. Встретится нам, конечно, и незабываемая никогда Пришвиным Марья Моревна. Ее веселым смехом и заканчивается первая часть «Колобка».



ЗА ВОЛШЕБНЫМ КОЛОБКОМ

Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

> Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие грызть друг друга; отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб поселился в городе! Нет, мой друг, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости! Сел в кибитку и поскакал.
>
> Радищев, Путешествие из Петербурга в Москву

Путешествие, которое описывается в этой книге, не было задумано вперед. Я просто хотел провести три летних месяца, как лесной бродяга, с ружьем, чайником и котелком. Конечно, за это время я много узнал о жизни на Севере. Но не об этой внешней, видимой стороне путешествия мне хотелось бы рассказать своим читателям. Я желал бы напомнить о той стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежим...

Я пробовал в детстве туда убежать. Было несколько мгновений такой свободы, такого незабываемого счастья... В светящейся зелени мелькнула страна без имени и скрылась.

И вот мне, взрослому человеку, захотелось вспомнить это...

«Приключения Тартарена из Тараскона...» — улыбнутся скептики. Но для них у меня есть отговорка: я имел серьезные поручения от Географического общества. И потом разве у нас Тараскон? Через два-три дня езды от Петербурга у нас можно попасть почти в совсем не изученную страну.

Небольшая поддержка отделения этнографии Географического общества, умение добывать себе пищу ружьем и удочкой, не очень большая утомляемость — вот и все мои скромные средства.

В половине мая 1907 года я по Сухоне и Северной Двине отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по Северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши. Потом перешел Лапландию (230 верст) до Колы, побывал в Печенгском монастыре, в Соловецком, на западном Мурмане и морем возвратился в Архангельск в начале июля.

Эту первую часть путешествия я описываю в отделе «Солнечные ночи». В Архангельске я познакомился с одним моряком, который увлек меня своими рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному Ледовитому океану. Недели две мы блуждали с ним где-то за Каниным Носом и приехали на Мурман. Здесь я поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в океане. Наконец, отсюда на пароходе я уехал в Норвегию и вокруг Скандинавского полуострова поплыл домой. Эту вторую часть пути я описываю в отделе «К варягам».

Плана путешествия у меня не было, но когда я стал о нем раздумывать, то мне представилось, будто кто-то мной руководил... Кто же это?

И мне стало казаться, что я, как в сказке, шел по Северу за волшебным колобком.

Посвящаю свой труд стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежали. Посвящаю и тем трем друзьям, которые разделили тогда со мной детские грезы.

Этим трудом я хочу поставить своим детским мечтам памятник, быть может, грубоватый, простой. Но что из этого? Лишь бы не дать сровняться могиле с землей, лишь бы узнать то место, где лежат дорогие мальчики и грезят о стране без имени, без территории.

ЧАСТЬ I. СОЛНЕЧНЫЕ НОЧИ

Глава I

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОБОК

Начинается сказка от сивки,
от бурки, от вещей каурки.

В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказал старушке:

— Бабушка, испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни с две и сделала веселый колобок. Он полежал, полежал да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней через крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота — дальше, дальше... Я за колобком, куда приведет.

Промелькнули реки, моря, океаны, леса, города, люди.

Я опять пришел на старое место. Но у меня остались записки и воспоминания...

Колобок покатился, я за ним. И вот...

Мой веселый вожатый остановился у большого камня на высоком берегу Двинской дельты. Отсюда дороги идут в разные стороны. Я сел на камень и стал думать: куда мне идти? Направо, налево, прямо? На берегу передо мной плачет последняя березонька, дальше, я знаю, Белое море, еще дальше Ледовитый океан. Позади меня синяя тундра. Этот город — узкая полоска до-

мов между тундрой и морем — совсем тот сказочный камень, на котором написана судьба путника? Куда идти мне? Можно бы устроиться на одной из парусных шхун и испытать всю морскую жизнь северных людей. Это интересно, увлекательно, но вот налево по берегу Белого моря лес. Если идти по краю лесов, то можно, обогнув все море, добраться до Лапландии, а там совсем первобытные лесные места, страна волшебников, чародеев. В ту же сторону, к Соловецким островам, направляются и странники.

Куда же идти: налево со странниками в лес или направо с моряками в океан?

Я присматриваюсь к людям на оживленной Архангельской набережной, любуюсь загорелыми выразительными лицами моряков и тут же возле замечаю смиренные фигуры соловецких богомольцев. Если я пойду за ними, думаю я, налево, то приду не на север, за Полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь очертаниям, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идут туда покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не бог-сын, милосердный и всепрощающий, но бог-отец, беспощадно посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампады на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем. Вот что значит идти налево. Но там лес, и, быть может, потому так тянет туда мой волшебный колобок.

Отчего это северные моряки так не похожи на наших пахарей? Оттого ли, что разделенная на мелкие кусочки земля так принижает человека, а неделимое море облагораживает душу, не дробит ее на мелочи? А может быть, потому, что северный народ не знал рабства, что и религия его — большинство их раскольники — не такая, как у нас, за нее они здесь много боролись, даже сжигали себя на кострах...

Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо меня старичок. Попытаю его.

— Здравствуй, дедушка!

Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка.

— Куда ты идешь?

— Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, иду куда глаза глядят.

Смеется старик, отвечает в тон:

— Дела пытаешь или от дела лытаешь?

— Попадется дело, рад делу, но только, вернее, от дела лытаю.

— Ишь ты какой, — бормочет он, усаживается рядом на камень. — Дела да случаи всех примучили, вот и разбегается народ...

— Укажи, — говорю я, — мне, дедушка, где еще сохранилась древняя Русь, где не перевелись бабушки-задворенки, Кащеи Бессмертные и Марьи Моревны? Где еще воспеваются славные могучие богатыри?

— Поезжай в Дураково, — отвечает старик, — нет глуше места по всей нашей губернии.

«Шустрый дед!» — подумал я, собираясь ему ответить так, чтобы вышло смешно и необидно. Но тут, к изумлению, нашел на своей карманной карте, на летнем (западном) берегу Белого моря, как раз против Соловецких островов, деревню Дураково.

— В самом деле, — воскликнул я, — вот Дураково!

— Ты думал, я шучу. Дураково есть у нас, самое глухое и самое глупое место. По-старому и похоже на Архангельскую губернию, а по-новому не похоже... Вишь, народ у нас какой бойкий.

Он указал рукою вниз на оживленную толпу моряков.

— Народ промышленный, крепкий, живой. А на летнем берегу сидят в бедности, как тюлени, потому проезда туда нет: с одной стороны Унская губа, с другой — Онежская.

Дураково мне почему-то понравилось, я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым. Так думал я и спросил старика:

— Нельзя ли мне из Дуракова на лодке переехать по морю на Святые острова?

— Перевезут! — ответил он мне. — Это старинный путь богомольцев в Соловецкий монастырь.

До сих пор я знал только два пути на Святые острова: через Архангельск по морю и через Повенец-Суму. О пути пешком по краю моря и на лодке по морю я не знал. Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей.

— Но как же туда перебраться?

— Теперь трудно, богомольцев мало. Но подожди, кажется, здесь есть дураковцы, они расскажут. Если здесь есть, я их к тебе пришлю. Счастливый путь!

Через минуту вместо старика пришел молодой человек с ружьем и с котомкой. Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами — такие они у него были ясные и простые.

— Барин, раздели наше море! — были его первые слова.

Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море и тем даже объяснял себе преимущества северных людей. И вот...

— Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло.

В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе семужных тонь с соседней деревней.

Нужен был начальник, авторитет, но из начальства никто не хотел туда ехать.

— Барин, — продолжал упрашивать меня деревенский ходок, — не смотри ты ни на кого, раздели ты сам.

Я понял, что меня принимают за важное лицо. В северном народе, я знал, существует легенда о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему Северу, и понял, что теперь конец моим этнографическим занятиям.

По опыту я знал, что стоит только деревне в страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут

все бабушки-задворенки, все лешие и колдуны, на лице народа появляется то льстивая, то недружелюбная мина, сам перестанешь верить в свое дело, и волшебный колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я не начальство, что иду я за сказками: объяснил ему, зачем это мне нужно.

Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым чистым глазам.

Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Волшебный колобок покатился и запел свою песенку:

Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел...

ЛЕС

15 мая

Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли — добрались до деревушки Сюзьма. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные Горы — деревню у самого моря по эту сторону Унской губы. Мы расстались, я отдохнул день и пустился в Красные Горы.

Путь мой лежал по краю лесов и моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром, они будто бабочки с оборванными крыльями. А иногда деревья срастаются в густую чащу, встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба; есть совсем пустые черные места. Тут много могил. Но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, была весна; березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выпрямлялись.

Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой, как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов. Но больше всего мне

нравилось покрадываться к незнакомым морским птицам. Издали, из леса, я замечал спокойные, то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две; воздух на севере прозрачный, я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное расстояние к незнакомым птицам — вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная, смешная забава переходит в серьезную страсть. Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю потому, что так много всего этого в себе; я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце: стук, стук. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка, тянется, вероятно, с любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать: пусть не смеет в другой раз попадаться мне на пути, раз... раз... Она громко стонет.

Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю: все пропало; птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх на небо... Птиц нет, все спокойно, больные сосны лечатся солнцем и светом, ослепительно сверкает зелень северных березок, все тихо, все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню, приготовляю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю из-за камня. Моя голова у белого камня поднимается как черная муравьиная кочка, стволы видны в мягком ягеле.

Иногда в четырех-пяти шагах я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз — к семье лебедей.

Мне страшно шевельнуться, я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное горькое воспоминание не обломит под локтем сучок и все птицы со страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев не разлетятся в разные стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой

промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица недострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе как о чем-то очень нехорошем: мне тогда кажется, будто это чувство питается одновременным стремлением к убийству и любви, а так как оно исходит из недр природы, то и природа для меня как охотника — только теснейшее соприкосновение убийства и любви... Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я опять увлекаюсь и забываю то, о чем думал минутою раньше.

КРАСНЫЕ ГОРЫ

19 мая

В одном из черных домиков у моря, под сосной с сухой вершиной, живет бабушка-задворенка. Ее избушка называется почтовой станцией, и обязанность старушки — охранять чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь — на север, через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.

— Бабушка, — прошу я, — дай мне сковородку, птицу изжарить.

Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит:

— Мало вас тут шатается! Не дам, прожгешь.

Я вспоминаю предупреждение Алексея: «Где хочешь живи, но не селись ты на почтовой станции — съест тебя злая старуха», — и раскаиваюсь, что пришел к ней.

— Ах ты, баба-яга, костяная твоя нога! — не выдерживаю я.

За это она меня вовсе гонит — под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и занять помещение. Генерал же едет в Дураково, море делить.

Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала:

— Да, вишь, и приехали за генералом. Вон идут

с моря. Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел.

А потом еще раз оглядела меня и ахнула:

— Да уж не сам ли ты генерал?!

— Нет, нет, бабушка, — спешу я ответить, — я не генерал, а только лодка эта за мной послана.

— Ин и есть! Вот так и ну! Прости меня, ваше превосходительство, старуху! За политика тебя приняла, нынче все политику везут. Сила несметная — все лето везут и везут. Марьюшка, ощипи ты поскорей курочек, а я яишенку поставлю.

Я умоляю бабушку мне поверить. Но она не верит: я настоящий генерал; я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур.

Тут вошли три помора и две женки — экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут все «коршик», остальные — гребцы: обе женки с грубыми, обветренными лицами, «Мужичок с ноготок — борода с локоток» и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок.

Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом Мужичок с ноготок, не обращая внимания, сыплет свои прибаутки женке, похожей на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: «Ой, одóлил, Степан! Степаны сказки хлебны, скоромны. Вот бороду вокруг кулака обмотаю, да и выдерну».

Но как же это, ведь я же генерал? Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря?

— Приезжай, приезжай, — говорят мне все, — у нас хороший, приемистый народ. Живем в стороне, летом семужку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смиренный: ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ что тюлень. Приезжай.

Сидим, болтаем; близится вечер и белая ночь у Белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у берега, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь.

Степан начинает рассказывать длинную сказку про златоперого ерша.

МОРЕ

20 мая

Мы выедем только на рассвете «по полой воде» (во время прилива). Каждые шесть часов на Белом море вода прибывает и потом шесть часов убывает. «По сухой воде» (во время отлива) наша лодка где-то не проходит.

С каждым днем светлеют все ночи, потому что я еду на север и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаю с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Я будто пью теперь неведомый наркотический напиток, и изо дня в день больше и больше. Что выйдет из этого? Спать привыкаю днем.

Мужичок с ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается, по золотой лужице на дороге.

— Солнце у вас садится? — перебиваю я сказку.

— Почитай, что и не *закатается:* уткнется, как утка, в воду — и наверх.

И опять журчит сказка и блестит лужица. Кто-то, слышно, спит. Пробегает серая мышь.

— Да вы спите, крещеные? — останавливается рассказчик.

— Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик!

— Ай еще потешить вас сказочкой? Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы дивные, чуды чудные.

— Мани, мани, старик!

Все по-прежнему журчит сказочка.

Пробежала еще одна темная мышь. Захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула женка, уснула другая.

Но старуха не спит. Это она остановила день, заворожила ночь, и оттого этот день походит на ночь и эта ночь — на день.

— Все уснули, крещеные? — опять окликает Мужичок с ноготок.

— Нет, я не сплю, рассказывай.

— Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная...

Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слыш-

но... Из одной бабушки-задворенки делается четыре, из каждого угла глядит черная злая колдунья.

Пробежала Зорька, Вечерка, Полуночка. Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая...

Спохватился рассказчик:

— Вставайте, крещеные, вода прибывает, вставайте! Пошлет господь поветерь, в лодке уснете.

Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке, провожает нас. «Спите, спите, добрые, мы свои».

— Тишина! — шепчет женка.

— Краса! — отвечает Иванушка.

Задумалась женка, забыла свое некрасивое лицо, в лодке улетела по цветным полоскам и, прекрасная, засияла во все море и небо. Стукнул веслом Иванушка, разбудил в воде огнистые зыбульки.

— Зыбульки зыбаются...

— А там парус, судно бежит!

Все смеются надо мной.

— Не парус, это чайка уснула на камне.

Мы подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зевает и летит далеко-далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет... Там дальше морская глубина. А может быть, там, в неизвестной пурпуровой дали, где-нибудь служат обедню? Это первая, мы ее разбудили, она полетела, но еще не звонили.

Прозвенела светлая, острая стрела...

Будто наши южные степи откликнулись сюда, на север.

— Что это?

— Журавли проснулись.

— А там наверху?

— Гагара вопит.

— Там?

— Кривки на песочке накликают.

Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка.

Гуси — совсем как первые старики по дороге в деревенскую церковь. Потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба. Летят молча, только крыльями шумят.

К обедне, к обедне!

Но благовеста нет... странно... Почему это?

Когда это, где это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обедню?

Холодно, но радостно было перед старой, тяжелой дверью. Старушка сказала: целый год не открывалась, но сейчас откроется, сама откроется.

«Боженька сам ее откроет».

Из мрака подходили молчаливые черные люди и становились вокруг нас...

«Станьте на цыпочки, деточки, идут!»

Над толпою блеснул золотой крест. Скрипнула тяжелая железная дверь и чудесной силой открылась...

Обдала волна света и звуков.

«Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Крестится старый кормщик на восходящее солнце: «Солнышко! Слава тебе, господи! Походный ветерок дунул. Бог поветерь шлет. Ставь, женка, парус живее!»

Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, говорливые, болтливые, совсем деревенские девушки после обедни.

Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный Мужичок с ноготок с женкой. И где-то далеко у берега глухо умирает прибой, последний стон несчастного в светлое Христово воскресенье.

— Ивашенько, Ивашенько, выдь на бережочек, — зовут с берега горки, сосны и камни.

— Челнок, челнок, плыви дальшенько, — улыбается рассеянно Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки.

Женки затянули старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песню, треплет ее вместе с парусом, перепутывает ее с огненными зыбульками. Лодка колышется на волнах, как люлька. Все добродушней, ленивей становится мысль.

— Чайку бы...

— Можно, можно... Женки, грейте самовар!

Разводят самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на женках. Немножко поломались и выпили.

Много ли нужно для счастья! Сейчас, в эти минуты, я ничего для себя не желаю.

— А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?

Глупый царевич не понимает.

— Ну, любовь. Любишь ты?

Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь — нехорошее слово: оно выражает грубочувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов. От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни, слово «любовь» нехорошо и обидно.

— Жениться собираешься? Есть невеста?

— Есть, да у таты все не готово. Изба не покрыта. В *подмоге* не сходятся.

Женки нас слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше. В прежние годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.

— Дорогая Марья Моревна?

— Голой рукой не возьмешь. Можно убегом и без подмога, — говорит, помолчав, Иванушка.

— Вот, вот, — подхватываю я, — надо украсть Марью Моревну.

— Поди-ка украдь, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все изодрались, и всю рубашку вокруг невесты изорвали. Потемнеет осенью, может быть, и украду.

Так я и знал, так и думал про эти светлые северные ночи. Они безгрешные, бестелесные, они приподняты над землей, они — грезы о нездешнем мире. Этой избушки в лесу вовсе и не было, никто не рассказывал сказки, а просто так померещилось, и запомнился мелькающий свет от улетевшей вчера из рук белой странички.

Усталость! Страшная усталость! Как бы хорошо теперь заснуть нашей темной, южной, грешной ночью!

Бай-бай... — качает море.

Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе.

Усни, глазок, усни, другой!

Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает.

— Что это? Белуха? — неуверенно спрашиваю я.

— Она, она. Ух! И там!

— И там! И там! Что лед! Воду сушит!

Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом?..

— Ничего, ничего, — успокаивают меня спутники, — так не бывает.

Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей. Когда вот так, как теперь, засверкают на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по две крепкие сети, и из всех этих частей сшивают длинную, больше трех верст, сеть. В море выезжает целый флот лодок: женщины, мужчины, старые, молодые — все тут. Когда белуха запутается, ее принимают на кутило (гарпун).

— Веселое дело! Тут и женок купают, тут и зверя бьют. Смеху, граю! И женки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться.

Как же это красиво! Большие хвостатые звери, женщины с пиками... Сказочная, фантастическая битва на море...

Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега. Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Женки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки, возле потухшего самовара. Мужичок с ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу.

Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю. Иногда вижу бородатого мужика и блестки из серебряных зверей, а иногда ничего — какие-то красные огоньки и искры во тьме.

Наша зыбка не скрипит, ветер не свистит о мачту.

Не все ли равно, где ни жить? Везде есть люди: немножко проще, немножко сложнее. Но тут свободнее, тут море и эти красивые серебряные звери. Вон там один, вон другой, вон лодка, другая, целый флот. Иванушка с Марьей Моревной закидывают в море сеть. Запутался большой северный серебряный зверь.

Ударила кутилом Марья Моревна, покрылось кровью Белое море.

— Марья Моревна, морская царевна, — молит он человеческим голосом, — за что ты меня губишь? Не коли меня, я тебе пригожусь.

Заплакала Марья Моревна, канула горячая слеза в холодное Белое море...

— Спасай меня, красная девица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море!

Сняла царевна шелковый платочек, помочила в синем море.

Взял платочек, прижал к своей ране и спустился на холодное дно. И лежал там тысячи лет.

Плачет купава у берега.

— Слышишь, старый? — шепнули две рыбки.

— Слышу, деточки, слышу.

Поднимается старый, сверкает серебряной спиной на солнце и несет свою Марью Моревну по Белому морю на Святые острова.

Где это было, когда это было, что это было?

Сказки и белые ночи, и вся это бродячая жизнь запутали даже и холодный, рассудочный, северный день.

Я проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка.

Высокий берег с больными северными соснами. На песок к берегу с угора сбежала заморская деревушка. Повыше — деревянная церковь, и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми, блестящими одеждами. Совсем как на картинках, где изображают яркими красками Древнюю Русь, какою никто никогда не видел и не верит, что она такая. Как в сказках, которые я записываю здесь со слов народа.

— Праздник, — говорит Иванушка, — девки на угор вышли, песни поют.

— Праздник, праздник! — радуются женки, что ветер донес их вовремя домой.

Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками. А внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды погреться на берег. Я догадываюсь, они сшивают сети для ловли дельфинов.

Мы приехали не вовремя, в сухую воду (отлив).

Между нами и песчаным берегом широкая черная, покрытая камнями, лужами и водорослями темная полоса; тут лежат, наклонившись набок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива, по-архангельски «куйпога».

Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воде и грязи. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.

— Что вы тут делаете, мальчики? — спрашиваю я.

— Топчем камбалку.

Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку. Поют:

Муля, муля, приходи, цело стадо приводи,
Либо двух, либо трех, либо целых четырех...

«Муля», узнал я, какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда, на отлив, с угора, а быть может, море их тут забыло вместе с рыбами.

Старый кормщик улыбается моему вниманию к этим свободным детям и говорит:

— Кто от чего родится, тот тем и занимается.

Кое-как мы достигаем берега; теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке: поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только женки уходят в деревню — верно, собираются на угор. Мужичок с ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать.

Покрутит-покрутит и ступит на шаг. А навстречу ему с другого конца отступает точно такой же Мужичок с ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики?

Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну.

Мы поднимаемся на угор.

— Здравствуйте, красавицы!

— Добро пожаловать, молодцы!

Девушки в парчовых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто девушки вышли из моря.

Одна впереди: лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая. Совсем наша южная красавица — ноченька темная, со звездами и месяцем.

— Эта Марья Моревна?

— Эта... — шепчет Иванушка. — Отец вон там живет, вон большой дом с крестом.

— Кащей Бессмертный? — спрашиваю я.

— Кащей и есть, — смеется Иванушка. — Кащей-богач. У него ты и переночуешь, и поживешь, коли поглянется.

Солнце робко остановилось у моря и боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кащея на угор.

Мы идем туда.

— Здравствуйте, милости просим!

Сухой, костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх, в «чистую комнату».

— Отдохни, отдохни. Ничего. Что ж. Дорога дальняя.Уморился.

Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню: это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качаться и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.

Впереди, за окном, большой восьмиконечный крест благословляет горящее полуночной зарей море. На берегу люди, похожие на морских зверей, все еще сшивают сети, и те два смешных старика все крутят веревочки, все еще не встретились, все еще не выходил чертенок из моря и не загадывал им загадок. Долетают песни с угора.

Бай-бай... — качает море. Грезится девица с темной косой. Брызнули звезды. Выглянул месяц. Заиграло пе-

вучее дерево. Запели птицы разными голосами. Грешная красавица шепчет: «Спи-усни. Спи, глазок, усни, другой...»

Ноченька темная, радость моя...

Это грезы... Светлая северная ночь. Все тихо. Спят. Как они могут спать такой светлой, безгрешной ночью? Покоятся. Сверкнула золотая шубейка под черным крестом. Стукнуло внизу, стихло. Уснула.

Бай-бай, сестрица, бай-бай, родимая...

Шепчет темная красавица своей светлой непонятной сестрице:

— Спи, милая, спи, родимая. Что тебе на сердце пало? Так и не скажешь? Ну спи. Спи, усни. Усни, глазок, усни, другой...

Закрыла глазок, закрыла другой, про третий забыла...

И по-прежнему смотрит светлая сестрица, молчит в своей нездешней смертельной тоске.

По всему небесному своду, по земле, по воде обвела колдунья мертвою рукою заколдованный круг.

И земля-то спит, и вода-то спит!

Качает красавица старого медведя.

Бай-бай... Скрип, скрип...

Вдруг утка крякнула, берега звякнули. Полетели гуси-лебеди.

Гуси-лебеди, гуси-лебеди, киньте два перышка, возьмите меня с собой!

Кинули гуси-лебеди два перышка. Упали два белые на черный крест.

Подкрался Иван-царевич, прислонился к кресту, шепчет:

— Выходи, Марья Моревна, спустили нам гуси-лебеди два пера.

Летят царевич с царевной над морем.

Дедушка-водяной высунул голову. Какой он!.. Видно все его желтое старое тело. Зачем так? Спрячься!..

— Дедушка, дедушка, где твоя золотая головушка, серебряная бородушка? Скажи, видно нас?

— Видно, деточки, видно. Летите скорее.

— И так видно?

— Всяко видно. Летите, летите.

Как пар, поднимаются с Белого моря души покойников. Реют неслышно, как прозрачные стеклянные птицы. Умываются на подоконниках. Вытираются чи-

стыми полотенцами. Садятся на князьки, на крыши, на трубы, на сети, на лодки, на большие изорванные сосны, на шкуры зверей, на высокие черные восьмиконечные кресты.

Бай-бай. Скрип-скрип.

У МАРЬИ МОРЕВНЫ

21 мая

Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок.

Так свежа, молода эта песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел».

Я в «чистой комнате» зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску голубок. Из угла смотрят на меня преподобные Зосима и Савватий, перед ними догорает лампада. А этот крест перед окнами к морю, вероятно, поставил еще благочестивый прадедушка помора. Шторм разбил его шхуну, и он спасся на обломке мачты.

В память чуда и поставлен здесь крест высотой с этот двухэтажный дом.

В верхнем этаже «чистая комната» для гостей, а внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук. Будто от деревенского прядильного станка.

И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений. Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и верить, что это — серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за Полярным кругом, в Лапландии, будут настоящие солнечные ночи.

Я умываюсь. Чувствую себя бесконечно здоровым.

Мое занятие — этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще? Все эти сказки и былины говорят о какой-то неведомой общечеловеческой душе. В создании их участвовал не один только русский народ. Нет, я имею перед собою не национальную душу, а всемир-

ную, стихийную. И такую, какою она вышла из рук творца.

Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу, я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут, в деревне, не люди? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери. Как тогда? Ничего. Я выберу какого-нибудь умного зверя. Говорят, тюлени очень кроткие и умные. А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный блеск не сходящего с неба солнца? Что тогда? Камни и свет... Нет, этого я не хочу. Мне сейчас страшно... Мне необходимо нужен хоть какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах, да очень просто: я загляну в бездну и удеру — ла-та-та... И опять запою:

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел.

Ничего... Мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз.

— Стук, стук! Есть ли кто тут жив человек?

Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна.

— Здравствуй, Марья Моревна, как тебя зовут?

— Машей!

— Так и зовут?

Царевна смеется.

Ах, эти веселые белые зубы!

— Чайку хочешь?

— Налей.

Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянной втулкой. Так в старину по всей Руси подавали милостыню. Приходили странники, калики перехожие и свой близкий человек. Левая рука не знала, что делает правая. А может быть, и не так хорошо было, как кажется?

Но вот это отверстие. Старина...

— Как это называется? — спрашиваю я о какой-то части станка.

— Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница, пришвица.

Я спрашиваю обо всем в избе, мне все нужно знать, и как же иначе начать разговор с прекрасной царевной? Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем.

Пылает знаменитая русская печь, огромная, несуразная. Но без нее невозможна русская сказка. Вот теплая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку со смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью; вот подпечье, откуда выбежала к красной девице мышка.

— Спасибо тебе, Маша, что чаем напоила, я тебе за это Иванушку посватаю.

Горят щеки царевны ярче пламени в печи; сердитая, бросает гордо:

— Изба низка! Есть и получше, да не иду.

«Врет все, — думаю я, — а сама рада».

Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом куртку, ласково:

— Какой ты черный!

— Не подъезжай, не подъезжай, — отвечаю я, — сосватаю тебе и так Иванушку.

Она меня не понимает. Она просто по дружбе подсела, а я уже вижу корыстную цель. Она меня не понимает и не слушает. Да и зачем это? Разве все эти вещи — карандаш в оправе, записная книжка, часы, фотографический аппарат — не говорят больше всяких слов об интересном госте? Я снимаю с нее фотографию, и мы становимся близкими друзьями.

— Поедем семгу ловить, — предлагает она мне совсем уже попросту.

— Поедем.

На берегу мы возимся с лодкой; откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична: она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно:

— Губ не мочи, говорить не хочу.

Тогда начинается разговор о семге, как в гостиной о предметах искусства.

— Семга, видишь ли, — говорит мне Иванушка, —

идет с лета. Человек ходит по свету, а семга по месяцу. Вот ей на пути и ставим тайник, ловушку.

Мне тут же и показывают этот тайник: несколько сетей, сшитых так, чтобы семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и покачиваться в лодке?

— Другой раз и неделю просидишь, — угадывает меня Иванушка, — и две, и месяц... ничего. А придет час удачи — за все ответит.

Подальше от нас покачивается еще такая же лодка, дальше — еще, еще и еще... И так сидят недели, месяцы, с весны до зимы, стерегут, как бы не ушла из тайника семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой или передавать на полотно эти северные краски — не тоны, полутоны, а может быть, десятые тонов... Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой! И как мало людей ее понимают и ценят!

Я замечтался и, наверно, пропустил бы семгу, если бы был рыбаком. Марья Моревна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком.

— Семга, семга! — тихо шепчет она.

— Перо сушит, — отвечает Иванушка.

Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх, показывает перо (плавник) из воды.

Мы поднимаем сеть и вместо дорогой семги вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную.

Жених с невестой заливаются смехом.

Вышел веселый анекдот:

— Семга, семга, а ин свинка!

Не знаю, сколько бы продолжалась наша пастораль на море, как вдруг произошло крупнейшее событие.

Прежде всего я заметил, что к кучке рыбаков на берегу подошла другая кучка, потом третья, потом собралась вся деревня, даже женки и ребятишки, под конец и оба смешных старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялись невероятный шум, крик, брань.

Я видел с воды, как из толпы там и тут выскакивала жидкая борода Кащея Бессмертного, будто он был дирижером этого возмутительного концерта на берегу Белого моря...

Мало-помалу все улеглось. От толпы отделились десять седых мудрых старцев и направились к дому Кащея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кащей подошел к берегу и закричал нам:

— Греби сюда, Ма-аша!

Я беру на руки морскую свинку. Иванушка садится, а Марья Моревна гребет.

— Старики с тобой поговорить хотят, господин, — встретил нас Кащей.

— Что-то недоброе, что-то недоброе! — шепнул мне волшебный колобок.

Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют.

— Что такое? Что вы? — спрашиваю я глазами.

Но они смеются моей свинке, приговаривают:

— Семга, семга, а ин свинка!

Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому — нерпа, третий вытащил то, что ни на что не похоже.

Так долго продолжался оживленный, но искусственный разговор. Наконец, все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший гусь, повторяет: «Семга, семга, а ин свинка».

— Но в чем же дело? Что вам нужно? — не выдерживаю я этого тягостного молчания.

Мне отвечает самый старый, самый мудрый:

— Тут приходил человек из Дуракова...

— Алексей, — говорю я и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом. Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай, мои сказки!

— Алексей? — спрашиваю я.

— Алексей, Алексей, — отвечают разом все десять.

А самый мудрый, седой, продолжает:

— Алексей сказывал: едет от государя императора член Государственной думы море делить в Дураково. Клянемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семужку!

Старик подносит мне огромную, пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках уже есть свинка.

— Брось ты эту дрянь, на что она тебе? Вот какую рыбинку мы тебе изловили, полагается первая богу, ну, как ты у нас редкий гость, то господь и потерпит, не обойдем и его.

Другой старик вынимает из пазухи бумагу и подает. Я читаю:

«Члену Государственной думы по фотографическому отделению.

ПРОШЕНИЕ.

Население умножилось, и море по-старому, сделай милость житья нет, раздели нам море...»

Что такое? Глазам не верю... И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей, и я расписывался: «От Географического общества». Потом — фотографический аппарат... И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где не хватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вековую вражду.

И у меня мелькает мысль: а почему бы и не разделить мне этим бедным людям море? Раз тут не бывает начальство, то не есть ли это перст указующей руки всевышнего, предначертавший мне и здесь, в пустыне, выполнить свой гражданский долг? Здесь мои поэтические стремления, всегда противоположные жизни, сливаются с грубейшим бытием, здесь, в этой беломорской деревушке, я и поэт, и ученый, и гражданин.

— Хорошо, — говорю я старцам, — хорошо, друзья, я разделю вам море.

Мне нужен точный подсчет экономического положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия, как основы экономической жизни народа.

— Что вы сеете здесь, старички?

— Сеем, батюшка, все, да не родится ничего.

Я так и записываю. Потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство в шесть душ нужно двенадцать кулей муки. Узнаю, что, кроме необходимых потребностей, существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки.

— Откуда же вы берете на это деньги?

— А вот поди знай, откуда взять, — ответили все десять.

Но я все-таки узнаю: деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги.

Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги.

— Стало быть, кормит вас семга?

— Она, матушка. Сделай милость, раздели!

— Хорошо, — говорю я. — Теперь к разделу. Сколько у вас душ?

— Двести восемьдесят три души!

— И с женками?

— Нет. Женские души не считаются, тех хоть сколько-нибудь.

Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на двадцать верст, в другую — на восемь, что на каждой версте находится тоня. Я записываю названия тоней: Баклан, Волчок, Солдат... Узнаю своеобразные способы раздела этих тоней на жребии. Всего тоней оказывается 44 и еще 12 архиерейских, одна Сийского монастыря, одна Никольского, одна Холмогорского.

Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дураково. Но положительно не могу понять претензий старцев на тони этой, еще более бедной деревни.

— Почтенные, мудрые старцы, — наконец говорю я. — Без соседей я море делить вам не буду: пошлите немедленно Иванушку за представителями.

Старцы молчат, гладят бороды.

— Да зачем нам дураковцы?

— Как зачем? Море делить!

— Так не с ними делить! — кричат все вместе. — Дураковцы нас не обижают. Это их с Золотицей делить, только не нас. Нас с монахами делить. А дураковцы ничего... тех с Золотицей. Монахи самые лучшие тони отобрали.

— Как же они смели? — гневаюсь я. — По какому праву?

— Права у них, батюшка, давние, еще со времен Марфы Посадницы.

— И вы их уважаете... эти права?

Старцы чешутся, поглаживают бороды, очевидно, уважают.

— Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить?

— А мы, ваше превосходительство, думали, что как

ты от Государственной думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать?

До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово: «согнать». Просто и ясно — я здесь генерал и член Государственной думы: почему бы не согнать этих монахов, зачем им семга? Я враг этих длинных рыб на архиерейском столе. Согнать! Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник и, куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов, но все больше и больше запутываюсь.

«Семга, семга, — думают старцы, — а ин свинка!»

А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и, боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок...



СТРАНА
ЗОЛОТЫХ
ГОР





В годы начала своего писательства — 1905—1917 — Пришвин не уживается надолго ни в Петербурге, ни в Новгороде, а больше кочует между ними по разным деревням, в местах, богатых охотой.

Время от времени он появляется в блестящих литературных салонах столицы, неловкий, порывистый, доверчивый и до последней степени незащищенный в глазах «духовных аристократов» — так называет Пришвин петербургских литераторов-декадентов.

Человек, видимо, мало меняется. Так, в конце жизни Пришвин запишет в дневнике: «Разобрать когда-нибудь, почему я совсем не умею вести себя в обществе и всегда напряженно и неумело стараюсь преодолеть свою застенчивость».

Петербургский период в применении к реальной биографии Пришвина, к обстановке его работы — это чистая условность. Пришвин не живет в столице, потому что здесь укрываются испуганные природой люди и ищут ответов на загадки природы, отсиживаясь за каменными стенами и работая за письменными столами. Пришвин все эти годы живет среди самой дикой природы и слившихся с нею людей.

Петербургское избранное общество и привлекает и отталкивает его. Чем? Оказалось, эти люди *обессилены* все тем же знакомым нам разделением на «плоть» и на «дух». Только теперь это поиски нового мировоззрения: сопутствовавшее символистам богоискательство *. Люди эти, по Пришвину, «иностранцы», оторванные от природы и от народной культуры, они хотят ее очистить, осуществить в России реформацию, то есть создать новые духовные ценности. Пришвин же полагает эти ценности издревле хранимыми в народе, выношенными отцами, опытом жизни. Он ищет здорового, цельного в народе, близко живущем с природой.

В 1908 году он едет на Светлое озеро к легендарному Китежу, едет с целью вслушаться в споры старообрядцев с православными и прочих народных мыслителей — «начетчиков». Эти люди соби-

* А. Блок, «Весы», 1905, № 11: «Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать».

раются тут уже многие годы в определенный день, «на Владимирскую», то есть 24 июня. На своих плечах за много верст несут они «для спора» к берегам озера древние пудовые кожаные книги.

Но и среди этих народно-религиозных искателей Пришвин наблюдает «обессиленный дух Аввакума», который напоминает ему о петербургских «декадентах». Чем? Да той же разделенностью на «плоть» и на «дух», причем у одних слишком много «неба», у других сплошная «земля». Так понимал тогда это Пришвин и писал в 1909 году в книге «У стен града невидимого».

Мы же понимаем теперь так: время требовало, чтобы людям давать не одну красоту («дух»), но и нечто вещное, насущное, как хлеб. По-видимому, это «нечто» было тем, что искони называлось в природе «правдой».

В ранних дневниках есть такая запись, сделанная после собрания у «декадентов»: «Мы вышли на улицу... папироски, женщина, похожая на актрису, эти священные поцелуи в лоб. Секта! И как далеко от народа.

Помню молчаливую толпу крестьян перед горящей усадьбой. Никто не двинулся для помощи, а когда увидали в огне корову, то бросились заливать, потому что скотина — божья тварь».

«У Мережковских меня встретили новые цепи: практически от меня требовали подчинения. А я хочу писать свободно. Пришлось отшатнуться».

Вот почему Пришвин отходит к «реалистам», вот почему так пристально приглядывается к его творчеству Горький. На языке ученых — Пришвин преодолел эстетизм начала века.

Но сказать так — будет очень условно и неточно. Дело в том, что мысль Пришвина всегда и неизменно сохраняла и сказку, и самый плотный реализм. Она не вмещалась ни в одну из программ эстетических группировок, и ни одна из них не приняла Пришвина до конца.

«Само по себе искусство для искусства — нелепость, как нелепость — искусство на пользу. Искусство есть движение, современное жизни, с постоянным качанием руля...»

Самостоятельность и народность Пришвина поражают даже в начальных записях еще не установившегося и до боли одинокого художника.

Связь Пришвина с общенародной жизнью, его постоянная озабоченность ею, несмотря на углубленность в свои личные переживания (назовем их здесь философско-поэтическими),— эта связь легче всего усматривается в его постоянной работе газетчика-журналиста, начавшейся в 1905 году. Газетные корреспонденции, статьи и рассказы открывают нам Пришвина как патриота и про-

грессивно настроенного гражданина, чутко откликающегося на все народные беды и нужды. Их темы — это и реакция на только что подавленную революцию 1905 года; и брожение в разбуженной народной массе, особенно среди близкого ему крестьянства; война (Пришвин едет газетным корреспондентом на передовые позиции); подготовка к новой революции.

При жизни Пришвина эти работы, нашедшие свою оригинальную форму, были собраны автором в один небольшой том с многозначительным и смелым по тем временам заглавием «Заворошка». Разбросанные по разным газетам и журналам, хранящиеся еще в рукописях, они расскажут нам о писателе-гражданине, многосторонности, прогрессивности его интересов и вместе с тем о самобытности его личного отношения к общественным явлениям.

В 1909 году Пришвин отправляется в новое путешествие — по тогдашней дикой Киргизии, то есть нынешнему Казахстану. Край этот мало кем был посещаем, разве только должностными лицами да ссыльными. Что повлекло его в далекую Киргизию? Писатель сам себе не мог этого объяснить и, будучи страстным охотником, оправдывался перед собой «практическим» намерением во что бы то ни стало увидеть архаров — редких животных, встречающихся в горах Казахстана. Конечно, втайне это было продолжение путешествия в ту самую «Азию» своего детства, в «край непуганых птиц». Но оправдаться практической целью было необходимо хотя бы потому, что в Петербурге оставалась семья, которую надо было обеспечить: заработок у начинающего и немодного писателя был скуден.

Пришвин пишет: «Эта трудная цель без средств, даже без ружья убить архара позволила мне так хорошо познакомиться с жизнью сибирских горных степей».

Два месяца продолжалось путешествие. Пришвин привез в Петербург путевой дневник. На основе этих торопливых записей создалась поэтическая повесть «Черный араб». До сих пор она не потеряла ни в малейшей мере своего очарования и является одним из лучших произведений Пришвина. Ни одно «Избранное» не выходит без этой поэмы.

И все же рукопись путевого дневника не до конца претворена в произведение. Перечитываешь ее — нет-нет и вспыхнет в ней перед глазами никуда не включенная автором запись. Вот, например, названная Пришвиным «Глаза верблюда»: «Как уродлив, как нелеп его вид, похожий на птицу. Но почему-то, встречаясь с верблюдом в пустыне, долго не можешь оторвать от него глаз. В этих отрешенных от жизни глазах чудится какой-то сознательный и, главное, давно-давно взятый крест на себя... Что-то бесконечно глубокое и сильное, но дикое. Нелепость природы и глубо-

чайшее сознание этой нелепости. И вечный укор красивому и упрек».

А дальше идет у автора приписка: «У меня есть приятель, похожий на верблюда...» Никто не поймет, к кому она относится, если не привести здесь объяснение, подтвержденное мне самим Михаилом Михайловичем: эта запись — об А. М. Ремизове, своем друге-горбуне, о его тоске и неудовлетворенности, скрывавшейся за шутовством им же созданной в Петербурге «обезьяньей палаты». Так называл Ремизов группу своих друзей и учеников, в которую входил в какой-то мере и Пришвин.

Иногда приходится слышать, что Пришвин отошел от «декадентов» к Ремизову. Но вот его воспоминание 1945 года: «Когда же на всем литературном пути у меня был хоть один единомышленник-друг из писателей? Ремизов разве? Но он любил меня сколько мог, а единомыслия никакого не было...»

Путешествие охотника за архарами проходит, судя по дневнику, мужественно, бодро, в повседневных наблюдениях реальных событий. И все же нет-нет и мелькнет между строк затаенная грусть: «Россия! Родина дорогая моя... Тут только на фиолетовых берегах соленого озера понял я, что люблю тебя, что ты прекрасна. А эти врезанные в небо черные утесы, и желтые тлеющие березки в угрюмой синеве сосен в ясный день. И тоска по родным полям и саду... Едешь, и смотришь на камни, и вдруг вспомнишь: с сентября теперь у нас астры холодные...»

«Черный араб», несомненно, большой шаг вперед в творчестве писателя. Он записал себе, начиная эту работу: «Книга будет такая же, как «Колобок», но цельная, выдержанная. Избежать ошибки «Колобка»: невыдержанность и провалы в этнографию».

Но мы-то как раз и ценим теперь у Пришвина эти «провалы» на фоне стилистической расплывчатости современного «Колобку» символизма!

Так или иначе Пришвину удалось осуществить поставленную себе задачу: в «Черном арабе» он как художник достиг слияния с природой и ее людьми столь полного и выразительного, что сам с первой же страницы перевоплощается на наших глазах в Черного араба, и вот уже мчится о нем по степи легенда: «она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу».



ЧЕРНЫЙ АРАБ

ДЛИННОЕ УХО

Сама родится новость в степи или прибежит из других стран — все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.

Случается, джигит задремлет и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость.

Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.

— *Хабар бар?* (Есть новости?)

— *Бар!* (Есть!)

Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды.

И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.

Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда — неизвестно. «Так, — говорили, — скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать, — нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному уху:

«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный араб из Мекки и молчит».

Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.

Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом — и прощай!

— Хабар бар? — спросят дикие.

— Бар! — ответит подкованный.

И по-своему расскажет о Черном арабе и пегатом коньке. Конь — по-своему. Я — по-своему.

Содержатель соленого озера — есть и такая должность — пустил слух из своего домика:

«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка».

Скоро под окном кто-то постучал и сказал:

— Араб здесь?

— Здесь араб! — ответил я и выглянул в окно.

Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна — киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.

— Что нужно? Откуда узнал обо мне? — спросил я его.

— От Длинного уха, душа моя, — ответил этот киргиз и засмеялся.

Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.

Мы долго чему-то смеялись.

У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки — все в лучшем виде.

— Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, — говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.

— Чистые, чистые, — повторял я за ним.

— Ты, душа моя, верь мне, — просил он, — другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!», а я такой привычки не имею.

Мы скоро поладили.

Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.

— Что, как убьют? — спросил я.

— За что убьют? — ответил Исак. — Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!

И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком — в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на го ризонте степные всадники. Длинное ухо насторожилось.

— Хабар бар? — спрашивают одни.

— Бар! — отвечают другие. — Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.

Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.

Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро — одно из тех обманчивых озер пустыни — блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.

И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда — все будто рукой сняло.

Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.

— Ка! — кличет ее по-своему Исак.

Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка,

степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?

— Ка! — зову я собаку.

Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи.

Она садится на сухую землю и воет.

— Ка! Ка! — кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.

Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна, и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину; впереди — как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями.

Свет и тишина... Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался Длинное ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.

Пусто!

Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?

Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, — они тоже по-своему жили и выли, и недешево досталась пустыне ее светлая тишина.

К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу.

— Алла, алла! — шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая.

Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони.

Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил, и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.

В синеве заколыхалась большая белая чалма.

— Алла, алла! — быстрее замолился Исак.

— Мулла едет? — спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.

— Узбек на верблюде, — отвечает Исак.

И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне.

Она потеряла мальчика.

— Не видали ли мы ее мальчика? — спрашивает женщина.

— Мы никого не видали, — ответил Исак, — только вот пристала собака. Не ее ли эта собака?

— Нет! — ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.

— Она спрашивает, — перевел Исак, — не видали ли мы араба на пегатом коне, — не он ли унес ее мальчика?

Исак на это ответил:

— Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.

Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:

— Куда едет араб, зачем?

Исак объяснил ей:

— Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего Албасты, желтоволосая бесплодная женщина.

Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.

Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.

И вот я — степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой — повода, и весь я в этой одежде, такой ши-

рокой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду киргиз, по слуху араб, еду и сею миражи.

Опять на горизонте показываются всадники Длинного уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку:

— Берге (сюда), джигит! — кричат назади.

Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.

— Хабар бар? — спрашивают они, когда мы съезжаемся.

— Бар! — отвечает Исак.

И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.

— Ио-о! — восклицает один.

— Э! — отвечает другой.

Только и слышно, что «о» да «э».

Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?

Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.

Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называется Сломанное колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка.

Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.

До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка Закопанный колодец нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.

— О чем говорили? — спросил я.

— Все о той же верблюдице, — ответил Исак.

Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.

— Про что теперь говорили? — пытал я Исака.

— Да все про ту же верблюдицу, — ответил он.

Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.

Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся — признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру.

Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда каабе.

— Алла, алла! — падает он на халат.

Два последних всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей.

— Алла, алла!

Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.

Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры — намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко.

Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда. Слепая тропинка.

Какая-то незнакомая птичка насвистывает.

«Что это за птичка такая? — думаю я. — Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.

Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.

Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца черный купол степной могилы, движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:

— Чу!

— Берге! — кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.

Старик и бык услыхали.

— Чу! — крикнул старый на баранов.

Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом — бык и старик.

— Руки, ноги здоровы? — приветствую я по-киргизски старика.

— Аманба, — отвечает он.

— Скот здоров?

— Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? — спрашивает меня старик по-своему.

— Аманба. Аман, — отвечаю я.

Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак.

Глажу доброго быка между рогами и приговариваю:

— Джаксы, джаксы!

Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял.

Глажу доброго старика и приговариваю:

— Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик.

И он, добрый, слезает.

А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними

губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку.

Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.

Я свищу на баранов

— Чу! — кричу на быка. — Берге, — зову старика.

Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади — и так мы шествуем навстречу Исаку.

Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет — кизяк — для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей.

— Что он рассказывал? — спросил я потом Исака.

— Все про того же араба, — ответил Исак, — про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу.

Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась — нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.

Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка — волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:

— Оо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!

Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:

— Ох уж эти бесплодные женщины!

ПЕГАТЫЙ

Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, и мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.

В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити — такая она была большая и низкая.

— Чолпан! — сказал Исак. — Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.

Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться — есть и третья, и четвертая.

Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.

Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни,

сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.

Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.

Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.

— Что я могу сказать об этой звезде? — указал Исак кусочком сахара на небо.

— О какой? — спрашиваю я. — Об этой? — и тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду.

Исак мычит в знак согласия и кивает головой.

Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная.

— И по-нашему, она неподвижная.

— И у нас и у вас одинаково! — удивляюсь я.

— Все это видно на небе с древних времен, — отвечает Исак, — и у нас и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный кол.

— А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного кола? — спрашивает опять Исак.

— Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю.

— Это два коня, Белый и Серый, — объясняет мне Исак, — оба привязаны за Железный кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, — указывает Исак на Большую Медведицу, — семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят и ходят вокруг Железного кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.

— А эта кучка звезд? — указываю я на Плеяды.

— Эта кучка звезд — овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?

— Неужели и волк есть на небе?

— Да вон же волк, душа моя!

И показывает мне кусочком сахара на небо.

— На небе как на земле! — говорю я, удивленный.

— Как в степи, — отвечает Исак, — вон и мать тоже ищет ребенка.

— Может быть, есть и араб?

— Э-э!

— И Длинное ухо?

— Э-э!

Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость.

Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:

— Хабар бар?

— Бар! Араб чай пьет под звездами.

Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.

Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.

Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.

Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!

Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.

— Где лошади?

— Тут.

Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды — испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ре-

бенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды.

Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах — саптомы, сбоку — ружье, сверху — вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей — Пегатый. Чуть что — нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.

Вот я теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.

Карат подошел и чешется о тележку.

— Чу, Карат! — кричит на него Исак.

Лошадь переходит на мою сторону к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного кола.

«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» — думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне — оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?

— Чу, Кулат!

Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.

Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.

Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней — и прощай Пегатый!

Хочу встать — не могу.

А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды

колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул круто шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.

«Спит ли? Спит!»

Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.

От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.

— Хабар бар? — спрашивают старые.

— Бар! — отвечают молодые. — У края степи, возле самой пустыни спит Черный араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.

— Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, — поправляют старые мудрые кони, — а здесь его имя пусть будет отныне и до века — гнедо-пегий конь с белой звездочкой.

СТЕПНОЙ ОБОРОТЕНЬ

Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело.

— Это хребет земли, страна Арка́, — сказал Исак. — Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, — лучшая в мире страна для пастухов.

Семь юрт у подножия горы, будто семь белых птиц уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец.

— Примет ли нас Джанас? — спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской.

— Примет...

Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят. Старик прикладывает руку к сердцу.

Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони — все здорово и у них и у нас. Слава богу, аман!

Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты.

Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец.

В юрте пастухов — будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть.

Наверху круг еще синего неба; внизу, на земле три черных, обожженных камня с рогулькой — очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано.

Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается: Каин был земледелец, Авель — пастух.

В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается и кто-нибудь входит — слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги, у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Но приглядеться — они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого, тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего, толстого, хвостики обкусаны; четвертый поменьше всех, и лицо медно-красное.

Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют.

Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный араб. Длинное ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда — неизвестно. И вот наконец попался.

— Куда едет араб?

Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит. Другой подвинулся...

Довольно миражей...

— Я не араб!

— Йо-о! — воскликнул толстый с тюленьей головой.

— Йо! Алла! Он не араб! — заговорили другие.

И все разинули рты.

— Кто же он? Что ему нужно?

— Ему ничего не нужно, — объясняет Исак, — это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.

— Йо, Худай, не дух ли это предков, аурах?

— Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, богу не молится.

— Шайтан! — шепчет толстый с крысиными хвостиками.

У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот Хыдыр, святой.

Смотрят на руку, трогают палец — палец у меня твердый. Гость — не араб, не аурах, не шайтан, не святой.

Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного араба по-прежнему не разгадана.

Все щелкнули языками.

— Джок! Нет, непонятно.

Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят:

— Джок! Нет, непонятно.

Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально — скроется, отвернуться — опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверно, уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся — и араб, как степной оборотень, превращается из мельчайшего, с булавочную головку, джинна в ужасную Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи влюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли?

Но все кончилось просто.

Кто-то спросил:

— Есть ли отец у гостя?

Все обрадовались простому вопросу и подвинулись.

— Есть отец.

— А мать?

— И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все равно как и у вас в степи.

— Все ли живы?

— Все живы, и все живут в Петербурге.

— Йо! — радуется старик, похожий на Авраама.

— Сколько же там в Петербурге домов?

— Тысячи!

— О! — вырвался из открытых ртов общий радостный крик.

— А есть ли в Петербурге бараны? — спросил Авраам.

— Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так.

— Как так?

— Без курдюков, с козлиными хвостиками.

Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки — так хохочут в степи!

Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось.

Ему отвечают:

— В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками.

Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад на спины, хватаясь за животы, и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исак. Приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежнего таинственного и страшного Черного араба.

И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он не страшный, этот Черный араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.

ОРЕЛ

Верхами на маленьких лошадках, похожих на куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы падающий камнем за добычей орел мог свободно залетать в ее отверстие и остаться в сети, бессильно распустив крылья. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.

До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.

Да, он упал...

Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.

Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только

перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.

И вот мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.

В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на бечеве, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака — друг человека.

Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла и, чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.

Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за бечеву, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут — только покажут! — кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого, вываренного, бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.

Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан, довольный, улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака — друг человека.

— Ка! — кричит киргиз. — Ка!

Орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются.

Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса:

— Ка!

Орел садится к нему на перчатку.

Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, — к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат:

— Куян!

Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла.

Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается — вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле.

Вот клевать бы, клевать и, что еще проще, взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты...

Мгновение еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул:

— Ка!

И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.

И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.

Так приучают орлов.

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову.

— Желает гость козла или барана? — спрашивает хозяин.

— Барана желает гость, — отвечает Исак.

— Молодого или старого?

— Молодого желает гость.

Старик просит прощения: летом было мало дождя — молодые бараны сухи, но он попробует выбрать. И уходит.

Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру.

Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем.

Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить.

Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет — и баран благословлен.

Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домры.

Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями, огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо.

Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды.

Толстый, с тюленьей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник прямо с шерстью и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо, оттого что в нем сокращались мускулы, зашевелилось.

Исак указал на это соседу, тот — своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спо-

рить, можно ли есть такое мясо. Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно.

Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал:

— Теперь оно больше не будет прыгать.

Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела.

Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью.

Просунулись женские руки — отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое.

Наконец красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды.

Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол, и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо — лучшую часть, предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана.

Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей.

Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту.

А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи

охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню.

Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки — все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина досасать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам.

Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали.

Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом — так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка — и все дальше и дальше, тише и тише.

Не сон — этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам.

— Сколько утащили волки? — спрашиваю я Исака.

— Трех, — отвечает он, засыпая, — трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков.

Девушку долго и зло бранили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы

на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто знает? Быть может, приедет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо.

Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного года, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо.

Так от века было в долине Пестрой змеи.

Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил; и он побежал.

— Ободранный? — изумился я.

— Ободранный, — ответил спокойно медно-красный, — ободранные волки немного могут бежать.

И рассказал всю свою ночную охоту.

При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк как мертвый. Выстрелил — волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул — остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненный, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три.

Так отомстил медно-красный волкам в долине Пестрой змеи.

— Йо-йо! — удивлялись другие.

— Джяксы, мергень! — одобряли все.

И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк.

Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту.

Мы стали собираться к отъезду, а хозяева — раз-

бирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше на летнее пастбище, они назад — к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные обожженные камни и белые черепа.

ЧЕРНЫЙ АРАБ

Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному степным царем.

Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей — степных воров — для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов — бай Кульджи мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.

Длинное ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними — молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.

Все они проводили нас к аулу Кульджи — ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя.

Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.

Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, — так отлила степь своего царя.

За спиной Кульджи неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена — байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика — дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя — швейная машина Зингера.

Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили:

— Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?

— Э! — кивнул Кульджа в знак согласия.

— По Длинному уху? — спросили мы.

— Слово бежит в степи всегда по Длинному уху, — ответил степной царь. — Великое дело слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте — мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями — и овца приносит двух ягнят. Но Длинное ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.

— Э! — согласились поэт, певец, музыкант и учитель.

— Что привело гостей в нашу землю? — спросил Кульджа.

— Привлекает посмотреть страну, — ответили мы, — где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.

— Углубления и ямы страны, — ответил царь пастухов, — существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Арка — значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.

Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Арка.

Вечерело. Стада собирались — лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.

— Это мои табуны, — указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.

Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.

Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.

— Эта юрта моей матери, — указал хозяин на большую белую юрту, — эта — старшей жены, эта — младшей, эта — жены, доставшейся мне от покойного брата.

Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.

Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку — овцевязь — голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.

Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.

В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья), — огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом арга-

маке и другой дядя Кульджи, и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины Пестрой змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий, с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий, с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах: стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.

Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поле.

Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал:

— Время рот раскрывать!

Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.

Оба муллы заняли место против двери, обращенной к каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла — все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади.

Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и

коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.

Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.

Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?

Не удалось: сухой шарик рассыпался.

Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:

— Грызите!

Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.

— Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? — спросил судья.

— Недавно мы видели, — ответили мы, — такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.

— Как же там постятся мусульмане? — сказал строго мулла. — Гость ошибается: нет такой страны.

И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.

Хозяин вступился за гостя и сказал:

— Есть такая страна!

Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятное нами слово было: «шерегат».

Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.

Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорит: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло, и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!»

Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».

Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.

И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.

Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.

Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.

— Аманба, аманба! — повторял заблудившийся, грея у костра руки.

— Аман! — отвечали ему и спрашивали: — Есть ли новости, хабар бар?

— Бар! — отвечал заблудившийся. — В долине Потерянный топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.

— Кто украл невесту?

— Не знаю, — ответил гость, — степь велика!

— Степь велика, — повторил степной царь и спросил: — Нет ли еще чего нового?

— Видел белую галку, — ответил гость.

— Белую? Мулла, есть ли белые галки?

— Есть, — ответил мулла.

— Йо! — удивились все.

Еще видел вестник Длинного уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.

— Это бывает! — сказали пьющие кумыс.

— Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.

— И это бывает! — сказали люди в халатах.

— Еще видел при наступлении ночи черного зайца.

— Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?

— Йо-о! — удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.

— Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.

— Йо-о!

— Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.

— Мулла, есть ли такая страна?

— Есть, — ответил мулла.

— Что же еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс.

— Еще что? — повторил гость. — Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.

— Он здесь! — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.

«Нет, — подумали мы, — здесь уже нет Черного араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он — как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».

На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.

Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.

Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.

Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:

— Это ты, мой медный кувшинчик?

— Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, — отвечает кувшинчик. — Это я, здоров ли язык?

— Язык здоров, на сердце боль.

— Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара.

Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.

— Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.

— И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.

— И твои, дорогой!

— Твои очи темней обожженного пня.

— И твои.

— Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди — как свежее масло. Твои очи — как серп новолуния.

— Клянись, — просит она, — обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.

Он повертывается к луне.

...А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.

Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.

Караван двинулся тоже в ту сторону.

Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступней в старый след на кочевой дороге.

Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна.

Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все

стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить.

И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.

Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.

Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.

А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный араб.



СЕРДЦЕ РОССИИ





Приходит Великая Октябрьская революция. События разъединяют Пришвина с Петербургом, с его миром искусства. Многие из литературных спутников очутились в эмиграции. Некоторые ушли в «эмиграцию» внутреннюю. Пришвин избрал себе самостоятельный путь. С начала революции он решил работать на земле «своими руками», бросил Петербург и уехал было на родину под Елец, где ему достался от незадолго перед тем умершей матери небольшой хутор. Однако вскоре обстоятельства вынудили его уехать с семьей на родину жены, в глухую деревню Смоленщины. Там он создает музей усадебного быта в покинутой хозяевами усадьбе Барышниковых. Работает учителем в деревенской школе. Пробует применить свои знания агронома на научной сельскохозяйственной станции.

Жизнь трудна, в крайней нужде, голоде, работа при коптилке.

«Какой он писатель — он мужик»,— говорят об учителе на деревне *. Однако вызывает глубокое уважение постоянная духовная сосредоточенность Пришвина, жизнь всегда на внутреннем подъеме. Короче и выразительнее всех возможных наших объяснений расскажет о тех годах запись самого Пришвина, сделанная им в старости в 1947 году и названная им «Биография»: «Когда я приходил в деревню в 1919 году в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала, это теперь воспоминание мое, как наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал».

Художник в Пришвине не может не жить и не расти. В 1922 году ему удается переехать с семьей под Москву — в Талдом, Переславль и, наконец, в Загорск. Чем глубже внутренний рост, тем ближе оказывается желанная страна непуганых птиц. Теперь она открывается художнику совсем рядом — это его Берендеево царство среднерусской природы. Никуда не надо за ним убегать: ни в Азию, ни на Беломорье. Надо лишь остановиться, собраться в себе, прислушаться, присмотреться к жизни... «Когда

* Воспоминания Н. Дедкова, бывшего ученика школы (архив Пришвина).

я стал — мир пошел» — эти слова, которыми заканчивается последняя книга «Весна света», изданная «Молодой гвардией» и успевшая порадовать писателя за две недели до его кончины, впервые сказаны еще в 20-х годах.

Художник находит ценности в простейшей повседневности; во всякое время и во всякой вещи он открывает неповторимую значительность и любовно называет ее точным словом. Все вокруг важно, все просит его внимания. Об этом и пишет Пришвин книгу «Родники Берендея», значительно дополненную и переименованную впоследствии в «Календарь природы». С нею он входит как новый писатель после длительного перерыва в молодую советскую литературу.

Теперь его основной герой — Земля. Но Земля для Пришвина не просто «почва», это и «культурный слой», в котором сохраняется родственный человек, сохраняется всякий, кто на нем жил, думал, творил и собой его обогатил. Пришвин больше всего боится отклониться в «гордость», иными словами, в отъединенность от «обыкновенной» жизни, потому что она, эта Жизнь, и есть для него правда, без нее он один не существует.

Дивно слились теперь для него в единство и природа и мечта. Однажды он записал: «И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня!»

В конце пути он скажет так: «надо перешагнуть через себя», «выйти из себя маленького». А для этого надо «не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи... Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало тесно в себе... Тогда в глубокой уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь: вот хотя бы этот папоротник... После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз, захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся выход из себя».

Переход от мелочей на земле к величию вершин совершается безо всякой наигранной патетики, а просто связывается со скромной жизненной подробностью, как это бывает *у всех,* — «попала пушинка в глаз». Все в жизни для Пришвина взаимосвязано, все полно смысла, и всем доступно, и не является достоянием избранных натур. Надо только, чтоб «захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги».

Он пишет, почти не пользуясь завлекательностью сюжета: ни улыбок, ни взглядов, ни приключений, ни любовных перипетий. Все как в природе, почти в полном молчании и предельной занятости работой, то есть творчеством.

Наступила середина жизни Михаила Михайловича — середина 20-х годов: «Это не шутка — пятидесятый год!»

Жизнь его протекает главным образом в природе вокруг маленьких городов, где у него кое-какое неважно устроенное жилье. Еще он занят в эти годы охотой. Это для него не развлечение, не спорт. Часто в те годы его охота всерьез кормит семью.

Жизнь очень проста: все силы отданы писанию. Но писание его — это не столько производство книг, сколько разговор со своей душою.

Берендей «в мглистой бороде», он живет посреди своего «Берендеева царства» в глухой лесной стороне под Переславлем-Залесским. И как всегда, в его сказке очень реальная подробность: ближайшая железнодорожная станция к Переславлю так и называется «Берендеево». Часто встречает бодрый Берендей восход солнца в лесу, где пришлось заночевать под кустом, или на высокой моховой кочке. У него подросли сыновья. Его скитанья по жизни делит верная Берендеевна.

То спрячется, то промелькнет между строк мягкое и грустное прощанье с далеким прошлым, но все покрывает захватывающая радость на этом пути выхода из себя, перехлестывающая через «себя маленького». В конце жизни Пришвин вспоминает: «Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, был мой родной язык».

В «Календаре природы» проще и крепче, чем в свое время в «Колобке», уже без малейшего налета декадентства, сказалась до конца основная художественная сила Пришвина — сочетание тонкой поэтической лирики с реализмом трезвой наблюдательности. И что прекрасно — прозаическое не только не разрушает очарование поэтических строк, оно своим огрублением оттеняет все, что в них от подлинной поэзии, как бы испытывая этим поэзию на прочность.

«Ощупью в своих сомнениях с невозможной для взрослого человека удивленностью обращался я к таким вещам или существам, которые были с человеком десятки тысяч лет... Но когда я об этом стал писать, то как раз и заговорили о том, что я «оригинальнейший писатель».

Присмотримся к «Календарю природы». Вот запись «Жалейка»

с простейшим сюжетом: автор играет на рожке «из волчьего дерева, тростника и коровьего рога», а крестьяне слушают и решают о нем так: «Каши наелся — и заиграл».

Или рассказ «Болото». Казалось бы, Пришвин выбрал в природе самое непривлекательное для читателя. Да и сам он не рисуясь и без всякой чувствительности пишет подчас так о болоте: «Вечером на токовании тетерева залез в Блудово болото. Какая чертовщина! И я находил удовольствие таскаться по таким болотам всю жизнь!» И тем не менее именно болото станет одним из центральных «героев» его будущих произведений, начиная с «Кладовой солнца» и кончая «Корабельной чащей».



ИЗ «КАЛЕНДАРЯ ПРИРОДЫ» И «ОХОТНИЧЬИХ РАССКАЗОВ»

ВЕСНА СВЕТА И ВОДЫ

ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ

У нас, фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге с боку на бок; тогда солнце повертывается на лето, и хотя зима на мороз, все-таки цыган тулуп продает.

Январь средней России: предвесенние оживленные крики серых ворон, драки домовых воробьев, у собак течка, у черных воронов первые брачные игры.

Февраль: первая капель с крыш на красной стороне, песня большой синицы, постройка гнезд у домовых воробьев, первая барабанная трель дятла.

Январь, февраль, начало марта — это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю, как скряга, рубль за рублем, и когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю свободен и счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна, — и каждый год весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая.

В этом году весна света перестоялась, почти невыносимо было глазу сияние снега, всюду говорили:

— Часом все кончится!

Отправляясь в далекий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу.

Да, никогда новая весна не бывает как старая, и оттого так хорошо становится жить — с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году.

Наши крестьяне, встречаясь друг с другом, только и говорят о весне:

— Вот-вот оборвется!

— Часом все кончится!

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ КУЧЕВЫХ ОБЛАКОВ

У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь. С трудом я открыл дверь, заваленную ночным снегом, и, пробивая лопатой траншею, стал раскидывать и белый пух этой ночи, и под ним залежалые тяжелые пласты.

Я не жалею сугроба; вон в снеговом половодье плывет облако, большое, теплое, каких не бывает зимой, и оно тоже — как непомятая лебединая грудь. Там и тут вместе с весной, на земле и на небе, пока-

зывается вновь мое неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, приходит, уходит и, пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребенок, а отец и хозяин всех моих видений.

Это не шутка — пятидесятый год; вспомните, как сказано об этом в древней книге: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, то это будет твой пятидесятый год, возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

— Ну, ребята, — кричу я, — живо вставайте, идите мне помогать, скоро будет мой юбилей!

Их зовут Левка и Петька, оба умирают в лесах на охоте. Я с толком воспитал в них эту страсть: ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь, они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея. После Нового года и до первой весны, в закрытое для охоты время, они, бывает, танцуют в городишке и поздно возвращаются ко мне в деревню, и это у них тоже называется стрелять. У Левы рано наклюнулись усики, он их потихоньку подбрил моей бритвой, и теперь у него усы на верном ходу. У младшего губы еще совершенно голые.

Начиная от Сороков, когда прилетают грачи, жаворонки и всякая мелкая птичка, они бросают мысли о танцах и в свободные часы начинают готовиться к тяге, к глухариным и тетеревиным токам. А когда пойдет самая охота, возвращаясь вечером с тяги, вспоминают иногда с удивлением танцевальное время и говорят, что это было от нечего делать. Опять они начинают ошибаться в словах и говорить не «девушки», как я им велю, а «девчонки», и теперь почему-то я их больше и не поправляю.

— Ну, ребята, — говорю им, — чувствуете вы, какой нынче день, весна света в полном разгаре, скоро вода погреба зальет, живо, живо работайте, други!

Мы славно поработали, и от этой работы здоровье души переливается через край.

Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю.

Над фиолетовым лесом играют два ворона, кувыркаются.

Да вот же кого я люблю — эту птицу! В зимний страшный день, когда от сильного мороза солнце как будто распято на светлых столбах, все засыпано снегом, спрятался человек, зверь, птица обыкновенная на лету падает мертвая и только я — живая душа — еду, не уверенный, доберусь ли домой, — вот этот черный ворон над белым покровом летит высоко, скрипя обмороженным маховым пером.

А вот теперь у ворона разгар любви: нижний с разлету сшибает верхнего и поднимается выше, сбитый проделывает то же самое, и так, чередуясь, летят они все выше, выше и вдруг с криком ринутся вниз и сейчас же наверх.

Вороны кувыркаются — до чего хорошо! В душе звучит мелодия, и вместо слов отзывается мне все голубое небо, и по этому светлому половодью вот опять плывет теплое облако, как большая белая птица, подымая высоко лебединую грудь, никем не помятую.

ЗЕМЛЯ ПОКАЗАЛАСЬ

Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал:

— Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.

Вышел я и послушал, — правда, очень хорошо, и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.

Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась... Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.

Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул:

— Смотри, земля показалась!

Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул:

— Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!

Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:

— Где земля показалась?

Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:

— Земля, земля!

ГЛУХАРИНЫЙ ТОК

За ночь сильно вызвездило, в комнате стало прохладно, — я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время и сосед мой, старый крестьянин, вышел до ветру.

— Морозит, — сказал я.

Он не сразу ответил, осмотрел все вокруг себя — снег, звездное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе:

— За дедом внук пришел!

Я попробовал пройти по снегу — не провалилось.

— Хороший внук, — сказал я старику и пошел будить детей.

Я им рассказал, что это, может быть, последний наст и нам надо непременно идти на Ворогошь — проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканья крыльев.

— Ты, папа, спец, — сказал радостно Лева и стал тормошить Петьку.

Все подковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны. На десятки верст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя: есть у нас «Ясная поляна» с тремя высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят, есть сухое местечко между двумя большими болотами — «Передышка», есть «Золотая луговина», а верст за восемь от нас, среди временами почти непроходимых болот, высится боровое местечко, далеко видное, местные люди зовут его просто Вихорек, а мы окрестили «Алаунская возвышенность». Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все восемь верст до Вихорька и тут на высоком месте щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все говорили о весне — «часом все кончится», и затревожился: «Что, если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест?»

В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уж верно: всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки нет-нет и выйдет такое, что никак не поймешь. Услышали мы треск внизу на болотах и такой сильный, что лед разлетался, как стекло, и эти стеклышки льда, падая, тоже давали звук. Чудовище, ломавшее лед на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание, со взведенными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло все дальше и дальше в болота. На том сухом местечке, которое мы зовем «Передышкой», треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца и, верно, уж больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук, и потом Лева. Верно, это было очень далеко, я не слыхал, и в ушах у меня пели сверчки, да по догадке по-прежнему лось все ломал и ломал стекло на болоте. Они услышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом, с риском спугнуть, по стеклянному болоту.

Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка, я стою на горе и смотрю туда вниз, на болота, покрытые редкими темными седухами — соснами.

Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре, и вдруг там, у них, выстрел: это лучше, чем мне бы пришлось, — так уж почему-то складывается: их удаче я больше радуюсь, чем своей. Но и мне пришлось поскакать немного; на третьем скачке я услышал особенный, непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое черное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть, мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в нее, в эту еще не ожившую кочку, я сел лицом к заре.

У них там был еще один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, которые все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда

взялся канальчик? Я разгадал: это когда снег только еще начал таять, мышь пробежала и омяла его, потом подморозило, и когда снова стало таять, то омятое мышью не так быстро превращалось в воду, как снег, и когда еще раз сверху заморозило, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега.

Может быть, я и уснул, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счета. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход, — эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами «Алаунской возвышенностью»: вода голубая, кругом вода!

То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло, — как-нибудь доберемся, не в этом дело. Счастье увидеть еще раз весну света и воды было безмерное; мгновенно вспомнилось мне из древней книги: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

Я отнял ствол от ружья и затрубил что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел обнять тоже стволы и сказал:

— Трубите, дети, сегодня мой юбилей!

ВЕСНА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ

ПРИЛЕТ ЗЯБЛИКОВ

От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка. Тогда только, после всего прекрасного, все скажут: «Началась весна! Какая прелесть!»

А нам, охотникам, с прилетом кукушки весна кон-

чается. Какая это весна, если птицы сели на яйца и у них началась страдная пора!

С прилетом кукушки лес наполняется людьми. Выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И то же бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь: «Лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на который не ступала нога человека, и на этом пне, очень может быть, еще никто никогда не сидел...» А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца.

Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестает расти, и много раз проверял: гриб растет. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял: птицы наивно доверчивы... Я люблю от прилета зябликов, когда еще не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо, все чего-то не хватает — то слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит, наконец, вечер, когда развернется ранняя ива, запахнет зеленой травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер. Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и за то получаешь от них в этот вечер ответ:

— Не напрасно ты ждал!

ДЕВУШКА В БЕРЕЗАХ

На березах только что обозначилась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался чудовищем — напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любо-

ваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая, лоб у нее был немного высок, и как-то вдруг слишком по-умному неожиданно, почти под прямым углом, завертывался к темени, и от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица: нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь? Потом опять ныряла в окно.

Мне захотелось посмотреть, какая она там про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени, и улыбалась туда, и шептала что-то, и щеки у нее пылали.

МАЙСКИЙ МОРОЗ

Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу при луне я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов.

Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел заутренний час и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой, но цветок был твердый и переломился в руке.

ВЕСНА ЛЕСА

ВСКРЫТИЕ ОЗЕР

В истории земли жизнь озер очень кратковременна: так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро еще очень

молодо и как будто не только не замывается и не зарастает, а все молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекатывается и сказка о берендеях.

Ученые говорят разное о жизни озер; я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже как озеро: я непременно умру, и озера, и моря, и планета — все умрет. Спорить, кажется, не о чем, но откуда же при мысли о смерти встает нелепый вопрос: «Как же быть?»

Думаю, это, наверно, оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком: «Все люди смертны, я — человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу». Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом: помирать собирайся, а рожь сей.

Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я немолод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что, когда он полон, все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием, мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной.

Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня, но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из Гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца, на черном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовляю на столе два прибора. Когда самовар поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол — и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендей, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца.

Вскоре приходит к чаю Берендеевна и, оглядев, все ли в порядке у самого, велит:

— Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы.

Она пробирает Берендея, и всегда на «вы», так равняя его с ребятами, и Берендей с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом *жена,* у Берендея прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети — как братья-охотники. Придет, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата — новыми братьями, младенцем пришел, младенцем уйдешь, как и в озерах: одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная...

Мало-помалу сходятся из леса берендеи: кто принес петуха, кто яиц, кто домотканые сукна и кружева, Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает, сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки.

Сегодня был один берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там в болотных лесах есть дорога на три версты, бревнышко к бревнышку, и очень звал к себе в гости посмотреть и подивиться деланной дороге. Другой берендей, из Ведомши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева.

— Что это значит такое, — спросил Берендей, — как это понять: За-ладье?

— А у нас там бежит речка, мы за речкой живем, речка же называется Лада.

— Речка Лада, как хорошо! — восхищается сам Берендей.

— Да, — соглашается довольный гость, — ведь у нас за Ладой пойдут все гладкие роскоси и по Утехину-врагу, и все добрые села: Дудень, Перегудка, Хороброво, Щеголеново и Домоседка.

— У нас же, — сказал берендей-залешанин из Ведомши, — только пень, смола, муха разная, комар, и села недобрые: Чортоклыгино, Леший Роскос, Идоловы Порты, Крамолиха, Глумцы.

Реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места — все Залесье све-

тится этим капризным узором. И все это загадывает оплавать сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещеево озеро.

Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся берендеи, и сам Берендей исчезает.

Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу.

Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего.

— Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах, говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц... Ярик, давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг верст на двадцать пять остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов.

Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула:

— Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!

Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей...

И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую тридцатилинейную лампу «молнию» и повернул всю жизнь по-своему...

Что вышло из этого?

Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчания и нелепо сказал, только чтобы сказать:

— Видите, там утка чернеется.

Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала:

— Если бы я была прежняя, девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки стала...

То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней: все это было необходимо для творчества этого дня...

СОЧИНИТЕЛЬ

Наверху сошла с кустов роса и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага. Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу догадаешься, как вышла дуга: он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась, — получился высокий живот, а голова и ноги внизу.

Я его давно знаю: ярко-рыжая голова, и на лице крупные веснушки одна к одной, глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновение, вынул немного начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать.

— Пей! — сказал он. — Вчера гулял на празднике, тебе захватил.

Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему:

— Прочитай, Ваня, это я написал.

Он принялся читать. А я закрутил папиросу и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут.

Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:

— Покажи, много прочел?

Он указал: за четверть часа он прочел две с половиной строчки, а всего было триста.

— Дай сюда журнал, — сказал я, — мне надо идти, не стоит читать.

Он охотно отдал журнал со словами:

— Правда, не стоит читать.

Я удивился: таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал:

— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все, — ответил я, — но есть немного.

— Вот я бы так написал.

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил, — ответил он, — все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, коротко, — удивился подпасок, — всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо, — ответил он.

И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

РЕБЯТА И УТЯТА

Это было какое-то особенно счастливое утро свободы: я освободил Нерль от веревочки, и она в благодарность за это сделала мне отличную стойку, потом освободил пастуха от чтения... И в это же самое утро маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась, наконец-то, перевести своих утят из леса в обход деревни в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, прочное место для гнезда можно было найти только версты за три на кочке в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, закрытых от глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида. И около кузницы при переходе через дорогу она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел, осчастливленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе чувства свободы для каждого живого существа.

— Что вы будете делать с утятами? — спросил я строго ребят.

Они струсили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим», — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо! — приказал я ребятам. — Идите и возвратите ей всех утят.

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, пять штук. И так по овсяному полю

в обход деревни семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупышки, — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро; вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите: «До свиданья!»

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, и все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

МАЙСКИЕ ЖУКИ

Еще не отцвела черемуха и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация — все догоняют друг друга, все разом цветет этой весной.

Начался массовый вылет майских жуков.

Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, — кружок, где рыба голову показала из воды, — дырочка.

Лес и вода обнялись.

Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями, и все это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать благоухая.

СТРИЖИ

После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой.

Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня

при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из Гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем... Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки — и у всех одно дело, разделенное надвое: самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.

По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась; щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала опускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы.

На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн.

Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто измоĸенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно: нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.

ГЛАЗА ЗЕМЛИ

К самому вечеру так стихло, что листок на березе не шевелился. Под Гремячей горой на дороге все куда-то идет и идет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милый, что, не будь смешно на людях, поцеловал бы...

Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на Гремячую гору. Почти с каждой подводой бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена и что ему до шести недель не пришлось дождаться, женился, и никак иначе нельзя — шесть человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей сорок, ему шестьдесят, у нее же, у Марьи, телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетело: те-луш-ка...

И вот до чего наконец стихло, что с урёва за семь верст было явственно слышно, как ревел водяной бык.

А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины у воды были так отчетливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику:

— Что ты, бессовестный, делаешь, в глаза матери...

Значит, она думала, что озеро — это глаза матери-земли?

Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом.

— Конечно, земли, — сказала она, — а потом это же и на человека переводят: если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверно, это ее ребенок помочился в воду.

Так у берендеев распадается древний культ: поэтическое воззрение о глазах матери-земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остается лишь суеверие.

Невозможно было этой ароматной ночью уснуть, всю ночь глаза матери-земли не закрывались.

ЛЕТО

НОЧНАЯ КРАСАВИЦА

...Запах цветов возвращает меня к самой первой любви глубочайшего детства, когда половая любовь была невозможна. Есть, конечно, и среди цветов некоторые возбуждающие животные страсти, но это — уро-

ды и доказывают только общность происхождения животного и растительного мира. Может быть, и люди получили радость аромата цветка от каких-нибудь своих уродов, неспособных к производящей любви? У жасмина вовсе порочный запах, и на мое чутье обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой этот грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал, когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть даже и желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется.

Я неплохо себя чувствую, когда проходит последняя тревога весны, страх перед этим концом оказывается совершенно напрасным: мне только хочется остановить свое беспокойное движение, устроиться где-нибудь прочно, не разлучаясь в то же время с природой. Тогда я выбираю себе небольшую деревню в местности, удобной для натаски собак, и селюсь в ней. Иногда я очень далеко отхожу в поисках дичи, но каждый вечер возвращаюсь в ту же избу, ложусь в ту же постель, пишу больше и больше. Весенний аромат цветов гонял меня из стороны в сторону, он делал меня бродягой. Теперь я свой навоз отдаю хозяину двора вместе с его животными. Точно так же, вероятно, и все люди осели из необходимости сохранить свой навоз, и земля оттого потемнела.

Сегодня я вышел для маленькой прогулки с собакой, взял в руку ночную красавицу, понюхал при солнечном свете. Она сильно пахла. Я сказал: «Довольно бродить, весна прошла».

ПЕРВАЯ СТОЙКА

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз по-

смотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-то задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?» *

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно: устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

---

* Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

«Мне кажется, Рома, здесь все благополучно».

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.

БОЛОТО

Знаю, мало кто сиживал раннею весной на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, что бы хоть намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте, далеко еще до самого первого намека на свет, берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно непохожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыкают тетерева и токовик иногда возле самого шалаша заведет свое бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но потом при восходе солнца в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень высокую и похожую на плясовую: эта плясовая так же необходима для встречи солнца, как журавлиный крик.

Раз я видел из шалаша, как среди черной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка;

к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых.

Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека... Да и все в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался.

Как-то вечером я вышел в болота промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи, брюхом в болотные лужи. Видно, молодежь еще не вывелась и не выбралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделье волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно из другой семьи, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-помалу, когда низкое солнце стало огромным и красным в теплых, обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец обе собаки, схватив верхним чутьем, сделали стойку. Я зашел в направлении их глаз и носов и увидел прямо на желтой сухой полоске мха, возле крошечного кустика, без всяких приспособлений и прикрытия лежащие два больших яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики сильно покусывали, но я к ним привык.

Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях пересекающих диск красного солнца!

Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке; никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия. Я велел собакам встать и повел их на горбинку. Там я сел на серый, до того сверху покрытый желтыми лишайниками камень, что и селось нехолодно. Птицы, как только я отошел, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью больше я не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его: пожилой, очень худощавый, шел медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горушке, где и сел на камень и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без всяких слов отлично понимали друг друга, и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск; странно располагались при этом мои мысли о сроках земли и о такой коротенькой истории человечества: как, правда, все скоро прошло.

Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно сели на гнезда. Тогда, велев собакам крадучись идти назад, я стал неслышными шагами подходить к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц. По кустику я точно знал, где гнездо, и очень удивлялся, как близко подпускают меня птицы. Наконец я подобрался к самому кустику и замер от удивления: за кустиком все было пусто. Я тронул мох ладо-

нью: он был еще теплый от лежавших на нем теплых яиц.

Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше.

ЖАЛЕЙКА

Наш пастух в Переславищах давно пасет, и все немой, только свистит. А в Заболотье по росам играют и пастух на трубе, и подпасок на жалейке, что я за грех считаю, если случится проспать и не слыхать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева, а пищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал жалейку. Мне принесли.

Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха — нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку.

Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была желтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, и стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала или дерево — у нас есть одна большая ива при дороге, когда вечереет или на утренней темнозорьке очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами... Смотрел я на эту голову, и вдруг так все просто оказалось, не нужно думать об операх и Чайковском, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое дело делает.

Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю:

— А что, бабочки, у меня как будто не хуже заболотского пастуха?

— Лучше! — ответили женщины.

Я долго играл. Заря догорела. Показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, вот сейчас все кончится, мужики, наверно, смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами.

Окончив игру, я быстро повернулся и вошел в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик — мне было слышно — сказал:

— Вот каши наелся!

Вслед за ним другой:

— На голодное брюхо не заиграешь!

Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме: каши наелся и заиграл.

СТАРУХИН РАЙ

Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова: нездорова была.

— Видно, делать нечего, — сказала старушка, — пришел мой час помирать.

Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть.

— Не два же века жить, — сказала она себе, — надо и молодым дать дорогу.

И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку. А посередине была старая разваленная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе.

— Не два же века жить! — повторила она.

И легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку, пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху.

Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке и видим: человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке, воробушки так, бывает, соберутся кучкой и, как дружные люди, между собой наговориться не могут. «Жив!» — говорят: вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит.

Но вдруг все эти воробьи пырх! — и улетели. А на месте их, среди былинок, показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она ожила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать.

— Вот, милые охотнички, — рассказала она, — за-

кружилась у меня голова, и я думаю: не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки. И стало мне хорошо, как в раю. И тут прилетели птички; думаю, наверно, райские, вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и уветливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно — один скажет: «Жив!» И другой отвечает: «И я жив!» И все так повторяют друг другу: «Жив, жив, жив!»

«Простые птушки, — подумала я, — тут в раю, понимают, как хорошо жить на свете, а у нас, на земле, люди все-то жалуются, все-то им нехорошо».

Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул:

— На, вот тебе!

Долго ли петушку, и капнул мне в самый рот, и поняла я, что не на небе лежу, на земле.

— Что ж, — засмеялись мы, — или ты думала: в раю птицы не капают?

— Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать.

ОСЕНЬ

ВЛАСТЬ КРАСОТЫ

Художник Борис Иванович в тумане подкрался к лебедям близко, стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьешь, раскрыл ружье, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрельнуть, стало казаться, что не в лебедя, а в человека стреляешь. Опустив ружье, он долго любовался, потом тихонечко пятился, пятился и отошел так, что лебеди вовсе и не знали страшной опасности.

Приходилось слышать, будто лебедь недобрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает. Правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом представлении девушки, обращенной в лебедя: это власть красоты.

ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.

Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем ивана: это один иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного ивана-да-марьи.

По правде говоря, иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только желтая марья. Это от марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю иванами-да-марьями. Дело марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше ивана.

Но мне нравится, что иван перенес морозы и даже заголубел.

Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:

— Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

АНЧАР

Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет; пью чай, слушаю и, как пойму тон, перехватываю, становлюсь на место — раз! — и готово.

Я так люблю.

Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку, — в этой лощине над его могилой лесная тишина стоит...

Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужи-

чок гончую, был это рослый, статный кобель, и на глазах очки.

Спрашиваю:

— Краденый?

— Краденый, — говорит, — только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода...

— Породу, — говорю, — сам понимаю, а как гоняет?

— Здорово.

Пошли пробовать.

И только вышли из деревни, пустили — поминай как звали, только по седой узерке след остался зеленый...

В лесу этот мужичок говорит мне:

— Я что-то озяб, давай грудок разведем.

«Так не бывает, — думаю, — не смеется ли он надо мной?» Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.

— А как же, — спрашиваю, — собака?

— Ты, — говорит, — молод, я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.

И ухмыляется.

Выпили мы по чашке.

— Бам!

Я так и рванулся.

Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.

— Послушаем, — говорит, — что он поднял.

Слушаем.

Густо лает, редко и хлестко гонит.

Мужичок понял:

— Лисицу мчит.

Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:

— Там у вас коров пасут?

И верно, в этой стороне пасут карачуновские.

— Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.

Но недолго пришлось отдохнуть лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах — вид-

но, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:

— Ну, теперь надо поспешать.

Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил — тяп за шею, она вию! — и готова лисица — и он рядом ложится лапу зализывать.

Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:

— Анчар!

И так пошло после: Анчар и Анчар.

Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит, и мало-помалу туман отдаляется, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чихнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.

— Друг мой, — говорю мужичку, — по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?

— Я в хорошие руки отдаю собаку, — сказал мужичок, — а беда моя крестьянская: корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела: корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.

— Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?

— Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.

Отдал я за Анчара корову.

Эх и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо по дорожкам, любуюсь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзывать-

ся. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь.

Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится — люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.

И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.

До рассвета, при утренней звезде, мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.

Озимый клин в эту осень начинался у самой деревни, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирает и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленей пошел на вырубку, — скорей на пустошь к лощине: с вырубки русаки непременно этой лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал на другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь как на ладони.

План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем-пождем — нет гона, и Анчар как провалился.

— Сережа! — кричу я...

Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну да ведь Сергеев у нас много.

— Сережа, — кричу я, — потруби Анчара.

Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу — Анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, это того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже лощину, и Анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается...

И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил: лощиной шел человек в заячьей шапке, мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти, я понял, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановился. Но я подумал — приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.

Думал, шутит, и вдруг бац!

Было тихо, дым весь пал в лощину и все застелил.

Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.

Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят, как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вижу — спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели,

С высоких деревьев на малые капают тяжелые осенние капли, с малых — на кустики, с кустов — на траву, с травы — на землю: печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слезы...

А я на все сухими глазами смотрю...

«Ну что, — думаю, — бывает и хуже, и человека по случаю убивают».

Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уже стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю ведь,

не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил: идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь: сошел вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе, будто все еще гона ждет.

В чем же тут штука?

— Гоп! — кричу.

Отозвался.

— Ты в кого стрелял?

Помолчал.

— В кого, — кричу, — ты стрелял?

Отвечает:

— В сову.

Оторвалось у меня сердце.

— Убил?

Отвечает:

— Промазал.

Сел я на камень и вдруг все понял.

— Серега! — кричу.

— Ну!

— Потруби Анчара.

Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону: видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.

— Ну же, — кричу, — потруби!

Он опять берется за рог.

— Скорей, — кричу, — скорей!

К губам рог приставляет.

— Да ну же, ну...

И затрубил.

Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь: вижу вот, как ворона за ястребом гонится, и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке: почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто, и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил, и знает он: человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу...

Кого он обманывает?

— Вот, — указываю, — иди ты по той тропинке она тебя в Цыганово приведет, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубливай, все потрубливай, я же буду в лесу ходить и слушать, не викнет ли где-нибудь Анчар на трубу.

— Да ты, — говорит, — возьми рог и сам труби.

— Нет, — отвечаю, — не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.

Оробел он и спрашивает нерешительно:

— А ты сам куда пойдешь?

Я показал в сторону, где Анчар лежит.

«Ну, — думаю, — деваться теперь ему некуда, сейчас признается».

И вот нет же, говорит:

— В ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.

— Хорошо, — отвечаю, — я вон туда пойду. А ты, пожалуйста, не забывай, все потрубливай и потрубливай.

Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три все трубить и трубить.

«Нет, — говорю ему вслед, — на живых началах много бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается: не отзовется Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, все кончилось».

Да, кого он обманывает?

У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гари был у меня примечен чертик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его *шишигой*. Сходил я на гарь, приволок эту *шишигу* и поставил Анчару памятник.

Стою, любуюсь на черта, а Сережа все трубит, трубит. «Кого ты, Сережа обманываешь?»

Моросит дождик, мелкий, холодный. С высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых — на кусты, с кустов — на траву и с травы — на сырую землю. Во всем лесу шепоток стоит и выговаривает:

мыши, мыши, мыши... Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы и напивается ими, все напивается...

Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной черт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.

«Слушай, черт! — говорю, — слушай...»

И сказал я речь над могилой, и что сказал — потаю.

После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.

— Перестань, — говорю, — Сережа, трубить, все кончено, я все знаю. Кого ты обманываешь?

Он побледнел.

Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Сережа на памяти.

ЗИМА

СМЕРТНЫЙ ПРОБЕГ

Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с легким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.

В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину. Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистал и, наконец, так гамкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добирает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.

Пока он добирает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зеленым шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнал, нажимает, все ближе и ближе...

Она выскочила на поляну из частого ельника дале-

ковато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на ее злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.

Вылетел вслед Соловей, тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким, упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда — погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, верст за восемь, в засыпанном снегом неизвестном лесу.

След его и ее выходил из разных концов поляны, в густоте пес бежал по чутью и тут, завидев след, пересек всю поляну и схватился след в след у той маленькой елочки, где лиса показала мне хвост. Еще остается небольшая надежда, что это местная лисица, что вернется и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернется.

Теперь начинается и мой гон, я буду идти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большей частью след идет опушками лесных полян и у лисы закругляется, а пес сокращает. Стараюсь идти по прямому и сам сокращаю, если возможно. В глазах у меня только следы, и в голове только одна мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маньяк и тоже готов на все.

Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов, больше заячьих, и лисица туда, в заячий путь. У нее двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка, и кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими черными блестящими пуговками. Соловей метнулся. Неужели он бросит ее и погонится за несчастным зайчишкой?

Одинокий след ее с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызенному зайцами, пересекает поляну и тут... здравствуй, Соловей! Его

могучий след выбегает из леса, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.

Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновенье я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так показалось. Тишина, и все мне кажется, будто свистят рябчики. А следы вышли в поле, солнце их все поголубило, и так через все большое поле голубеет дорога зверей.

Она проворная, нырнула под нижнюю жердину изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.

Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут все равно и лисице не пройти. Это она сюда зашла для обмана и ненадолго. Нырнула под дерево и оставила за собой нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом, в глубокую яму, у нее скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготовляет дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел все, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы и вот как тоскую, что не могу, как они.

Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казенника долгий, жалобный, заливистый вой. Бегу прямо на вой, гону помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.

Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и

надо. Большая дорога пересекает казенник. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по ее свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрасив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили? Соловей сюда выбежал на дорогу за лисицей. Но дорога не лес, там он все знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после, и разве может человек в лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, все время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги наконец его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он все выл!

Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось ее незатертое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошел, но дальше все было стерто: тут возвратились с вином сваты и затерли следы Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с черных пней просеки белые шапочки.

Недолго они мчались по прямой — звери не любят прямого, опять все пошли целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.

Радостно я заметил в одном месте, как она, уморенная, пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.

И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг наконец-то гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор, и потом сразу мелкая густель с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по нескольку раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не сле-

допыт, а сам вступаю, как третий и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.

Много насело снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой елки я увидел наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у нее больше силы не хватит кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадется на одном из малых кругов.

Она решилась выйти на поляну и перебежать к моей крайней елочке, язык у нее висел на боку, но глаза по-прежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примерзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил ее на поляне и бросился. Она встретила его сидя и белые острые зубы и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять ее он не может и схватит, только если она бросится в бег. Но это не конец. Она еще покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и еще раз нырнет в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.

Он орет. Дышат пасть в пасть. Оба заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.

Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу: какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она все острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозрить меня: только заметит и бросится, и что, если она ему в горло наметилась?

Но я, незаметный, смотрю из-за еловой лапки, и от меня до них теперь уже немного.

На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло все рождество, и никто не сказал кротким голосом:

— Мир вам, родные, милые звери.

Тогда вдруг будто сам дед-мороз щелкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.

Все вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за дедом-морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой с перекатом, грянул мой выстрел.

Она сделала вид, будто мертвая, но я видел ее прижатые уши. Соловей бросился. Она впилась ему в щеку, но я сушиной отвалил ее, и он впился ей в спину, и валенком я наступил ей на шею и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.

Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта взятая нами красавица и убитая не отымала охоты, и ее, мертвую, дать бы волю Соловью, он бы еще долго трепал.

И так мы осмерклись в лесу.

ЛИЛОВОЕ НЕБО

В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нижеет и торопит спасаться, а то в лесу скоро начнется свой, нечеловеческий порядок.

Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли еще немного и еще увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день наш считался ночью и ночь — их трудовой день, встали с лежки и начали ходить.

Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам радостная утренняя заря.

Всего было только четыре часа. Я сказал:

— Какая будет длинная ночь!

— Самая длинная, — ответил Егор, — ходить, ходить зайцу, спать, спать мужику.

СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК

Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Ма-

ленький, — сказал Агафон, — перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает, — успокоил хозяин, — в полночь перестанет, выйдут зайцы; вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин и, когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет поколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог, — сказал барин, — что ты вчера в яму попал». — «Счастлив, — ответил поп, — ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему».

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело,

да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему, — сказал Агафон, — зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему*.

---

* Рассказы «Ребята и утята», «Ночная красавица», «Сочинитель» были включены автором в «Календарь природы», и печатались так в последнем прижизненном Собрании сочинений (1937 г.).

Рассказы «Старухин рай» и «Сметливый беляк» включены в книгу как образец народных охотничьих рассказов Пришвина.



ИСКАТЕЛЬ ЖЕНЬШЕНЯ





Идет конец 20-х и начало 30-х годов. В печати часто появляются охотничьи рассказы Пришвина, рассказы о собаках. Но никто не подозревает, как серьезен и как подчас грустен в эти годы веселый охотник, ставший известным в советской литературе главным образом именно такими — «охотничьими» рассказами.

В те годы организация Рабочей ассоциации пролетарских писателей (РАПП) пыталась диктовать свои вкусы литературе. Ее установки отвращали Пришвина. В 1939 году он вспоминает: «Два чудовищных момента русской культуры: когда декаденты объявили: «Я — бог!» — и потом рапповцы тоже: «Мы — правда!» — и диктовали свои условия художнику от имени правительства».

В писательской работе Пришвину трудно с его поэтической темой о природе, вызывавшей нападки в печати: Пришвина обвиняют в «неумении или нежелании служить задачам классовой борьбы, задачам революции» *.

Снова, как в детстве и в юности, Пришвин чувствует себя на распутье, неудачником. «Но неудача, — говорит он, — не есть неудача — это испытание. От сильной душевной боли рождается поэзия».

В 1931 году Пришвин предпринимает поездку на Дальний Восток. Три месяца бродил он там по тайге и сопкам и привез новую повесть «Женьшень», или «Корень жизни», которая вывела его из беды.

Как раз к этому моменту был ликвидирован РАПП. Настроения в критике изменились: повесть была принята единодушно, потом переведена на многие языки и пошла странствовать по свету.

В повести мы встречаем художественно претворенными обе основные темы Пришвина: неосуществленную любовь к единственной возлюбленной и общее делание правды всеми людьми на земле.

Повесть «Женьшень» ведет в глубину общечеловеческой жизни, в соединенность ее с природой, с жизнью всего космоса. Автор находит особый тон ненавязчивого, доверительного общения с

---

* «Красная Новь», 1930, кн. 9—10.

читателем, предоставляя ему делать свои догадки и поиски. Все лирические и философские темы закреплены в повести вполне реалистическим сюжетом — об организации оленьего питомника.

В повести «Женьшень» Пришвин, подобно ученому-геологу или археологу, роет глубже и глубже; углубляясь в природу, он тем самым углубляется в человеческую душу, не проводя, в сущности, между тем и другим резкой разделяющей линии или границы.

Например, камень, лежащий на берегу океана, для писателя это одновременно и сердце человека. Об этом камне-сердце целая маленькая поэма. Самка оленя — она же и образ любимой женщины. Через всю повесть проходит поэма о целомудренном служении прекрасному, о поэзии в любви. Слитный говор ручьев — это голоса всех живших и живущих, соединенные в едином творчестве космическим движением жизни.

Следует сказать и об особом музыкальном начале повести. Мы наблюдаем, как концентрическими кругами развиваются центральные темы, приобретая все большее и большее звучание. Это напоминает симфонию.

Так осуществляется в повести мысль Пришвина о родстве всех искусств. Нарастание смыслового звучания, как двойное зрение, поведет отныне Пришвина к созданию своей собственной формы, формы «сказки о правде». И что существенно, сказка не уводит нас от правды — от реального в мир произвольной фантазии. Сказка лишь углубляет понимание, указывает на незамеченное, в конечном счете — открывает прекрасное, то есть поэзию жизни, «ожидающую себе защиты и оправдания временем» *.

Пришвин запишет много позже, в 1950 году: «Мы на пороге какого-то нового этического сознания. Но каждому из нас больше всего надо бояться подчинения — первое — сверхразуму (рацио тотум), и второе — безответственной мистике».

Путь, открытый повестью «Женьшень», завершается в самом конце жизни Пришвина повестью «Корабельная чаща», в которой писатель, уходя, оставляет нам завет: «Не гонитесь поодиночке за счастьем — гонитесь дружно за правдой».

В «Женьшене» открыто поставлена впервые (и это накануне мировой войны) еще одна центральная пришвинская тема — братства народов. Она воплощена в сотрудничестве двух друзей: рассказчика, бывшего русского солдата, и друга его, искателя корня жизни, китайца Лувена.

Так продолжается в зрелом художнике развитие его юношеской темы: «Это был не я, а мы — друзья мои близкие, и от них, как лучи, пролетарии всех стран».

---

* См. ниже стр. 333.



ЖЕНЬШЕНЬ

I

Звери третичной эпохи не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ — пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей; но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и со мной то же случилось... Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и посейчас, а после — ничего. Так вот люди иногда умирают: ничего! За неизвестный мне срок все переменилось вокруг: живых не было, ни сво-

их, ни врагов, вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. После окончания русско-японской войны, заставшего меня в Маньчжурии, я выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и пошел туда, где лежала моя родина. Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот на пути я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде я не видал такого простора, как было здесь: лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы — как костры, бабочки — как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке. Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская *ходовая* * коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Май-хэ, в горной теснине высоко над собой, на *щеке,* увидел я одного козла — он стоял на камне и, как это я понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносною пищей и возбуждали почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась невидимая мне вся *ходовая* коза и помчалась стремительно вдоль Май-хэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали

* Аналогично перелету птиц у животных существует своя миграция, особенно заметная на Дальнем Востоке.

мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны — та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, позвериному и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и, когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.

— Ходи, ходи! — сказал он мне.

И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.

— Ходи-ходи, гуляй-гуляй! — с улыбкой сказал мне китаец. — Ничего не будет.

Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески-свежим и детски-довер-

чивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.

— Мало-мало кушать хочу, — сказал он и повел меня в свою фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.

Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания женьшеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет» и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы... Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как когда-то привык, и оттого перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать — напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.

Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:

— Арсея?

Я понял сразу его и ответил:

— Да, я из России.

— А где твоя Арсея? — спросил он.

— Моя Арсея, — сказал я, — Москва. А где твоя?

Он ответил:

— Моя Арсея Шанхай.

Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китайца, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет, я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами.

Всего только шагах в двадцати от фанзы начинались непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколиственный клен, граб и тисс, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой, саженной полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву, и тут весь разговор, слышимый возле фанзы, как бы с того света вырывается наружу: поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья! Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке! Там, назади, за хребтом, гнус мне жить не давал, а тут, у самого моря, уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот, в камнях; тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в «купальню», а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук от ужасного для них человека, они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев на тенелюбивых травах всюду были разбросаны зайчики богатого солнца сорок второй параллели. Лето — время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в Приморье во всей своей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти живот-

ных, если бы они не двигались: пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость? Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды, они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове с большими прекрасными серыми глазами. И только Серый Глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших; этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилось насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза — не глаза, а совсем как цветок, — и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит — олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза, — кажется, очень долго! Я едва переводил дух, мне становилось все трудней и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуа-лу это заметила, медленно стала под-

нимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и, вдруг с силой выпрямив, топнула. Тогда Серый Глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь, и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять!» В то время как топнула Хуа-лу и Серый Глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось, и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что Черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле Черноспинника по сигналу Хуа-лу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи, он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуа-лу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились саек-олененок *, Серый Глаз, Черноспинник и другие олени. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось, куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на

* Саек — годовалый олень.

меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой скалы и синего неба.

II

Лувен в глубоком распадке спрятал свою фанзочку от страшных тайфунов Приморского края, но, если подняться на щеку распадка вверх метров на сто, оттуда видно море, Тихий океан. Наш распадок Чики-чики очень недалеко от того места, где я встретился с оленями, входил в большую падь Зусу-хэ, вода здесь становилась много спокойней, падь постепенно переходила в долину, и река спокойно и торжественно, закончив свой мучительный бег по горным распадкам и падям, вливалась в океан.

На другой же день, как я прибыл сюда, в бухту Зусу-хэ пришел пароход с переселенцами и, пока они устраивались, стоял тут две недели, и вот за эти две недели и совершилось то самое большое событие моей жизни, о котором я и буду рассказывать. Та долина, где бежит Зусу-хэ, вся сплошь покрыта цветами, и тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе: каждый цветок в Зусу-хэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землею. Если бы я мог о себе рассказать так, как эти простые цветы в Зусу-хэ! Были ирисы — от бледно-голубых и почти что до черных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, желтые, и среди них везде звездочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, желтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивницы и огромные удивительные темно-синие махаоны. Некоторые из них — я тут только это впервые и видел — могли садиться на воду и плыть, а потом опять поднимались и летали над морем цветов. Пчелы реяли на цветах, осы; с шумом носились по воздуху мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Случалось, когда я заглядывал в чашечку цвета, там оказывалось такое, чего я никогда не видал и назвать до сих пор не могу: ни шмель, ни пчела, ни оса. А по земле

между цветами всюду юлили проворные жужелицы, ползали черные могильщики, таились огромные реликтовые жуки, собираясь при случае вдруг подняться на воздух и прямо лететь, никуда не сворачивая. Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, как мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их собирая в единство.

С высокой скалы над нашей фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-чики вливается в Зусу-хэ, стало очень жарко, я устал и захотел отдохнуть. Тут, на месте слияния ручья и реки Зусу-хэ, на берегу лианы винограда до того опутали молодые маньчжурские ореховые деревья, что некоторые из них превратились в сплошные темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра и, если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных, довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидал вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут в большой прохладе я сел на камень, спиной прислонясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи, зелень здесь светилась как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуять оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее! Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается.

Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери, — один шаг ступит и остановится и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причуивает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось: она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули и с большой радостью, как будто друга встретил, узнал в ней ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу и так осталась, и, если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один и еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представлял себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусу-хэ. Тут я еще раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому не известный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь, белолицый, их понимаю тоже как цветок; радостно было и оттого, что я не один и что на свете есть бесспорные вещи. Мне стало понятно и особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбра или марала: правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но так редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Между тем Хуа-лу, сделав еще несколько шагов к моему шатру, вдруг поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной, и через виноградные сплетения просунулись ко мне маленькие изящные копытца. Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листы, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке, но, конечно, не посмел наклониться и посмотреть из дырочки по сторонам: тут где-то он должен быть непременно. Как охотника, значит, тоже зверя, меня очень соблазняло — тихонечко приподняться и вдруг схватить за копытца оленя. Да, я сильный человек и чувствую, что, возьмись я крепко-накрепко обеими руками повыше копытцев, я оборол бы ее и сумел бы связать поясным

ремешком. Всякий охотник поймет мое почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновение сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда. Конечно, все мы люди, понемногу у нас у всех это есть: ведь и самый страстный охотник с трудом скрепит в себе слабое сердце, когда простреленный зверь умирает, и самый нежный поэт хотел бы присвоить и цветок, и оленя, и птицу. Я как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота, или что там еще, может меня, охотника, связать самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновенье, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя — и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать. И потом оказывается, что в лебеде была царевна, охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба! Удерживаясь, я стал мелко дрожать, как собака на стойке, и, возможно, это дрожание мое звериное перешло в нее, как тревога. Хуа-лу тихонечко вынула из виноградных сплетений копытца, стала на все свои тонкие ноги, поглядела с особенным вниманием в темноту кущи мне прямо в глаза, повернулась, пошла, вдруг остановилась, оглянулась; откуда-то взялся и подошел к ней олененок, вместе с ним она довольно долго смотрела мне прямо в глаза и потом скрылась в кустах таволожки.

III

Река из горной тайги каждую весну и в каждое наводнение летом и осенью тащит на морской берег множество подмытых и сваленных тайфунами лесных

великанов — тополей, кедров, грабов, ильмов — и засыпает их песком, и так много песку, и так много лет проходит, что самое море отступает и образуется бухта.

Сколько же сот лет прошло, пока работой моря и реки Зусу-хэ завернулась полукругом линия моря и суши? Сколько морских зверей перебывало на маленьком каменном острове посредине бухты, пока, наконец, гудок парохода не нарушил тишину морской пустыни и все нерпы от страха не попрыгали с острова в воду?

У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево; от вершины его остались два громадных сука, и они торчали, черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые круглые хорошенькие коробочки — это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом, что-то в этой незнакомой мне женщине напоминало мне Хуа-лу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже, но мне было так, что вот, как только она обернется, непременно явится передо мной олень-цветок Хуа-лу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное оленье — шерсть, черные губы, сторожкие уши — переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалось — вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне, сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов, совершенно правдивых и верных, я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в них когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так

бы и сказал, что скорей всего слово «свобода» будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда я из тесного распадка выхожу на долину Зусу-хэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан.

И вот еще самое главное: было два человека. Когда Хуа-лу просунула мне копытца через виноградные сплетения, один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой — неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков. Так вот я без колебания теперь скажу, что именно так, именно тем неизвестным мне самому человеком, робко восторженным и бесконечно сильным в своем замирании, подошел я к ней, и она сразу меня поняла. Она и не могла не понять меня и не ответить. Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусу-хэ, в горах, на берегах рек и ручьев. Мы были с ней и на Туманной горе, бывшей когда-то вулканом: там теперь родятся драгоценные пятнистые олени. Мы слушали в фанзочке подземный разговор наших предков, и тут же искатель корня жизни Лувен рассказывал нам о чудесных свойствах этого корня, способного наделять человека вечной молодостью и красотой. Он показывал нам даже порошок, составленный из корня жизни, пантов и еще каких-то целебных грибов, но, когда мы, смеясь, стали просить у него порошок вечной молодости и красоты, он вдруг рассердился и перестал с нами разговаривать. Скорей всего ему стало досадно, что мы не доверяем ему и смеемся, а может быть, он, уверенный, что для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть, хотел и нам намекнуть на это: что и мы, как и он, искатель, должны тоже подумать о чистоте своей совести. И то возможно, что старый Лувен мог видеть в нашем счастье там и тут рассекающие его молнии. Во мне жило два человека, те самые, как в отношении прекрасной Хуа-лу: один — охотник, и другой — еще неизвестный мне человек. И когда мы шли в мой виноградный шатер подстеречь Хуа-лу, я сделал ошибку — вернее, не весь я, а как охотник. Она, возмущенная, вдруг переменилась ко

мне: казалось, внезапная молния разорвала наш союз; но я снова собрался в себе и занял обыкновенную свою, покоряющую все высоту. Мы сидели в это время в виноградном шатре — и вдруг через окошко увидели во всей красе Хуа-лу, как она с олененком перешла полянку, совсем недалеко от нас ела листики винограда и потом дальше куда-то ушла в кусты таволожки и туи. Оставаясь на той занятой мною высоте, я стал ей рассказывать о встрече с Хуа-лу, когда она поднялась на задние ноги, просунула копытца в виноградные сплетения, и как я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца, и вот неведомый мне самому какой-то другой человек помог мне удержать в себе прекрасное мгновение: и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну...

Мне хотелось этим рассказом показать ей, что я могу занять всю высоту, что ошибка моя перед этим просто случайность и больше она у меня не повторится. Я говорил, не глядя на нее, в какое-то окружающее нас зеленое пространство. Мне хотелось высказать ей это мое самое тайное, не глядя ей в глаза, и когда мне подумалось, что вот я достиг, вот теперь-то уж я могу посмотреть ей прямо в глаза, вот теперь-то я увижу там... Я думал — встречу там все голубое, и вдруг все вышло обратное и непонятное: не голубое там было — я там встретил огонь. В пламенном румянце, с полузакрытыми глазами она склонилась на траву. В это мгновение раздался гудок парохода, она не могла не слышать его, но она его не слыхала. А я точно так же, как было с ланкой оленя, я замер, потом я, как и она, был в пламени, потом металл мой побелел, а я продолжал сидеть неподвижно. Тогда раздался второй гудок парохода, она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла...

IV

Чем успокаивает шум моря, когда стоишь на берегу? Мерный звук прибоя говорит о больших сроках жизни планеты земли, прибой — это как часы самой планеты, и когда эти большие сроки встречаются с минутами твоей быстренькой жизни среди выброшенных на берег ракушек, звезд и ежей, то начинается большое

раздумье о всей жизни, и твоя маленькая личная скорбь замирает, и чувствуешь ее глухо и где-то далеко...

У самого моря был камень, как черное сердце. Величайший тайфун, вероятно, когда-то отбил его от скалы и, должно быть, неровно поставил под водой на другую скалу; камень этот, похожий своей формой на сердце, если прилечь на него плотно грудью и замереть, как будто от прибоя чуть-чуть покачивался. Но я верно не знаю, и возможно ли это. Быть может, это не море и камень, а сам я покачивался от ударов своего собственного сердца, и так мне трудно было одному, и так хотелось мне быть с человеком, что этот камень я за человека принял и был с ним как с человеком.

Камень-сердце сверху был черный, а половина его ближе к воде была очень зеленая: это было оттого, что когда прилив приходил и камень весь доверху погружался в воду, то зеленые водоросли успевали немного пожить и, когда вода уходила, беспомощно висели в ожидании новой воды. На этот камень я забрался и смотрел с него до тех пор, пока пароход не скрылся из глаз. После того я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибой и бакланы, просушивающие свои крылья на камнях совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают. Прибой примирил меня, убаюкал, и я очнулся, разделенный водою от берега; камень же наполовину был потоплен, водоросли вокруг него шевелились, как живые, а бакланов на косе теперь доставала вода прибоя: сидят, сушат крылья — и вдруг их окатит водой и даже сбросит, но они опять садятся и опять сушат крылья, раскинув их так, как это у орлов на монетах. Тогда я принимаю в себя вопрос, как будто очень важный и необходимый для разрешения: почему бакланы держатся именно этой косы и не хотят для просушки своих крыльев перелететь немного повыше?

А то было на другой день, я опять пришел сюда слушать прибой, долго смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, а потом очнулся в тумане. Чуть виднелось, на берегу копошились новоселы. Любого спросить, думалось мне, каждый признает во мне бродягу, бездомное существо и поспешит спрятать от меня то-

пор и лопату. Как они ошибаются! Был я бродяга, но теперь я прострелен насквозь, и от этого через боль свою я везде чувствую одно и то же: все существа на земле для меня одинаковы, и нечего больше теперь мне искать, никакая перемена внешняя туда, внутрь меня, не принесет ничего нового. Не там вся родина, думалось мне, где ты просто родился, а там, где ты к месту своего рождения прибавил еще что-нибудь от себя.

Морское летнее тепло поднималось наверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом. Но мне было — будто огромные белые стрелки в белой широкой одежде, колыхаясь, наступают и расстреливают меня не сразу пулями, а мелкой дробью, чтобы я, расстрелянный, уничтоженный, сам в себе жил, мучился и через эту необходимую муку все понял. Нет! Теперь больше я не бродяга и очень хорошо понимаю бакланов, почему им плохо перелететь повыше, на другую скалу: им тут пришлось рыбу ловить, и тут они застряли. «А перелетишь, — думают они, — повыше, где лучше сушиться, то еще, пожалуй, и рыбку упустишь. Нет, мы останемся жить на этой косе». Да так вот и живут, перебиваются, обживают морскую косу. И так еще мне было, что вот этот камень-сердце лежит и чуть-чуть при ударе волн качается, и так он должен, может быть, сто лет и больше, тысячу лет лежать и покачиваться, а я никаких особенных преимуществ перед ним не имею, так почему ж буду я переменять место и утешаться? Нет утешения!

И вот как только я сказал себе со всей силой, со всей решимостью, что нет утешения и не быть повторению и соблазну ожидания лучшего в переменах на стороне, то на какой-то срок мою боль отпустило. Тогда я вспомнил про своего Лувена и пошел в его фанзочку, как в свое родное гнездо.

В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий, секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, про-

должало свой светящийся путь, или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире?

— Лувен, — спросил я, — как это все твоя понимает?

Неожиданно Лувен отвечал:

— Моя сейчас понимай, как твоя.

Что это значило?

В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным.

— Наверно, — сказал я, — там камень упал?

Он не понял меня. И я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил:

— Моя сейчас понимай, как твоя.

Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг Лайба поджала хвост и бросилась в глубину фанзы, — по всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть, и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слыхал: так много бабочек, что здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и, с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал:

— Моя сейчас понимай, как твоя.

Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его: не жизнь летающих светляков, не обвал под землей, не шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет те-

перь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь, и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно как и неясному бормотанию спящего.

Теперь, когда много лет прошло и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, как я ее в ту ночь понимал, а все-таки радость; что горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание наше жизни других людей в родстве с нами прямо приписывает страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места.

— Лувен, — спросил я, — была ли у тебя когда-нибудь женщина?

— Моя не понимай, — отвечает Лувен.

— Одно солнце, — говорю я.

И делаю отрицательный жест. Это значит — одни сутки я отбрасываю, и получается *вчера*. А два пальца значит — вчера нас было двое. Вот один палец: я показываю на себя.

— Я сегодня один.

И — показывая в ту сторону, куда ушел пароход:

— Там *женщина!*

— Мадама! — радостно воскликнул Лувен.

Он понял: моя женщина у него значит «мадама». И показал: голова лежит с закрытыми глазами.

— Спи-спи, мадама!

Значит, его мадама давно умерла.

— Это была твоя жена?

Опять не понимает, и опять я ему показываю, как двое спят большие и рождаются маленькие.

Лувен понял и просиял: это *бабушка*, значит жена, а мадама — значит невеста. Он показывает человека в полроста — один, другого еще поменьше, третьего еще на ступеньку, еще, еще, и совсем маленький привязан сзади, и в животе есть еще...

— Много, много, а руками работай!

И это бабушка, жена его брата, а сам брат «спи-спи», и его собственная мадама «спи-спи», и его ба-

бушка «спи-спи», и его дети «спи-спи», а сам Лувен работает для бабушки брата и им посылает в Шанхай.

Наша ночь продолжается. Я бормочу во сне:

А Лувен отвечает:

— Живи-живи, мадама!

Может быть, мне и приятно слышать, и я невольно опять вызываю и получаю желанный ответ:

— Живи-живи, мадама!

Вероятней всего, что тигр у нас не задержался и дальше прошел. Лайба скоро выбралась из фанзы и свернулась возле Лувена. Костер, конечно, погас. Замолк шелест крыльев, но до утра чертили ночную тьму фонарики лунного света в брачном полете, и растения, собирая своими широкими листьями из насыщенного влагой воздуха воду, как в блюдца, вдруг проливали ее.

Вот скала. Из ее бесчисленных трещин, как из слезниц, влага вытекает, собирается крупными каплями, и кажется — скала эта вечно плачет. Не человек это, камень, я знаю хорошо, камень не может чувствовать, но я такой человек, так душа моя переполнена, что я и камню не могу не сочувствовать, если только вижу своими глазами, что он плачет, как человек. На эту скалу опять я прилег, и это мое сердце билось, а мне казалось, что у самой скалы билось сердце. Не говорите, не говорите, знаю сам — просто скала! Но вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: «Охотник, охотник, зачем ты упустил ее и не схватил за копытца!»

V

До чего же я в то время был наивен и прост! Я был уверен тогда, что, схвати я свою невесту, как оленя, — и все: и вопрос о корне жизни решен. Дети мои, любезные юноши и милые девушки, в то время я тоже, как и вы, по молодости слишком много придавал значения, как вы говорите, любви без роз и черемухи. Да, конечно, корень жизни нашей находится в земле, и любовь наша с этой стороны как у животных, но нельзя же из-за этого зарывать стебель и цвет свой в землю, а таинственный корень обнажать и лишать начало чело-

веческой жизни покрова. К сожалению, все это становится ясным, когда опасность проходит, а новые дети меньше всего верят опыту старших и в этом отношении больше всего хотят быть беспризорными. Мне, однако, счастливо пришлось, что был возле меня Лувен, самый нежный, внимательный и — я осмелюсь сказать — самый *культурный* отец, какие только бывают на свете. Да, я так уверился навсегда в своей пустыне, что в душистом мыле и щеточках заключается только ничтожная часть культуры, а суть ее в творчестве понимания и связи между людьми. Мало-помалу мне стало ясным, что главное жизненное дело Лувена было врачевание, — какое оно уж там было с медицинской точки зрения — не мне судить, но я видел своими глазами, что все люди уходили от него с веселыми лицами и многие приходили потом, только чтобы поблагодарить. Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня женьшень, хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гиляки с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве: стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих — и лекарство явилось. Раз было, среди лета Зусу-хэ так разлилась, что смыла все поля, и новоселы остались ни с чем. Тогда Лувен дал знать своим друзьям — и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот тут-то я и научился понимать, на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в *лекарство*. Сначала было немного смешно слышать это от Лувена, что деньги — это лекарство, но условия нашей пустынной жизни сами собой привели к тому, что и я стал их понимать как лекарство. Кроме женьшеня, пантов, денег, у него лекарством была еще кровь горала, струя кабарги, хвосты изюбра, мозг филина, всевозможные грибы, наземные и древесные, разные травы и корни, среди которых много было и наших: ромашка, мята, валерьяна. Раз я смотрел в лицо старика, заботливо разбирающего травы, и решился спросить его:

— Лувен, твоя понимай всего много. Скажи мне, болен я или здоров?

— Всякий люди, — ответил Лувен, — есть здоровый люди и больной люди за один раз.

— Что мне нужно? — спросил я. — Панты?

Он долго смеялся; панты он дает для возбуждения страсти при утрате жизненных сил.

— А может быть, — спросил я, — мне поможет женьшень?

Лувен перестал смеяться, долго смотрел на меня и в этот раз ничего не сказал, но на другой день так загадал:

— Твоя женьшень расти-расти, моя скоро тебя покажи будет.

Лувен зря ничего не говорил, и я стал ждать случая своими глазами наконец-то увидеть не порошок только этого лекарства, а самый корень, растущий в тайге. И вот раз глубокой ночью Лайба с лаем бросилась в глубину распадка. Лувен вышел за ней из фанзы, и вслед за ним я вышел с винтовкой.

Возвращаясь из тьмы вместе с Лайбой, Лувен сказал:

— Не надо ружье, наши люди.

Скоро пришли к нам шесть хорошо вооруженных китайцев, красивые горбоносые маньчжуры с винтовками и большими ножами.

— Наши люди! — сказал мне еще раз Лувен и по-китайски тоже, показав на меня, наверно, то же и им про меня: «Наши люди».

Маньчжуры приветливо мне поклонились, и очень высокие люди, наклоняясь, один за другим вошли в наше маленькое жилище. Там они все сели в кружок, положили что-то на пол, что-то немного поделали и все сразу замерли в созерцании.

— Лувен, — сказал я потихоньку, — можно и мне посмотреть?

Лувен опять сказал по-китайски: «Наши люди», маньчжуры все обернулись ко мне с величайшим почтением, раздвигаясь и приглашая меня тоже сесть и на что-то смотреть, как они.

Вот тут-то я и увидел впервые женьшень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан не-

большой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание, и я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела — мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур! Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни. Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю, и все эти миллионы миллионов так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни, многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры, и как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени, так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне, живому, катились, как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размоет, а в сроки планетного и, может быть, еще и дальнейшего времени. Впоследствии я узнал из ученых книг, что женьшень — это реликт из аралиевых, что общество окружавших его растений и животных в третичный период Земли теперь неузнаваемо переменилось, и вот это знание не вытеснило во мне, как это часто бывает, волнения, внушенного верой людей: меня и теперь при всем моем знании по-прежнему волнует судьба этой травки, за десятки тысяч лет переменившей в обстановке раскаленный песок на снег, дождавшейся хвойных деревьев и среди них медведя...

После долгого созерцания маньчжуры вдруг все разом заговорили, заспорили, как я понял, о разных мельчайших подробностях в строении этого корня. Может быть, они спорили о том, что вот такая-то мочка лучше идет к корню мужскому и украшает его, а к корню женскому, напротив, она не идет, и не лучше

ли осторожно совсем ее удалить. Таких вопросов могло быть великое множество, многие внезапно возникали и перебивали сложившееся суждение, возникал резкий спор. Но всякое такое столкновение мнений Лувен в конце концов с улыбкой разрешал, и с ним непременно все соглашались. Лувен теперь больше не вспыхивал, а ровно жил, царствовал, как царствует всякий, в совершенстве овладевший знанием своего предмета. Решению Лувена все беспрекословно подчинялись. Когда страсти совсем улеглись и началось спокойное обсуждение, я решился, наконец, спросить Лувена, о чем у них теперь идет разговор.

— Много-много лекарства, — ответил Лувен.

Значит, разговор теперь шел о деньгах, сколько могло стоить такое редчайшее сокровище. Лувен рассказал, что один бедный искатель корня женьшень нашел этот корень и был убит, а сокровищем завладел машинка, значит — мошенник, и один купеза, значит — купец, приехал на место прямо из Китая, дал много лекарства и нанял этих людей перенести корень. Но, конечно, купеза дал очень немного, а сколько корень стоит — этому нет и конца: каждый купеза будет перекупать и давать больше и тоже брать все больше и больше, потому что каждый купеза есть машинка.

— Чем же это кончится? — спросил я.

— Не кончится, — ответил Лувен. — Такой корень гуляй-гуляй. В таком корне много-много лекарства. Маленький люди, кто нашел его, спи-спи, а большой люди гуляй-гуляй.

Отдав драгоценный Гуляй-корень под охрану Лувена, маньчжуры улеглись на холодном камне и, вероятно, еще до рассвета ушли.

VI

Странный какой-то гул разбудил меня, очень похоже было на телеграфный столб, как гудит он в непогоду. Но какой же тут, в приморской тайге, может быть телеграфный столб? Я открыл глаза и увидел Лувена. Он тоже к чему-то прислушивался.

— Ходи, ходи! — сказал он. — Твоя женьшень расти будет, моя тебе покажи.

Он был одет, как искатели женьшеня из китайцев, во все синее, спереди был привешен для защиты от росы промасленный фартук, назади — барсучья шкурка, чтобы присесть и отдохнуть в сырой день, на голове коническая берестяная шапочка, в руке длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, у пояса нож, костяная палочка для выкапывания корня, мешочек с кремнем и огнивом. Синий цвет дабы, из которой сшиты рубашка и штаны, напомнил мне страшных людей, кто охоту на таких синих китайских искателей называет охотой за фазанами, а на корейцев в белом — охотой на белых лебедей.

— Что это, Лувен? — спросил я, указывая в ту сторону, откуда слышался гул, подобный гудению телеграфного столба в непогоду.

— Война! — без колебания ответил Лувен.

Мы высекли огонь. Я поднялся наверх и там в куче хлама нашел причину войны: там запуталась большая бабочка бражник и гудела при частых взмахах крыльев, как телеграфный столб. Это я показал китайцу, но он найденной причине не придал никакого значения и повторил:

— Такая гу-гу бывает к войне, война ходи будет.

Суеверие, неподвижный остаток каких-то отдаленных, быть может, когда-то живых верований, в моем понимании унижало человека не более, чем унижает иных непобедимая привычка к разным вещам мещанской цивилизации: внутри суеверий и привычек к определенного сорта помаде или формату писчей бумаги можно оставаться живым культурным человеком. Но в этот раз суеверие Лувена больно задело. «Разве газеты, — думал я, — а в наших условиях даже слухи от новоселов не в тысячи раз вернее говорят о войне, чем наши догадки по каким-то знамениям природы? И разве шелест жизни от крыльев бабочек и ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы земли, чем суеверное представление?» Раздумывая глубже о причинах особенной неприязни к суеверию в этот раз, я пришел к догадке о том, что легенда многомиллионного народа, существующая уже несколько тысяч лет о корне жизни, до того пленила меня, что я немного боялся проверки ее в личном опыте, безбоязненно применяемом мной ко всяким легендам.

Эта боязнь теперь переходила в раздражение от малейшего соприкосновения с суеверием.

Мы вышли из фанзы еще в полной темноте, направляясь распадком в сторону моря. Если бы даже и рассвело, мы ничего бы не видели от густого тумана, почти постоянного здесь в летнее время. Единственным светом, но только возле самого носа, был свет фонариков летающих светляков. И вот сила наследственного суеверия: глядя на летающих светляков, я вспомнил о множестве умерших на поле сражения. Я вспомнил о них, как, умирая в муках, они отходили куда-то. «Не они ли это?» — спрашивал я себя, как дикарь. И, вспоминая иных из них, находил в себе ту самую сохраненную мной боль, которую принял от них по сочувствию, и так получилось, что они отошли и летают себе светлячками, а я с их болью остался и, может быть, бессознательно теперь в иных случаях поступаю именно под влиянием этой боли, сохраненной мною при потере друзей на войне. Но доброта Лувена такая, как будто он не случайно при виде летающих насекомых стал о чем-то догадываться, а раз навсегда догадался, всю эту боль принял и, связывая веру свою в лучшую жизнь с силой жизни корня женьшень, определил себя на помощь больным.

Так, глядя на летающих насекомых, я по-своему старался отделить и очистить легенду о корне жизни от мертвых и часто в современной жизни вредных суеверий, сохранившихся в нас от далекого прошлого. Летающие насекомые вдруг как-то исчезли, но казалось — это они после себя оставили ровный свет, и от этого света стали нам показываться разные предметы снизу, а не как бывает при рассвете в ясное утро: сначала видишь небо, и только долго спустя — им освещенные сверху предметы на земле. Мы были в горах, у самого моря, и нам скалы показывались из тумана черными фигурами. Я в них читал и прямо видел, как олень-цветок превращается в женщину, а Лувен тоже, наверно, догадывался о чем-то заветном своем. Это нам друг другу совсем не нужно было раскрывать, и оттого мы шли с ним молча, совсем ничем не стесняя друг друга. Во время рассвета холодок резким ознобом прошелся по телу, и через свое тело, слитое с миром в одном ощущении предрассветного холода, мне стало казаться, будто вся природа сейчас, скинув одежду, умывается.

Мне показалось, что и Лувен об этом хотел сказать, когда вдруг остановил меня, сделал ладонями, будто он умывается, после чего развел руками в значении «везде, везде!» и сказал:

— Хоросе, хоросе, шибко хоросе!

Вскоре оказалось, это он так предсказывал о погоде: очень часто бывает в тихоокеанском Приморье, что даже и очень густой туман внезапно переходит в невидимое состояние и воздух, хотя и насыщенный парами воды, становится совершенно прозрачным. Мы встретили восход солнца на высоком берегу, на тропе, в каких-то густых кустарниках, из которых иногда вылетали красивые монгольские, с белым колечком на шее, фазаны и зачем-то при взлете, случалось, оглядывались на нас и по-своему говорили: ко-ко-ко... Скоро я понял эти заросли, отчего они были такие низенькие и страшно плотные. Это море с тайфунами сотни лет било скалу и добилось все-таки жизни: в трещинах скал выросли разные цветы, а потом и дубки. Так море добилось жизни, но что это за жизнь была на первых порах! Те дубки, что поближе к морю, думать не смели хоть чуть-чуть поднять голову вверх — они росли лежа, ползли тонкими стволами прочь от моря и очень были похожи на волосы, гладко причесанные. Но чем дальше мы отходили от моря, тем выше и выше поднимались дубки, хотя тоже до известного предела: начиная от высоты человеческого роста, все засыхали сверху, образуя сплетением нижних ветвей непроходимую чащу, очень пригодную для жизни фазанов в ту пору, когда молодых надо было охранять очень заботливо от покушений разных хищников.

Отступая от моря в глубину тайги, мы не сразу с ним расстались: мы то спускались, то опять поднимались, теряли и опять встречались с солнцем, как бы переживая новый восход; и так еще было, что берег моря, изрезанный бухтами, загроможденный камнями, проливчиками, давал для солнца все новые и новые ширмы, отчего каждый раз при новом восходе являлись нам все новые и новые фигуры. На последней скале, откуда открывался вид далеко в океан, росли необыкновенно фигурные погребальные сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного моря. Они были такие ажурные, что кажется, сколько бы их ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы

виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже простым глазом различали в море головы множества морских зверей.

В самой темной тайге можно бы разглядеть муравья, с добычей своей пересекающего тропинку, когда мы совсем расстались с морем и спустились в глубокую падь. Мы шли по тропе, лишенной всякой растительности, пробитой ногами изюбров, оленей, горалов и коз, а после приспособленной для себя человеком. С той тропы мы свернули в глубокий распадок с безыменным ключиком, постоянно исчезающим в завалах камней и дающим знать о себе оттуда только своей подземной болтовней. Тут, на камнях, едва видимая тропа пересекала ручей то в ту, то в другую сторону, но мы бросили эту неверную тропу и шли от бочага к бочагу, часто прыгая с камня на камень. Лувен часто указывал мне и просил запомнить то отметину на коре бархатного дерева, то залом на колючей аралии, то кусочек моха, вложенный в дупло тополя, все эти знаки были не для каких-нибудь случайных путников, звероловов, охотников и каких бы то ни было таежных добытчиков — все это было сигналом для других искателей корня жизни: путь этот обыскан, и незачем им тут трудиться. Но этот же путь вел к моему собственному корню жизни, и Лувен показывал мне приметы, чтобы я, неопытный еще в корневании, сам бы мог потом найти без помощи.

— Что делать, — спросил я, — если тайфун вырвет этот мох из дупла, или весенний поток унесет замеченное бархатное дерево, или вот эта щека распадется и завалит весь путь наш камнями?

— Надо иметь чистая совесть в голове, — ответил Лувен.

Я понял, что он говорил о смекалке, и показал ему на щеку распадка, на деревья и травы: все завалит, и никакая смекалка уже не поможет.

— Пропал-пропал голова! — сказал я.

— Голова не надо, — ответил Лувен, — пропал голова, вот где голова.

Он показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит пути.

Мало-помалу высокие щеки распадка стали снижаться, и мы подошли к небольшой впадине с болотцем, из которого и выходил ручеек, создавший этот глубокий распадок в скалах. Отсюда, с перевала в широкой долине, начинались величественные кедры, настолько редкие и с таким низким подлеском, что можно было между их стволами проглядывать очень далеко вниз и догадываться по солнечным зайчикам, по мелькающим силуэтам и теням крыльев о какой-то особенно богатой жизни этой Певчей долины: множество разных мелких певчих птиц распевало среди разных деревьев; тут были тополя не менее как по триста лет, иногда подслеповатые, сгорбленные, узловатые, с дуплами, в которых постоянно зимой ложились медведи; были гигантские липы, высокоствольные ильмы и пробковое дерево.

Певчая долина с гигантскими деревьями, достаточно редкими, чтобы обеспечить светом богатую жизнь подлеска, была так прекрасна, что мысль о чистой совести, необходимой для верного поиска корня жизни, являлась сама собой. Направляясь вперед, мы скоро пересекли Певчую долину в северо-западном направлении, и вдруг перед нами открылась древняя речная терраса, нисходящая в другую долину, покрытую другой растительностью: среди коренастых стволов осокоря тут были черная береза, ель, пихта, граб, мелколиственный клен, и дальше, когда мы прошли этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья: тут вперемежку с широколиственными ореховыми деревьями были только изредка кедры; редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины, черемухи, дикой яблони, под сенью которых, среди буйных тенелюбивых трав, где-то и надо было искать корень жизни женьшень.

Мы тут отдыхали с Лувеном и долго молчали. Что было в тишине при нашем долгом молчании? Бесчисленное множество, неслыханное, невообразимое число кузнечиков, сверчков, цикад и других музыкантов устраивали, все время играя, эту тишину: их совсем не слышишь, если найдешь в себе равновесие для свободной и спокойной мысли. А может быть, все эти бесчисленные музыканты именно своей музыкой так

делают, что сам по-своему принимаешь в ней участие, перестаешь их замечать, и оттого начинается какая-то настоящая, необыкновенная, живая, творческая тишина. И еще тут где-то ручей бежит, тоже, кажется, молча; но если ход спокойной мысли от какого-нибудь нечаянного воспоминания оборвется и невозможное желание кому-то близкому что-то сказать вырвется даже сильно сдержанным стоном, то вдруг из этого ручья, бегущего, вероятно, по камням, быстро вырвется: «Говорите, говорите, говорите». И тогда все неслышимые музыканты, многомиллионные, бесчисленные, все вдруг с ручьем заодно играют: «Говорите, говорите, говорите!»

И мы заговорили с Лувеном о какой-то птице, стерегущей корень жизни женьшень. Я догадываюсь, что говорил Лувен об одном из трех видов кукушек, населяющих этот край: будто бы эта небольшая, черного цвета кукушица стережет корень жизни и видеть ее может только тот, кто увидел своими глазами корень жизни и успел в это мгновение воткнуть возле него свою палку. Так очень часто бывает, постоянно будто бы случается с искателями корня, что вот только увидел сокровище — и уже нет его: женьшень в один миг превращается в какое-нибудь другое растение или животное. Но если ты, завидев его, успел воткнуть палку, он больше от тебя никуда не уйдет. Нам, однако, теперь нечего и беспокоиться: этот корень был найден тому назад уже двадцать лет, тогда он был очень молод и оставлен расти еще на десять лет. Но случилось, изюбр, проходя этим местом, наступил на голову женьшеня, и он от этого замер. Недавно он снова начал расти и лет через пятнадцать будет готов.

— Ты сейчас бегай-бегай, — сказал Лувен, — а тогда понимай.

Мы помолчали. Я в этом молчании силился представить себе, что будет со мной через пятнадцать лет, и мне представилась встреча. Прошло ведь пятнадцать лет раздельной жизни, мы едва-едва и со страхом узнали друг друга, стоим, смотрим растерянно и ничего не можем друг другу сказать.

Ох и больно же стало! Но как только вырвался «ох!» — вдруг из ручья:

— Говорите, говорите, говорите!

А вслед за тем все музыканты и все существа Пев-

чей долины заиграли, запели, вся живая тишина вдруг раскрылась и позвала:

— Говорите, говорите, говорите!

— Через пятнадцать лет, — сказал Лувен, — ты молодой человек и твой мадама молодой.

После того мы встали, по стволу дикой яблони, склоненному над ручьем, перешли на тот берег, и там скоро среди разнотравья Лувен стал на колени и, сложив руки ладонями, долго стоял. Я был так взволнован, что невольно опустился с ним рядом, представляя себе, будто стою где-то у самого источника творческих сил. Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно всей музыке тишины. Но скоро сам собой наступил срок: Лувен раскрыл травы — и я увидал... Было несколько листиков, похожих на человеческие ладони с пятью вытянутыми пальцами, на невысоком и тонком стебельке. Для такого нежного растения был опасен не только изюбр со своим грубым копытом, но даже и муравей, если бы ему зачем-нибудь понадобилось, мог бы в короткое время еще на множество лет остановить эту жизнь. Сколько же случайностей за пятнадцать лет грозили этому растению и жизни моей!

На прощанье Лувен указал мне зарубку на стволе кедра; от этого кедра до корня был ровно локоть, и с другой стороны, от ствола бархатного дерева, был локоть, с третьей стороны зарублен был дуб, и с четвертой — акация.

VII

Раз я вышел в тайгу попытать свое счастье в пантовке: так называется охота на самцов пятнистых оленей, или изюбров, когда их рога — панты, — налитые кровью, уже достаточно отросли, но еще не окостенели. Эта охота чрезвычайно добычлива, есть панты ценою более тысячи золотых иен. В то время как охотники начинают добывать панты, самки уже выводят своих маленьких на покати гор, но самцы редко показываются и держатся на северных склонах — в сиверах, прячутся в кустарниках, стоят часто очень долгое время неподвижно, вероятно, из опасения потревожить чувствительные ко всякому прикосновению панты. Ту-

манная гора, куда я шел в тот раз, почти вся была открыта, и только самая вершина ее черная расплывалась в тумане. Гора эта с трех сторон окружена морем, очень похожа на погасший вулкан и, вероятно, была им не очень давно: не раз на берегу бухты находил я пемзу. Гора была, конечно, сильно размыта и со всех сторон на боках прорезана глубокими падями и распадками. В этих падях, конечно, и укрывалось и зверье, и особенная реликтовая растительность, и все эти драгоценные для охотника пади сходились наверху почти в одну точку, и вся гора была узлом этих богатых и зверьем и растительностью падей. Теперь я шел берегом моря на юго-запад, куда выходили три красивейшие пади Туманной горы — Голубая, Запретная и Барсова. В глубине каждой из них бежит ручей, создатель самой пади от верху и до низу; по ручью внизу, под укрытием от всех ветров, кроме южного — с моря, сохраняются драгоценные реликты отдаленных эпох; а наверху, на ребрах падей, задорно играя с тайфунами, красуются погребальные сосны. С берега моря левой стороны Голубой пади я поднялся на самый верх Туманной горы и тихо шел по кряжу, как тигры ходят и барсы *, чтобы сверху им все видеть по сторонам. Там и тут, и в Голубой пади и в Запретной, я видел оленей, но все это были ланки с маленькими, по две, по три; иногда среди них был саек, годовалый самец с тоненькими рожками-шпильками. Вдруг в глубине пади, которую после я стал называть Барсовой, мне послышались крик, стон и храп. С хребта я бежал туда по россыпи очень быстро, стараясь не шевелить и не ронять камней, перескочил в кусты, начал скрадывать и скоро увидел против себя, на той стороне пади, через кусты, какого-то желтого зверя. Он почуял меня и нехотя, ленивой рысцой побежал наверх, то показываясь, то исчезая в дубовых кустарниках. Я ожидал, пока он откроется весь в россыпях, но там он залег, как это умеют делать хищники из породы кошек: из-за камней виднелись только глаза. На таком расстоянии эта цель закрывалась мушкой, и невозможно было убить. Я поспешил тогда перебраться на ту сторону пади, посмотреть, какая же это жертва попа-

---

* Леопард на Дальнем Востоке почему-то называется именем совсем другого животного — барса.

лась желтому зверю. Чтобы не сбиться, я наметил себе вехой особенной формы пинию. Под самым этим деревом на весу лежал громадный камень, кажется, тронуть — и полетит вниз, сшибая по пути все, что ни попадется. Думалось, вот за этим именно камнем и была кровавая расправа. Мне пришлось туда добираться на вытянутых руках, хватаясь за молодые пинии. Я не ошибся: за камнем я увидел распростертого пантача с роскошными и, к счастью, совсем не поврежденными пантами. Я не раз слышал от Лувена, что ценность пантов зависит не так от массы их, как от формы, самое главное в форме — это полная согласованность правой и левой стороны. Кажется, это не суеверие и не прихоть моды: при малейшем повреждении какой-нибудь стороны животного соответственно с этим по-разному развиваются отростки на той и на другой стороне, и значит, если лекарственная сила пантов зависит от здоровья животного, то об этом отчасти можно судить по форме пантов.

Я наломал как можно больше лапнику с горных пиний, укрыл оленя от проникающих сюда лучей солнца, а сам пошел выслеживать леопарда. Камень, под которым спрятался зверь, был похож на громадного орла. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень и стал осторожно скрадывать, каждое мгновение готовый схватить зверя на мушку. Но барса под камнем больше уже не было. Тогда я по кряжу обошел все плато, бывшее когда-то, может быть, кратером вулкана, — нигде барса не было. Я сел отдохнуть возле одной необыкновенно ровной, как будто отполированной плиты горного сланца, и когда смотрел на нее против солнца, то заметил на пыли, покрывавшей плиту, намек на отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: леопард проходил по этой плите. Конечно, мне было известно, что тигры и леопарды ходят по хребтам, и наблюдение следа на плите мне еще ничего не давало теперь: прошел куда-нибудь и скрылся в камнях, найти без следов невозможно. Тогда я перевел глаза на красивый мыс у подножия Туманной горы и стал разглядывать его скалы, украшенные точно такими же красивыми и задорными соснами, как и все ребра южных падей. Я мог отсюда разглядеть, что на

этом узком мысу, покрытом низкой, но любимой оленями травой, паслась ланка, и возле нее в тени куста лежал желтый кружок, можно было догадаться о нем: олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь дохватить и попасть в недоступные темно-зеленые пинии, поднялся орел, взвился высоко над мысом, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока, наконец, острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом справился в воздухе и полетел обратно в пинии, где у него, вероятно, и было гнездо. Было время около полудня, становилось жарко; в этот час олени с открытых пастбищ переходят до вечера в места постоянного своего пребывания, прячутся в распадках среди тенистых деревьев. Вон и эта ланка, единственная на мысу, подняла своего олененка и повела его с мыса Орлиное Гнездо прямо к тому самому распадку, где укрывалась наша фанза. Я почти не сомневался, что это была Хуа-лу, и вот какие разные чувства вдруг разом вспыхнули во мне, сменяясь, как свет и тени на бегущих внизу волнах океана! Но вдруг эти чувства мои были перебиты мыслью, определившей потом всю мою деятельность в этом краю. «Мыс Орлиное Гнездо, — думал я, — не имеет никакого выхода для оленя, кроме узенького, в какие-нибудь сто метров, перешейка, и если этот перешеек заградить частоколом, то оленю останется единственный выход — броситься с отвесной высоты в море и вплавь достигнуть берега. Но и это был бы тоже не выход: внизу то показываются из воды, то прячутся черные острые камни, и всякое живое существо, упав на эти страшные рифы, неминуемо разобьется». Вот эта мысль мне пришла в голову и незаметно для меня начала прорастать и заполнять всего меня. Отдохнув, я решил осторожно еще раз обойти все плато по хребту, приглядываясь к каждому рыжему пятнышку: авось за это время зверь надумал что-нибудь... Мне было видно, как ланки там и тут переводили своих малюток с пастбищ в родные распадки, а то просто тут же у пастбищ находили себе временный приют в дубовых кустах. И сколько тут раз прихо-

дилось видеть, как пятнистый олень, войдя в тень даже и не очень густолиственного дерева, благодаря своим защитным пятнам-зайчикам становился невидимым. Тут, в тени, они проводили время, то скусывая листики винограда, то вычесывая копытцем задней ноги клещей-мучителей. Нигде я не мог рассмотреть леопарда и пришел в конце концов к той же самой плите и опять присел возле нее. На досуге я снова стал присматриваться к отпечатку барсовой лапы и вдруг заметил рядом с первым отпечатком другой и еще более отчетливый. Но мало того: на том, другом, следу, приглядываясь против солнца, я увидел — торчали две иголочки, и, взяв одну из них, узнал шерстинку из лапы барса. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом падения посылать свои лучи на плиту, и я мог допустить, что тогда пропустил другой след, но шерстинок я тогда не мог не заметить — шерсть явилась во время второго обхода, и, значит, барс все время крался за мной. Это было согласно и с тем, что приходилось слышать о барсе и тигре: это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека.

Теперь нечего было терять время. Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену, и, к счастью, застал его дома, и, к его большой радости, рассказал ему о добытом пантаче. Мы направились туда сокращенным путем крутой падью наверх. Там, на высоте, мы с Лувеном тихо, разглядывая каждый камень, обошли кругом по хребту все плато, и против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз, и еще раз прыгнул до первого кустика, и там притаился в заветрии. Лувен продолжал свой путь по кряжу, а я, утвердив локти и дуло винтовки на камнях, стал ждать. Немного спустя на голубом фоне неба против себя я увидел черный силуэт ползущего зверя: громадная кошка ползла, не подозревая, что я на нее смотрю из-за камня через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, едва ли бы мог что-нибудь заметить. Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: «Где же другой?» —

и когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я подвел мушку к его переносице и, затаив дыхание, выстрелил. Зверь лег на плиту, опустив голову между лапами, хвост его сделал несколько движений, и все походило теперь, будто он притаился, чтобы сделать свой роковой прыжок.

Какой прекрасный ковер мы добыли, но не этой ценной шкуре обрадовался Лувен: в его таинственной, смешанной с бесчисленными суевериями медицине какую-то важную роль играли сердце леопарда, печень и даже усы. Однако и это все драгоценное он забыл, когда увидел панты убитого оленя.

— Много-много лекарства! — говорил он, вырубая панты из черепа вместе с лобовой костью.

И на вопрос мой, почему он не срезает панты с коронок и берет их с костью, ответил:

— Так моя хочет взять три раза больше лекарства.

Ценность пантов, оказалось, бывает в два или три раза больше, если их вырезать с лобовой костью. Те, простые, срезанные с коронок панты идут только на леченье как лекарство, а лобовые панты — игрушка, это подарок, залог семейного счастья, в самых богатых китайских домах они хранятся под стеклянным колпаком, и когда от времени сохранят эти панты только форму, то эта видимость, труха будет подавать хозяину надежду и в глубокой старости поднять свою страсть.

— Это панты гуляй-гуляй, — сказал Лувен, — и много стоят лекарства.

Как и особенно ценный женьшень, гуляй-панты, нарастая в цене, обойдут много разных рук, разных «купеза», пока наконец самый богатый и ловкий «машинка» не принесет их к самому сильному мандарину, незаметно сунет их в левый широкий рукав, а правой рукой мандарин сделает для «купезы» какое-то приятное дело.

— Мандарины тоже машинка? — спросил я.

— Мандарины гуляй-гуляй хочет, — ответил Лувен.

Мы нагрузили на себя мясо оленя, взяли его пятнистую шкуру, драгоценные панты, сердце, печень, усы, ковер леопарда, и, когда, спускаясь с Туманной горы, были против Орлиного Гнезда, посмотрев туда случайно, я увидел там... Мысль моя, незаметно работавшая усиленно в эти часы, получив теперь себе на

помощь дорогой материал, стала от этого ясной, и я сам утвердился в себе, и мне стало вдруг почти хорошо.

А увидел я то, что видел Лувен, прожив тут тридцать лет, множество раз; я увидел, как олень-цветок вступал через переузок на пастбище Орлиного Гнезда.

Указав Лувену на ланку, я сообщил ему простой план добывать постоянно много *лекарства,* и он в совершенном восторге сказал:

— Хоросе, хоросе, капитан!

И это мне было материалом для долгого размышления, и окончательно я и до сих пор того вопроса еще не разрешил: почему именно с того самого момента, когда я сообщил Лувену о своем маленьком открытии, он начал постоянно называть меня капитаном?

VIII

Лувен каким-то способом поймал прекрасного фазана и принес мне его показать.

— Давай кушать, — сказал я, зная, какое прекрасное белое мясо у монгольских фазанов.

Лувен отвечал:

— Кушать люби-люби, не могу контрами *, капитан.

Я отрубил фазану голову. Он сказал:

— Хоросе, капитан!

И принялся щипать. А потом мы, засыпав суп рисом, вместе с ним ели и наслаждались.

Конечно, это очень маленькое дело — отрубить голову фазану, но все-таки, раздумывая, почему же именно я вдруг для Лувена стал капитаном, не мог я не присоединить к материалу и это маленькое дело: свойство капитанов, оказывалось, не только делать открытия, но и рубить головы. Лувен, по-видимому, пришел в тайгу не тем глубоким и тихим человеком, каким он сделался в поисках корня жизни. Когда-то он вместе с китайцами-звероловами ловил оленей, изюбров и коз ужасной китайской лудевой: валил деревья тесно корнями друг к другу, оставляя кое-где между ними сво-

* Контрами — рубить голову.

бодные места для пробега животных, тут, в этих свободных местах, были закрыты прутьями ямы, и в них животные падали, часто ломая себе ноги. Лувен настигал оленей по насту со своей маленькой собачкой, такой злющей, что она впивалась в бок оленю и мчалась с ним, пока он, изрезав вконец ноги о наст, не останавливался. С такими легкими собаками китайцы старались загонять по насту оленей в море и там на лодках ловили их и скручивали в воде веревками. Пойманных оленей держали у себя и кормили до тех пор, пока у них не отрастали панты, и потом, срезав ценные панты, убивали на мясо. Но трудно было теперь представить себе то время, когда Лувен вместе с другими китайцами-звероловами так жестоко расправлялся с редким, вымирающим зверем только для того, чтобы достать для богатых людей гуляй-панты. Так жизнь свою в тайге он начинал звероловом и, конечно, уже лучше мог разбираться в следах зверей и по следам догадываться о планах зверей, да, пожалуй, даже и сам мог по-звериному думать. Но я не испытывал к этому опыту таежного следопыта того благоговейного удивления, с которым некоторые говорят о таких следопытах. Я же, как химик, — следопыт в тысячи раз более сильный, чем все эти таежные следопыты, взятые вместе. Что мне это знание дикарей-следопытов, если я могу сделать химический анализ любого вещества по качеству и вызнать количество его составных частей с точностью до четвертого знака! Мало того: я могу в любую область направить свое испытующее внимание, как в химии, и в короткое время обогнать любого следопыта, истратившего всю свою жизнь на личный опыт в одном каком-нибудь деле. Нет, не это испытующее внимание к жизни тайги дивило меня в Лувене, а то родственное внимание, с которым он относился ко всякому существу в природе. Меня удивляло не то, что он мог разбираться в жизни тайги, а все на свете оживлять. Видимо, какой-то глубокий перелом произошел в его жизни, отчего он бросил свое жестокое дело и это губящее жизнь дикое звероловство переменил на поиски корня жизни. Есть переживания, о которых никогда не следует ни рассказывать, ни спрашивать: сами по себе они мало говорят. Человек своей деятельностью рассказывает об этих своих глубочайших пережива-

ниях, и другой человек, друг его, сам догадывается, рассматривая эти дела. Мне было известно, что у Лувена на руках была большая семья брата, и я часто думаю, что Лувен был глубоко обижен при каком-нибудь семейном разделе и ушел в тайгу смертельным врагом родного брата. Быть может, первые десять лет своего звероловства он истратил только на то, чтобы доказать своему отцу, считавшему его негодным работником, что средства к жизни он может добывать трудом своим лучше, чем брат. И вот пришло время, он приехал в Китай с доказательством в руках к отцу и с презрением к брату, а и доказывать было некому, и презирать было тоже некого: после какого-то страшного мора, как это постоянно бывало в Китае, осталась в живых только жена брата Лувена с кучей маленьких детей. Очень возможно, что с этого разу и переменился Лувен. Была раньше его жизнь для доказательства, а то вдруг стало некому доказывать. Я слышал потом от китайцев много подобных историй. И если бы то же услыхал я от самого Лувена о себе, то все-таки меньше бы это сказало мне, чем два великих тополя возле фанзы, посаженных когда-то руками Лувена. Как он радостно с ними встречается и бормочет всегда какие-то свои китайские слова разным сидящим там, в зелени, в ожидании его, существам! Любимая его ворона была не серая, как у нас, а черная. Подумаешь с первого разу: «Вот грач!» — а потом присмотришься и вспомнишь, что у грача бывает нос белый, а тут он черный. «Так это ворон!» И вдруг из того черного ворона и крикнет наша обыкновенная серая ворона. Очень она была умная и, бывало, когда Лувен уходит в тайгу, долго провожает его, перелетая с дерева на дерево. Еще голубая сорока жила на дереве, пересмешник, зимородок, дрозды, иволга, кукушка, перепелка, и кричала в кустах не «пить-полоть», как у нас, а вроде как бы: «му-жи-ки!» И так все до одной птицы были видом точно как наши, сразу узнаешь, а что-нибудь одно маленькое в них так — и не так. Скворец тоже и черный, и нос желтый, и радужные отливы на перьях, и тоже, как петь собирается, весь растопорщится, и вот-вот, думаешь, с волнением ожидаешь, как он по-нашему по-весеннему защелкает, — и ничего не дождешься: хрипит, и больше ничего. А кукушка кричит не «ку-ку», а «ке-

ке». Со всеми ними Лувен беседовал по утрам, подкармливал, и мне очень нравилась эта дружба и какое-то родственное внимание ко всем живым существам. Особенно нравилось мне, что это не было у Лувена как-нибудь, из-за чего-нибудь или навязывалось другим как хорошая жизнь, ни о каких примерах он не думал, а так все само из него выходило. И так ему попался фазан, конечно же, надо бы съесть, но как это сделаешь, если надо «контрами»? Вот он просит сделать «контрами» человека, более для того способного, *капитана.* Зато с каким удовольствием узнал он, что сам капитан возмущается истреблением прекрасного исчезающего зверя, что он хочет охранять его и разводить!

Выполняя мой план, мы тут же, в своем распадке, нарубили много виноградных, лимонных и всяких лиан, закоптили эти веревки на огне, чтобы зверь далеко чуял эту копоть, узнавал в ней человеческий истребительный замысел и побаивался. Тут же мы сделали санки, чтобы можно было на них навалить все эти лианы и везти одному человеку. Далеко до рассвета я был на Туманной горе, дождался, когда олень-цветок провел своего олененка на мыс Орлиное Гнездо, и развел сигнальный огонь. Спускаясь после того, я не достиг еще и половины Туманной горы, когда Лувен занял место на переузинке, и дело ланки-матери было кончено: она скорее бы бросилась в море на острые камни, чем решилась идти прямо на человека, она была заперта, и с этого разу мыс Орлиное Гнездо сделался маленьким и самым красивым в мире скалистым зоопарком. Мы до ночи работали, перетягивая свою копченую веревку из лиан поперек переузинки. Утром, прячась за камнями, мы дождались часа, когда олени с пастбищ переходят на свои родные тенистые места в распадках, и увидели, как олень-цветок спокойно шла к выходу по оленьей тропе на скале. Вчера мы той тропой ходили на мыс, чтобы срубить себе для столбиков одну пинию. Теперь ланка дошла до наших следов, остановилась, раздула ноздри, что-то почуяла внизу и наклонилась. Потом она высоко подняла голову, причуяла по воздуху запах копченой лианы, вгляделась в место нашего пребывания, уверилась в опасности, свистнула, побежала обратно, и за ней в дубовых кустарниках, не упуская

из виду ее белого раздутого зеркала, кое-как запрыгал и олененок.

Теперь я был уверен, что эта ланка-мать и была моя Хуа-лу: левое ухо у нее светилось дырочкой. Проводив ее глазами, мы, веселые, вышли из своей засады и с этого же разу приступили к ежедневной работе над изгородью. Так мы добровольно соединились: я, обученный европеец, с точки зрения китайца — капитан, способный быстро во всем разбираться, придумывать новое, делать неожиданные открытия, и этот старый искатель женьшеня, не только знающий тайгу и зверей, но умеющий глубоко их понимать и соединять вокруг них все в тайге своим родственным вниманием. В смысле истинной человеческой культуры я угадывал в нем старшего и относился к нему почтительно. Он, вероятно, видел во мне светлого европейца и относился ко мне с тем радсстным удивлением и теплой дружбой, как относятся многие китайцы к европейцам, если только бывают уверены, что европейцы не хотят их насиловать и обманывать. В то время, конечно, я и не подозревал, куда приведет нас начатое дело и что оно наряду с воздухоплаванием и радио есть именно самое новое дело. Приручением животных люди занимались только на заре человеческой культуры и, добыв себе несколько видов домашних животных, почему-то забросили его и продолжали с домашними жить по рутине, а диких стрелять. Мы возвращались к этому заброшенному делу с накопленным за это время безмерным знанием, и, конечно, и мы были другие, и по-другому должно было создаваться дело, начатое на заре человеческой культуры дикарями.

IX

Сибирь начала дышать в нашу сторону, и субтропики южного Приморья начали одеваться в сибирский наряд. Давно исчезли все до одного светящиеся насекомые в горах. Фазаны взматерели, вышли из крепких убежищ в причесанных тайфунами дубовых кустарниках и всяких других крепких зарослях. В прохладных утренниках закраснелся лист винограда, ясень стал золотиться. А самое главное, постоянные туманы исчезли, и как у нас солнце весной является, так яви-

лось оно тут осенью — и какое солнце явилось! Оно светило тут совершенно так же, как светит солнце в Италии, и в этом свете сибирская осень вспыхнула и зацвела гораздо ярче всех весенних цветов обыкновенного нашего климата. В один из первых сентябрьских утренников в тайге заревел изюбр, и раз лунной ночью мы с Лувеном в своей фанзочке слышали рев, потом сухие удары рогов. А еще было раз: заревел где-то изюбр, и ему в другой стороне ответил кто-то, почти как изюбр. Лувен заметил тонкую разницу между ревом первого изюбра и второго. Тигр тоже будто бы может реветь, подражая изюбру, и человек подманивает взволнованного гоном зверя в берестяной рожок; второй должен быть, говорит Лувен, тигр или человек. Мы стали прислушиваться и угадывать, кто ревел — тигр или человек. Скоро первый рев стал приближаться к другому, неподвижному, и все ближе и ближе, тесней, тесней — все замолкло. Изюбр молча подходит, и только слегка изредка где-нибудь треснет сучок. Тигр залег на опушке полянки и готовит свой ужасный прыжок. Человек взвел курки и, подражая зверю, нарочно треснул каким-то сучком. Страшно замолкла тайга в своем ужасном вопросе: тигр или человек? И вдруг в тишине раздался определенный винтовочный выстрел. Дело решил человек.

Расцветающие, ярко вспыхивающие в обильном свете перед зимней спячкой деревья и этот мучительный рев страдающего зверя — вот у них, у оленей, какая любовь! Однажды в кустах я нашел два черепа со сплетенными рогами. Силачи изюбры с восьмиконечными сплетенными рогами погибли в бою за самку, а какой-нибудь плутишка после того был счастлив — не обидно ли это?

День за днем крепче утренники, горный камыш на рассвете является в кружевах и, только уж когда солнце взойдет, обдастся росой и засверкает каплями. Остается немного ждать, и мороз не будет очень-то бояться утреннего солнца, и кристаллы его засверкают на солнце еще много ярче капель воды. Во время гона изюбров пятнистый олень готовится к своей мучительной поре. Не раз я видел в лучах вечернего солнца в тайге, как рогач-олень терпеливо, заботливо вытирает о дерево шерстинки со своих, теперь уже крепко-накрепко окостеневших рогов. Пока ревет изюбр,

он готовится к бою, и когда мороз хорошенько проберет спеющий виноград и он сделается сладким, пятнистый олень начинает реветь.

Нам надо добыть рогачей для нашего питомника пятнистых оленей, и мы тоже с Лувеном готовимся к гону. Мы хотим приучить к себе Хуа-лу, чтобы во время гона можно было ее выпустить и, когда рогачи из-за нее начнут бой, позвать привычным зовом в берестяной олений рожок, в надежде, что за ней прибегут к нам и обезумевшие от страсти своей рогачи. Горе наше было в том, что на пастбище Орлиного Гнезда в этот год был урожай питательных оленьих трав, и Хуа-лу пробавлялась на нем, не обращая внимания ни на веники наши, собранные из веток самых вкусных для оленей деревьев, ни на зерна кукурузы и сои. Среди метелок горного камыша, уже совсем пожелтевшего, она находила низенькую, нам совсем в желтом пастбище незаметную травку и очень просто проводила свое время: то, склоненная к земле, выщипывала эту зеленую травку, то стояла неподвижно в тени дерева, кормила олененка, случалось, лежала и старалась выбирать у себя и у олененка зловредных клещей. С какой радостью однажды наконец-то я увидел, что она, почуяв мой след, не убежала, как раньше, а прошлась немного по нему, как будто любопытствуя узнать, не спрятался ли поблизости я где-нибудь, и когда увидела меня, то не бросилась, как олени, очертя голову, а только круто обернулась и тихонько стала удаляться вместе со своим олененком. Другой раз было, когда она почуяла мой след и я заиграл, и она, увидев меня, играющего на берестяном рожке, остановилась и долго слушала. Она старалась понять, к чему это все, но, конечно, в конце концов ничего не поняв, топнула, свистнула и тихонько ушла, вероятно, понимая, что так-то, по старинке, будет верней. Каждый день я непременно играл ей и добивался только того, что она, заслышав рожок, переставала траву щипать и шла на рожок, пока не видела меня, потом долго стояла и слушала: пока я играл, она все стояла, а ее олененок от нечего делать часто, случалось, сосал ее. Но я не мог в первое лето приучить ее подходить вплотную к себе на рожок.

Между тем морозики, хотя и очень легкие, подсушивали и красили все листья. Мелколиственный клен

запылал, светло-красный, зажелтели огромные смелые листья маньчжурских ореховых деревьев. А что теперь было на берегу Зусу-хэ, где я впервые увидел Хуа-лу достающей на задних ногах изумрудный в просвете лист винограда! Там, где летом был целый зеленый аул из заплетенных виноградом деревьев, все эти хижины теперь от винограда стали красными, и та зеленая куща, где случилось мне провести свой роковой час, особенно выделялась красным и желтым. Раньше казалось — виноград совсем задушил какое-то дерево, теперь стало видно, что дерево и под зеленью винограда достаточно находило себе света и жило: это маньчжурское ореховое дерево теперь из-под красных листьев винограда просвечивало золотом, и всюду то на красном, то на желтом, там и тут висели чуть тронутые морозом спелые черные кисти амурского винограда.

Однажды ночью Лувен разбудил меня и просил выйти. Он показал мне в ту сторону, где Большая Медведица, опираясь на черную гору углом своей обыкновенной кастрюльки, как бы вытаскивала из-за черного хребта последнюю недостающую звезду своего хвороста. Какие звезды начались! Сколько их сыпалось! Было сухо, прозрачно, морозило, и вот в тишине с горы, из-под Медведицы, послышался совсем особенный звук: он начинался свистом, как обыкновенно у пятнистых оленей, а потом, подобно сирене, с очень высокого свиста рев падал быстро, все более и более густым звуком, на самый низ. На другой, противоположной стороне распадка этому свисту-реву ответил точно такой же, и дальше, на Туманной горе, слышно, ревело еще, и дальше — чуть слышно, как эхо нашего рева, и еще дальше — как эхо нашего эха.

Наступило давно ожидаемое нами время. Начался гон пятнистых оленей.

Рев продолжался до утра, и, когда рассвело, мы увидели — на склоне горы, у поляны, стоял большой рогач с заметной черной полосой на спине. Он был очень похож на того Черноспинника, подходившего с другими оленями к ручью, когда я в нем купался. Этот рогач теперь казался издали еще более строгим, чем я видел его тогда. С высоко поднятой головой он тихонько прохаживался, постоянно озираясь по сторонам и как бы ожидая чего-то в тревоге. Потом, вид-

но, что-то случилось в кустах, и он туда со всех ног бросился, а из куста выскочила ланка, помчалась, и он за ней, на хребет. Как раз в этот момент из-за хребта прорвались первые лучи восходящего солнца, весь обмороженный горный камыш засверкал, и сверкание всей горы нас ослепило. Когда мы с Лувеном взбежали наверх, то ланка уже спряталась в табунке пасущихся, как, бывает, в играх резвая девушка успеет скрыться и стать недоступной среди подруг. Но вот из-за этой единственной ланки теперь никому из всего табунка нет больше пропуска. Черноспинник медленно ходит. Он еще ночью где-то выкупался в грязи, вероятно, успокаивая насколько возможно свою мучительную страсть. Живот его судорожно сжимается. Ничего не ест. И видно, никакой отрады, ничего, кроме мученья, не дает ему страсть, и вся жизнь его теперь выходит в почти непрестанном и мучительном реве. Нет ему ни мгновения покоя. Если хоть одна ланка из гарема вздумает немного отбиться, он сейчас же спешит и возвращает беглянку обратно в табун.

Вдруг олени все повернули головы в одну сторону, и там, из-за сопки, начали вырастать чьи-то рога. Черноспинник насторожился, но рога оказались ничтожными: подходил по следу той же самой убежавшей ланки какой-то средний, самый обыкновенный рогач. Черноспинник не стал даже его отгонять, а только поморщил нос, фыркнул, и тот как вкопанный стал на склоне, не смея ни на один шаг продвинуться. Чуялись следы и по ветру и по земле. Оттуда, с горы, по той же самой тропе рогачи проходили, обнюхивая след ее, и шли вперед, как бы кланяясь, исчезая за последней сопкой и вдруг всем показывая из-за нее свои рога. Но все это были такие, что по одной только игре ноздрей Черноспинника останавливались. Показались и дерзкие. Черноспиннику приходилось, сморщив нос, выкинув набок серый язык, бежать на них и прогонять. Были и такие, что их прогонят, а они потихоньку опять начинают наступать, пока сам хозяин гарема не поймет, что нет никакого вреда ему и убытка, если эти поганцы, не шевелясь и довольствуясь лишь пахучим воздухом, будут стоять возле стада. Были молоденькие, со шпильками вместо рогов; те от нечего делать, подражая взрослым оленям, свистели,

храпели друг на друга и лоб в лоб долго упирались, стараясь один другого спихнуть с места. Так мало-помалу наладилась обычная в жизни оленей длительная простота, ланки мирно паслись, укрывая в своем табуне хотя еще и неохочую, но близкую к этому ланку, сайки потешно скрещивали свои шпильки, как бараны, упираясь лоб в лоб, рогачи-ассистенты чинно стояли вполгоры, подчиняясь воле могучего хозяина гарема. И вдруг все стадо, что-то причуяв необыкновенное, повернулось в сторону к той сопке, из-за которой приходили все рогачи по следу охочей ланки. Скоро все увидели, что из-за сопки наверху начали показываться рога — и какие! Рога медленно вырастали, и казалось, все встревоженные олени думали: когда же конец? Но когда вслед за рогами показалась могучая голова с непобедимым лбом, все положение сразу определилось: пришел самый сильный, властелин тайги. Я тоже сразу же догадался, что могучий олень-рогач был тот самый Серый Глаз, на которого с таким восхищением смотрел я в первый день своего прихода в распадок Чики-чики. Он и тогда мне казался в сравнении с другими, и даже с Черноспинником, очень внушительным, но теперь шея у него ужасно раздулась, зимняя серая шерсть из-под шеи висела, как борода, кровяные чувствительные панты теперь стали страшным оружием с надглазными отростками, бьющими насмерть врага. Как и Черноспинник, он весь был в грязи, живот его, грязный, забрызганный своею же похотью, конвульсивно сжимался, — зверь был готов на все, лишь бы только сохранить за собой единственное право на продолжение оленьей жизни в новом поколении, зверь был вне себя. Завидев табун, Серый Глаз остановился только на одно мгновение и сразу все понял, и все поняли сразу его: по всей вероятности, силы рогачей были смерены в боях прежних лет, а может быть, сила просто видна в своем внешнем выражении. Все рогачи, бывшие между стадом и Серым Глазом, так и шарахнулись в сторону. По всей вероятности, у Черноспинника с Серым Глазом были свои старые смертельные счеты и, может быть, неписаный договор о том, что Черноспинник не должен попадаться Серому Глазу, а если встретились, то уж не отступать и биться до всей погибели. Рога, конечно, страшное оружие, но не в рогах все-таки де-

ло — были случаи, комолый олень ломал ребра рогатому. Но рога Серого Глаза показывали скрытую силу. Зато в злых глазах Черноспинника как будто таился замысел устроить силачу ловушку или подвох: «Себя не пожалею, но и тебе будет не сладко!» Серый Глаз, однако, не хочет тратить времени и открыто, загнув голову, бежит и бьет рогами в рога Черноспинника и лбом в лоб. Черноспинник подался, но выдержал и устоял на ногах, а ведь только бы устоять: если упал даже просто на колени, противник успеет, высвободив рога, воткнуть надглазный отросток в бок, в сердце — и тогда кончено. Биться рог в рог, лоб в лоб можно сколько угодно, лишь бы не ослабеть, лишь бы не упасть. И все обещало бой затяжной, изнуряющий, но случилось — во время своего удара Черноспиннику попался под ноги пень, и благодаря упору передних ног в этот пень удалось нанести такой удар Серому Глазу и так неудобно сошлось, что властитель тайги припал на колени. Но Черноспиннику не удалось воспользоваться выгодным своим положением. Поняв смертельную опасность, Серый Глаз мгновенно оправился и с такой силой ударил, что Черноспинник не только упал на передние ноги, но даже и покачнулся, чтоб рухнуть на бок. Казалось, Серый Глаз сейчас же освободит рога и падающему даст в бок с такой силой, что тот, упав, больше уже и не встанет. Так непременно бы и получилось, но вдруг почему-то Серый Глаз стал падать вместе с погибающим соперником, и оба теперь бьются и хрипят на земле, как будто в смертельных конвульсиях.

Трудно было понять что-нибудь в этом событии, но Лувену случалось это видеть, он первый понял, очень обрадовался и бросился как можно скорее бежать за веревками — все это значило, что олени сцепились рогами и, пока не разнялись или не изуродовали себя, мы должны были связать их.

Такая удача, такой удивительный случай!

Но это не дело, если нет счастливого случая, так всегда бывает, а потом приходит случай несчастный... С первого шагу наше дело отлично пошло. Мы сумели связать двух отличных рогачей, в наших руках был властитель оленьего гона, Серый Глаз, и злейший враг его, Черноспинник, и еще четырех рогачей помоложе и двух сайков поймал Лувен в лудеву.

X

Предрассветный час в моем понимании дается человеку взамен того обыкновенного счастья, когда люди, насладившись близостью или, напротив, измучив друг друга попреками, ревностью, предчувствиями чего-то грядущего, страшного или криком больного ребенка, поутру спят как убитые. Эта обыкновенная смена боли и радости, конечно, и во мне происходит, но в счастье этом строится дом, а в предрассветный час, данный мне вместо счастья, я, соединенный со всеми силами природы в единое целое, делаю то незаметное общее дело, благодаря которому счастливые люди, проснувшись в лучах солнца, часто в восторге говорят: «Ах, какое нынче прекрасное утро!»

Я встаю всегда раньше даже Лувена и несколько десятков минут, прислонясь плечом к чему-нибудь твердому, чего-то дожидаюсь и думаю, пока не дождусь решения: дней, до точности похожих друг на друга, как два стула, не бывает в природе, день показался один-единственный раз и ушел навсегда. Вот по мере того как в предрассветный час определяется этот новый, еще никогда не бывалый в своем качестве день, я тоже о чем-нибудь своем согласно думаю, и, когда все сойдется во мне, а извне сложится наступающий день, я выхожу на работу. Впрочем, конечно, бывает — утро как-то размажется, и в нем ничего не поймешь, и мысли не сложатся, и топор мой тюкает просто по-заведенному сегодня, как вчера. Пока на земле еще сумрак, удивительна и необычайна жизнь неба в этом краю осенью и во все зимнее время после непрерывных весенних и летних туманов. По виду зимнего неба с его силой света итальянского солнца при рассвете должна бы открыться земля необыкновенно цветистая, но сибирский ветер все погубил, и весь великий свет обращается к морю, и все оно, весь океан голубеет, и чернеются на голубом разные скалы, и на скалах пинии, эти вечные борцы с тайфунами, всегда разные, ни одна на другую не похожие. Потом, когда свету сильно прибавится и откроется по голубому в бесконечность золотая дорога, то и на земле, если встретится хоть какой-нибудь цвет, всякое маленькое, даже блекло-цветистое пятнышко превращается в самый яркий цветок. Вот теперь от всей моей

зеленой виноградной кущи, где я когда-то встретил Хуа-лу, осталось одно черное дерево, по сучьям своим обвитое черной виноградной лианой, а там, где в шатре было мое окошко, теперь висит лист винограда, быть может, и не очень красный, но при таком свете — как кровь. А вот на безжизненном желтом пастбище показываются пятнами, как блюдечки, покрасневшие остатки листьев азалий, до того заметные и такие живо-красные, что кажутся кровью убитых оленей: пролилось и осталось красным блюдцем.

Вот озаряется утренним светом вся земля: показываются в лощинах скрытые до сих пор уголки оленьего пастбища, дубовые кустарники со свитыми в серую трубочку дубовыми листьями — это зимний корм пятнистых оленей, не умеющих, как северные простые олени, копытить траву под снегом. А что, если эти липовые и дубовые заросли снегом завалит? Чем же мы будем в зимнее время кормить своих оленей? С этой тревожной мыслью больше невозможно стоять, прислонясь плечом к плечу. Мы берем топоры и отправляемся рубить веники...

Лувен дал знать в тайгу, и в нашу фанзу пришли китайские рабочие. В загороженном Орлином Гнезде, где свободно паслась одна Хуа-лу, мы построили питомник оленей со стойлами, со двором для выгула и панторезным сараем. Мы целый день работаем, а вечером я вычисляю, записываю, выдумываю конструкцию панторезного станка, и множество тут надо было, при нужде нашей в железе, гвоздях, проволоке, придумать всего, чем можно бы заменить крючки, петли, винты. С изумлением смотрю я на китайцев, как они в карты играют: если кому-нибудь приходит счастливая карта и банк достается ему, то он не дает себе труда открыть товарищам карты и показать счастливую, — он просто бросает карты вместе со счастливой в общую кучу и загребает банк. Никто и не думает его проверять, обман невозможен. Так прекрасно. А между тем если случится все-таки обман, то обманщика не за ухо потреплют, а просто убьют, и оттого, боясь смерти, никто не позволяет себе обманывать, — как будто и не очень прекрасно... И множество всяких неразрешимых вопросов является; иногда думаешь — оттого нельзя их решить, что для справок нет ни книг, ни людей образованных; на самом же деле, как я по-

том убедился, вопросы эти при справках с чужими мыслями заглушаются временно и отсрочиваются, но не решаются; вопросы эти невозможно решить просто сидя, — решение этих вопросов в деле, согласном со всей переменой во времени. Главное, что меня разделяет с китайцами, это — что я все считаю, записываю и во всем отдаю отчет себе самому. У них же все на доверии и все в памяти. Довольно только того, что я все считаю, все записываю, вычерчиваю маленькие планы питомника и панторезных станков, чтобы все эти люди звали меня капитаном... Почему это? Да, есть много вопросов, таких острых, так необходимо кажется их решение, а между тем справиться негде. Я хотел бы знать точно, какого именно происхождения моя капитанская власть. Является ли эта власть частью моей родины Арсеи, имевшей уже довольно давно над здешним населением превосходства счета, записи и действия, или я стал капитаном в глазах китайцев просто за одно то, что я, европеец, в их глазах являюсь деятелем капитан-капитала... Мне очень много приходит в голову разных вопросов, и невозможность решить их иногда приводит к страданию от одиночества, к такой острой боли, что я лишаюсь способности считать, записывать и выдумывать проекты панторезных станков. В это время старый Лувен всегда мне приходит на помощь, и не прямо, а как-то больше улыбкой всегда сумеет напомнить мне, что мой корень жизни цел и только замер на время: олень копытцем своим наступил на головку ему; пройдет сколько-то лет, и его цвет на стебле непременно поднимется вверх. Я думаю иногда об этом так упорно и долго, что этот корень жизни превращается в легенду, пульсирует вместе с кровью моей, становится силой моей, и вдруг вместо острой боли является такая же острая радость, и мне хочется и Лувена, и всех китайцев-рабочих чем-нибудь тоже обрадовать. На ужасном языке «моя по твоя» стараюсь доказать Лувену необходимость счета и записи для восточных народов, чтобы сохранить все свое для себя и тоже быть капитанами. По доброте своей Лувен и птиц и зверей понимает, а не только меня.

— Твоя считай, — говорит он, указывая на бумагу, — ты это понимай?

— Да, да, конечно, с пониманием.

— А моя считай понимай нет, наша тебе помогай, так и будет хоросе, хоросе: много-много лекарства! Твоя считай, наша тебе помогай!

XI

Когда кончился гон и последняя оплодотворенная ланка ушла зимовать в родные распадки Туманной горы, рогачи, измученные ревом, постоянным хождением в поисках ланок, голоданием, ненавистью друг к другу, теперь как ни в чем не бывало собираются в табунки и отправляются лечиться от ужасной болезни повыше в горы, в кедровники. В то время и мы своих пленников из денников питомника выпустили во дворик, и все они, недавние враги, стали мирно кормиться в длинном корыте, сделанном из одного громадного дерева с пустой сердцевиной. Тут был могучий Серый Глаз — властитель оленей; буковатый Черноспинник с мрачным загадом в глазах; Щеголь — молодой трехлетний олень, собранный весь в струнку, с очень редкими у пятнистых оленей большими карими глазами; Мигун — небольшой, но коренастый и очень добродушный: если посмотреть ему прямо в глаза, то он непременно мигает; Развалистый и Круторогий, по-видимому, родные братья; у всех оленей пятна разбросаны в беспорядке, а у этих белые пятнышки располагались по красной шерсти правильными рядами, наверно, от одной такой же ланки. Молодежь, сайков, мы стали звать почему-то просто Мишутками. Выгул оленей представлял собой не совсем маленький двор совершенно неправильной формы потому что столбами нам служили деревья на корню. И в самом дворике ни одно дерево нами не было тронуто, чтобы в жаркий день пантач мог укрываться в тени. А еще деревья оставались для того, чтобы к ним в случае нужды можно было прибить жерди треугольником, и тогда весь дворик приобретал форму треугольника, вершиной обращенного в узкий коридор с денниками; стоило только нажать на оленей в основании треугольника, и они все бы непременно вошли в коридор с денниками. В конце коридора был панторезный станок: это ящик с подвижным дном, олень в нем проваливается и висит, удерживаясь боками

в подпорных досках, а ноги его болтаются в воздухе. Так можно было каждого оленя во всякое время поймать для срезки пантов или для взвешивания.

Вся долгая и довольно-таки шумная работа китайцев по устройству выгула, питомника с панторезным станком много задерживала приручение Хуа-лу; в это время она со своим Мишуткой забилась куда-то в дебри скал и пряталась между соснами в самом конце мыса. Я там давно уничтожил орлиное гнездо, чтобы хищники не волновали оленей, способных в момент испуга скопом разрушить всякое препятствие и убежать. Когда же на мысу с питомником дело было покончено и снова все затихло, я снес туда, в сосновые скалы, корытца с соевыми бобами и несколько дубовых веников. В скалах есть было нечего, Хуа-лу сильно проголодалась и, конечно, в первую же ночь истребила все бобы и веники. Тогда я передвинул корытце поближе в сторону питомника, еще подсыпал бобов и поиграл немного на берестяном рожке. Вскоре она стала появляться, была вся на виду и, сколько бы я ни играл, все стояла и слушала. Я уже начинал подумывать, что игра на рожке ей доставляет удовольствие, но однажды она осмелилась подойти в корытцу во время игры и, угнув голову, стала есть; с тех пор она постоянно ела и не обращала внимания, играл я или так стоял и наблюдал. Мало-помалу я довел ее почти до питомника, пробовал даже ставить корытце у самых открытых ворот дворика, но, сколько я ни играл на рожке, она войти туда не решалась.

Недолго, однако, пришлось с ней возиться. Настало время, когда и всякий вольный олень, если бы только знал, в каких условиях живут наши пленники, пришел бы сюда и сам стал проситься пустить его к корыту с бобами. Был такой день, когда у нас вдруг совсем неожиданно наступила зима. Случилось раз вечером, я увидел наверху группу скал, похожих на оленей, и залюбовался, принимая эту скульптуру за случайную игру света и тени в горах: были там три взрослых оленя, две ланки, один рогач, с ними саек и два олененка. Все эти различно поставленные головки веером собирались на фоне вечернего неба. И вдруг одна из этих скал, похожая на оленя, шевельнулась, и, мало того, сюда вниз долетел чуть слышный олений свист. Оказалось, это были на такой высоте олени, и тоже

на верху другой щеки были олени, и на высоких ребрах падей Туманной горы тоже, сливаясь в сумраке с горами, везде были олени. Лувен, увидав оленей на горах, сейчас же принялся поправлять сетку, стягивающую тростниковую крышу нашей фанзы: он был совершенно уверен в том, что если олень вечером вышел на гору, то назавтра быть непогоде. Я тоже по какому-то смутному предчувствию ждал событий в природе. Мне казалось неестественным, страшным, что последние дни совсем не отличались друг от друга, как будто это был один-единственный день, отраженный в зеркалах: тихо-тихо, морозно, безоблачно, и жуть оттого, что над совершенно мертвой, в желтом цвете застывшей пустыней светило-то все-таки итальянское солнце сорок второй параллели! Никем не обжитая земля, неизвестная природа! Мне казалось, будто здесь весеннее солнце днем вызывает движение сока в деревьях, а вечером от мороза обманутый сок замерзает, и все дерево от низу до верху разрывается в трещины. Десятки лет, а бывает, и даже столетия под скалой укрывались могучие деревья, и вдруг развалилась скала, стала россыпью, а тайфун расшвырял деревья, как коробочку спичек. А что делают наводнения! И как это странно, что человек, разумнейшее существо в природе, должен справляться у оленя о завтрашнем дне!

С волнением выхожу я наутро в предрассветный час узнавать, что же нам предсказали олени. И когда начало определяться, то вдруг у меня, как у оленя в панторезном станке, под ногами исчезла опора, спутались страны света, времена года: стало очень тепло, появились летние облака, очень светлые, потом темные, прекрасные, добрые тучи, и началась небывалая здесь за все лето отличная наша гроза с громом и молнией. И так было до вечера.

Казалось, олень обманул, как вдруг вечером стало очень холодно, застыла в ведрах вода, и начался снежный тайфун.

Но что делают горы! Между высокими щеками нашего распадка мы спокойно сидим у огня в своей фанзе, слушаем рев и свист и особенный грохот падающих скал: что-то особенно грохнуло у моря, и мы подумали о скале, висевшей над самой тропой. А то вдруг станет совсем тихо, как будто чудовище Тайфун

огромной длины все летело-летело над нами и кончилось хвостом: улетел хвост, и началась тишина. В это время море с великим, каким-то подземным грохотом выкатывало на берег гальку — бесконечное множество своих круглых придонных камней, и скоро эту гальку уводило обратно, и она была недовольна, ворчала и роптала. Море успело так выкатить свою гальку и увести ее обратно раз десять, как вдруг со всем свистом и ужасом, все заглушая, вернулся Тайфун и опять в черноте над нами долго летел, пока вот опять послышался с моря гул и ропот: накатывало гальку и уводило, а Тайфун в это время повертывался...

Не будь благодетельных гор, наша фанзочка взвилась бы вместе с нами, как фазанье легкое перышко, и все бы олени взлетели, и барсы, и тигры. Но звери еще накануне почуяли опасность и переходили в заветренные места. Там, в оленьих отстоях, они стояли в совершенном безветрии и даже от нечего делать стоя заламывали сучки на деревьях. Не раз на охоте в горах я видел эти оленьи отстои, узнавал их издали и по заломам, и по набитой земле. Но, конечно, мы это предусмотрели и питомник устроили так, чтобы тайфун совсем не задевал наших оленей. Но было страшно думать о Хуа-лу — весь мыс Орлиное Гнездо продувался, и укрыться можно было только в одном отстое, где был устроен наш питомник: она могла спастись только в нем.

Мой предрассветный час в тот раз помог глазам моим мало-помалу привыкнуть к белому, но и то глазу почти невыносимо было потом сверкание снега при свете итальянского солнца. С меньшей силой, но тайфун продолжался, а нам непременно надо было пробраться в питомник и спасти Хуа-лу. Мы шли между сопками, опасаясь встречи с ветром точно так же, как при скрадывании зверей на охоте, и след наш теперь так странно оставался на снегу. Быть может, где-нибудь теперь и голодный тигр выходил и тоже оставлял свой тигровый след на снегу? Или он предпочитал голод этому ужасу — видеть свой след на снегу? Снег ложился, конечно, только в лощины, на обдувах по-прежнему волновался желтый горный камыш, но переходить эти обдувы нам было трудно: мы их переползали, как ящерицы, и нас таких, ползущих, тайфун хотя и хватал, но не мог оторвать от земли. С последнего

обдува мы увидели весь мыс Орлиное Гнездо и порадовались нашим оленям, спрятанным в стойлах, а Хуалу со своим Мишуткой стояла в лощине против питомника с таким видом, что вот только ждала, как бы кто-нибудь открыл бы ворота и пропустил ее во дворик. Она там, в лощине, и ушами не повела, когда мы открыли ворота и вошли. Я взял корытце, так хорошо ей знакомое, насыпал туда бобов, поставил на середину дворика. Зацепив ворота веревкой, чтобы можно было потянуть и закрыть ворота, мы с Лувеном зашли в пустой денник и для света чуть-чуть приоткрыли выдвижное окошко. В эту дырочку я стал направлять звук своего берестяного рожка, а Лувен держал веревку, чтобы дернуть за нее по моему приказанию. При первых звуках рожка у ней подобрели, уменьшились глаза, уши, обычно столь строгие, разошлись кое-как в разные стороны; вытянув шею, она стала перебирать ноздрями и сделала первый маленький шаг. Я еще поиграл, она еще раз ступила, и еще, и еще. У самых ворот она остановилась, впала в раздумье, а я нарочно молчал, чтобы она не очень привыкла к зову. Лучше рожка ее манили сами бобы, теперь уж ей хорошо видные. Помолчав, я вновь заиграл и все этим решил: она тронулась, подошла к корыту, поела немного, и тут я сделал знак Лувену. Он осторожно потянул за веревку, и ворота закрылись для нас совершенно неслышно. Она же, конечно, услыхала, обернулась, поставила уши рожками. Ей не показалось странным даже, что ворота были теперь закрыты, ее занимал один вопрос — можно ли беспрепятственно есть бобы? И когда она в этом уверилась, то опять нагнула голову к корыту и стала черными своими губами хватать понемногу приятные желтые бобы.

XII

Не раз приходило мне в голову во время зимы сходить посмотреть зимой на женьшень. С трудом я представлял себе эту жизнь под снегом нежнейших из самых нежных растений субтропиков. Как мог этот корень пережить всю перемену южного климата в такую ужасную сторону? Мне тоже очень хотелось видеть и самую Певчую долину под снегом, послушать

ее тишину без птиц и летних музыкантов — кузнечиков, но такая была работа зимой по уходу за оленями, что так и не удалось собраться. Мы занимались кормлением, чисткой денников. Я не могу все-таки сказать, чтобы тот черный труд мне прискучил. У меня никогда не проходило особенное чувство к Хуа-лу, как будто это был не просто олень, а еще цветок, притом особенный, связанный самому мне еще непонятными возможностями моей собственной, еще не раскрытой личности. Да и все другие олени, и все это возникающее большое новое дело было и моим личным делом, и в то же время для себя я от него ничего не ждал и на будущий доход наш смотрел, подобно Лувену, как на какое-то лекарство для будущих, мне еще неизвестных людей. Мне же лично самое дело было лучшим в мире лекарством. Целыми часами я следил иногда, как Хуа-лу переводила ушами в разные стороны, и я потом смотрел туда, где она слышала; бывало, долго гляжу, пока это не завижу своими глазами. Случалось, орел пролетел или волк проходил, и тогда ее длинные слезницы под глазами расширялись, и от этого ее и так-то прекрасные большие глаза становились огромными. Хуа-лу теперь я не только мог во всякое время гладить между ушами, но даже приучил ее к нашей Лайбе: собака всегда присутствовала во дворике при общей кормежке оленей. И все олени к ней очень скоро привыкли и не обращали на нее никакого внимания. Не совсем равнодушна к Лайбе из-за своего Мишутки была одна Хуа-лу. Она отлично понимала, что Лайба не посмеет тронуть олененка, но инстинкт матери заставлял ее все-таки постоянно коситься на нее во время еды, и при всяком удобном случае она старалась собаку подальше отогнать от себя. Лайба, однако, была так увертлива, что ланка никогда не могла попасть в нее своим острым копытцем. Только раз было Лайбу укусила блоха, и, как в таких случаях поступают собаки, вдруг она забыла все на свете и, сосредоточив свое злобное внимание на одной блохе, стала, сморщив нос, зубами по брюху доходить до блохи, а задние ноги торчали. Это заметила Хуа-лу, подбежала к собаке, подняла переднюю ногу... В то же самое время все олени, Мигун, Развалистый, Круторогий, Щеголь, даже Серый Глаз, даже Черноспинник, бросили есть и с интересом смотрели. В то время я уже на-

чинал понимать их смех, как у них бывает не на щеках, а в глазах что-то мелькает, и особенно было заметно это шаловливое выражение глаз у Хуа-лу, когда она подняла вверх переднюю ногу и с наслаждением легонечко тюкнула Лайбу. Что тут было!

Зима была страшна не так морозами, как сильными холодными ветрами. Ни на вершинах гор, ни на ребрах их снег не держался, злые ветры, тайфуны, его сдували, но в лощинах, падях, распадках и горных долинах снегу было довольно, и только благодаря следам на снегу я однажды раскрыл план нападения красных волков и угостил их свинцом. Снег открыл мне раз, что в той самой Барсовой пади, где я застрелил леопарда, жила его самка с двумя барсятами. Раз по намерзи вверху дерева я догадался, что внутри его спал медведь, как оказалось — небольшой, белогорлый. Пришлось однажды видеть на снегу след тигра.

Когда начались сильные холода с ветрами, все олени с сиверов перебрались на солнцепеки и тут кормились в дубовых кустарниках. Умей они, как северные олени, копытами разбивать снег и доставать себе сухую траву, страшной для них могла быть только одна гололедица. Но эти реликтовые звери, по-видимому, не сумели всесторонне приспособиться к суровому климату, и при глубоких снежных завалах, в которых исчезают кустарники, они становятся беспомощными существами. Трудно им было! Всего оставалось до весны перебыть какую-то неделю, и вот одна беременная ланка не дотянула, погибла от истощения. Не будь у нее плода, она, конечно бы, осталась жива.

Когда при первых весенних туманах обнажились от льда верхние обдувы и на них показался вкусный мох, одна молодая ланочка вышла туда покормиться и наступила на снежный надув, висящий глыбой над морем. Глыба, подморенная весенними туманами, рухнула, но, не будь гололедицы, проворная ланка успела бы одними передними ногами выбросить свое тело наверх. Теперь на ледяном крае остались от копыт только царапины. Разбитая ланка лежала на камнях у самого моря: добыча лисиц, барсуков, енотов, а может быть, и самого осьминога.

Много жизней погибло в это трудное переходное время от зимы к лету. Одна ланка, став на задние ноги, доставала себе сухие листки с молодого дуба. Ве-

роятно, от гололедицы задние ноги ее поскользнулись на своих твердых копытцах, и ланка, падая, попала своей шеей в развилину дуба, и так я нашел ее тут висящей. Еще было, рогач скакнул через дубовый куст. Сложенный из многих тесных стволов, куст пропустил тело оленя, но задние ноги у самых копыт зажало. Да, много и у них бывает несчастных случаев, и больше всего, как я заметил, оленя губит испуг...

Весна — это дождь и туман. Редко бывает, на какой-нибудь час покажется солнце, и то успеет наделать много беды: обманутые теплом деревья начинают жить, а вечером поднятые соки замерзают и рвут древесину.

Невидимо в тумане расплывается и разбегается ручьями снег на горах. Невидимо поднимаются потом могучие травы. И только по слуху можно догадываться о великом перелете птиц. Неделя, две проходят в густейшем тумане, ничего, кроме фанзы, не видно, и вдруг выпал счастливый день: в солнечных лучах открылись зеленые сопки, и — до сих пор была тишина — вдруг во всех сторонах закричали фазаны.

Олени начали сбрасывать старые рога. Сильные рогачи сбросят их раньше, зато у них раньше и новые начинают расти, и к гону они раньше бывают готовы. Много раз в зимнее время Лувен мне рассказывал о каком-то бессмертном олене, который будто бы никогда не меняет рогов. Все легенды и сказки Лувена мне были дороги своим каким-то исходным верным основанием; всегда, слушая его легенды, я старался перевести на свое понимание и добывать из них полезный мне смысл. Вот так вышло и с бессмертным оленем. Когда все олени сбросили рога, и начались первые отелы у ланок, и нельзя было думать о каком-нибудь олене со старыми костяными рогами, я однажды увидел с горы — на пастбище одиноко пасся бессмертный олень с ветвистыми костяными рогами. Мне нужно было разгадать тайну бессмертия оленя, и оттого я, решив вообще никогда не стрелять пятнистых оленей, в этот раз не пожалел убить одного и послал свою пулю. Тогда тайна несменных рогов сразу же и раскрылась: по всей вероятности, во время весенних боев на гону этот рогач потерял свои половые органы, и молодая жизнь, напирающая из-под низу на старые рога, прекратилась, живые рога не росли, а мертвые, костяные, оставались без перемен. Но там,

где нет перемен и в старом все остается по-старому мертвым костяком, легче всего видеть бессмертие, да, пожалуй, это самый понятный для всех и правдивый образ бессмертия: мертвые бессменные костяные рога. Я, конечно, все рассказал Лувену, показал костяные рога и зарубцованное гладкое место у оскопленного рогача. И конечно, Лувен ответил, что это не тот олень, что бессмертный остается бессмертным, и пулей его не убить. Мне в это время мелькнула горькая мысль, что в легендах своих сам Лувен похож на рогача с несменными костяными рогами. Мне было горько, потому что поневоле и как будто даже из-за самого главного и не по существу, но все-таки я лишился общества этого лучшего человека, наши пути тут расходились, и я оставался один, и с человеком прекрасным мне чего-то не хватало, как ни люби, как ни сближайся, а все-таки непременно с ним остаешься один и своим высшим и для себя-то, может быть, и лишним добром с ним обменяться нельзя.

Наши олени, конечно, как и на воле, постепенно один за другим сбрасывали свои старые рога. Первым сбросил Серый Глаз, вскоре за ним Черноспинник, потом Мигун, Щеголь и братья — Развалистый и Круторогий. После того как рога были сброшены, Мигун однажды подошел ко мне с особенным своим писком, согнул свою голову, как будто собираясь поддеть меня на несуществующие рога. Я догадался почесать ему коронки: там, как мне казалось, непременно ему должно чесаться. В этот раз ему очень понравилось. В другой раз он издали, заметив меня, с писком бросился и чуть не сбил меня с ног. Я почесал, и мы разошлись. Но в третий раз, разбалованный, подбежал с видом как бы приказания: хочешь — почеши, а нет — я сам почешусь! Конечно, я не стал подчиняться нахалу, а он, желая сам почесать рога об меня, с такой силой ударил меня лбом, что я не только упал, но даже и отлетел к самому забору. Поняв теперь мое ничтожество, Мигун налетел на меня, и, конечно, он бы ударил меня еще раз так, что я не встал бы. Но в этот момент, когда он нагнул голову для удара, я понял свое положение, мгновенно схватил левой рукой его правую ногу повыше копыта, а правой дал ему в бок с такой силой, что он повалился. Но мало того! Я успел выхватить из забора жердину и так откатал

его, что он с этого раза и навсегда сделался смирным. Он по-прежнему мигал, посвистывал, подставлял коронки для почесывания, но стоило мне только погрозить ему пальцем, и он отходил. Другие рогачи все оставались дикими и не пускали близко к себе.

Много мне пришлось повозиться с весами, но все-таки в конце концов я их смастерил и соединил весы с панторезным станком. Когда олень вступал в этот ящик, я нажимал рычаг, и дно станка превращалось в весы. Для опытов я назначил двух, совершенно сходных, — Развалистого и Круторогого. Одного, Развалистого, я кормил, как свинью, концентрированным кормом и сколько он только может съесть. Другого, одинакового с ним весом оленя кормил нормально, как всех. Цель моего опыта была узнать, какой лишний вес пантов даст раскормленный олень и нельзя ли таким образом мало-помалу добыть панты большого, неслыханного в Китае веса. И по мере того как время шло и вырастали панты, мне и на глаз даже было видно, как отлично они наливались кровью у кормленого, как они прекрасно просвечивали своим персиковым цветом и как славно серебрились на них волосики. Да и мало ли у меня было планов? Но самый главный план, моя страстная мечта была в том, чтобы, наработав дорогих пантов, продать их, купить на эти деньги много проволоки и такой проволочной сеткой отрезать от материка всю Туманную гору со всеми ее оленями и врагами их: леопардами, волками, енотами и барсуками. Я представлял себе мое пантовое хозяйство в четырех формах: первое хозяйство — это мой домашний питомник, где пантачи содержатся в неволе до срезки пантов и потом выпускаются во второй отдел, в полупарк, на мыс Орлиное Гнездо; третий отдел — парк Туманная гора; и, наконец, примыкающая к Туманной горе тайга — как постоянный резерв диких оленей. Я мечтал дальше, что я в своем новом деле приручения новых видов диких животных окружу себя по рекомендации Лувена китайцами, подобными ему, и сделаю так, чтобы они, оставаясь внутренне независимыми от соблазнов цивилизации, сами бы становились, как европейцы, капитанами и могли постоять за свое.

Может быть, я еще и о многом мечтал, но все эти мечты были, как я их потом стал называть, досрочными. В этом надо всем нам сознаваться, что есть сроки

жизни, независимые от себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, — пока не создались условия, пока не пришел срок, все твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией. Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень женьшень где-то растет, и я своего срока дождусь.

XIII

Летняя жаркая сырость. По ночам всюду летают огни. По утрам большие пауки заплетали кустарники, травы; ходишь в тайгу с палкой, расчищая впереди себя паутину. Если случится — утром выглянет солнце, то за один этот час прощаешь недели туманов. Тогда каждая сетка паука, непременно при такой сырости покрытая мельчайшими, одна к одной каплями, превращается в жемчужное тканье удивительной красоты. Случилось в такой час, что ланка пришла к тому камню, где я отдыхал, легкий ветерок обманул ее, и я, лежа вверху на камне, мог наблюдать это в оленьей жизни большое событие. Олененок родился таким же пятнистым, как мать, и эти пятна среди солнечных зайчиков до того укрывали и мать и олененка, что можно было рядом пройти и ничего не заметить. С отелу олененок не мог стоять, и она легла и долго билась над тем, чтобы верно подсунуть вымя к его голове и так подсказать ему. Немало времени прошло, пока теленок понял и начал сосать. Когда ей показалось, что он достаточно окреп, она поднялась, и он тоже поднялся и пробовал стоя сосать, но был еще слаб, покачнулся и лег, и тогда она тоже легла, но больше не подвигала к нему вымени: теперь он сам знал. В это время мне захотелось неудержимо кашлянуть; как я ни бился, как я ни закрывал рот, этот сдержанный кашель она услыхала, встретилась со мною глазами и в одно мгновенье, не успев даже свистнуть, исчезла. Испуг матери передался маленькому, но, конечно, бежать он не мог, а прилег к самой земле и затаился. Мне кажется, что рассмотреть его, не зная вперед, было невозможно. Желая скрыться, уничтожиться, исчезнуть с глаз врага, он как будто сам поверил в неразгибаемость своего тела, и когда я поднял его, то он в таком скорченном виде и остался, и я по-

ложил его обратно, как вещь. Жаль мне было оставить его, но у нас с Лувеном не было коровы, Лувен не пил молока и говорил: «Если пить молоко, то ведь корову надо будет своей мамой считать». Но из этого опыта на будущее время я для нашего дела нашел ценную мысль: в будущем, когда у нас заведутся коровы, мы будем ходить в тайге с Лайбой во время отела и легко находить таких каменеющих телят; выхоженные из таких телят олени, наверно, будут совершенно домашними животными.

Пока ланки растеливались, у пантачей подрастали панты, и мало-помалу у ланок и пантачей началась одинаковая забота: ланка бережет своего олененка, а пантач бережет чувствительные и нежные панты, способные даже при самом легком ударе превратиться в кровавую лепешку. Серый Глаз по росту пантов заметно был впереди, и было одно утро, когда Лувен, посмотрев на эти панты, наверно, не менее часу, сказал:

— Нынче наша резать будет!

И мы стали готовиться к этому большому и рискованному делу: панты Серого Глаза, по словам Лувена, стоили не менее тысячи иен лекарства! Но главное было не в лекарстве, а в самом олене: при неудаче испуганный олень не знает препятствий, он не только панты превратит в красные лепешки, но себе ноги поломает, если только не разрушит препятствие. И нам не у кого было учиться. Сам Лувен срезáл панты в старину варварским и тоже рискованным способом: китайцы просто связывали и валили оленя.

Приступая к делу ужасно рискованному, мы выпустили всех оленей во двор, и в деннике остался один Серый Глаз. Если теперь из денника выпустить оленя, то ему из коридора один ход — в панторезный станок; другой выход из коридора прегражден подвижным висящим щитом. В этом щите есть дырочка, и Лувен, стоящий сзади щита, видит в нее, как я открыл денник и выпустил оленя, а сам ушел в другой конец коридора и там схоронился, как и он, за прикрытием. Я тоже, как Лувен, смотрю в дырочку, в руке у меня ручка от рычага: как только олень войдет в станок, я нажму на рычаг, он провалится, а боковые, обитые мягкой циновкой доски подхватят оленя за бока, и так он останется в воздухе, болтая ногами. Но до этого

далеко. Серый Глаз, выйдя из денника, стоит неподвижно в полутемном коридоре: то место, где он обычно выходит на двор, теперь закрыто щитом, а идти в другую, неизвестную сторону очень не хочется. Как быть? Тогда Лувен начинает тихонько нажимать на щит и продвигать его. Олень в колебании — идти в опасную сторону или броситься на щит, разбить его, может быть, разбить и себя. Щит приближается, из-за него слышится знакомый ласковый голос:

— Мишка, Мишка!

Лувен всех оленей одинаково зовет всегда Мишками.

Серый Глаз успокоился, решил идти осторожно в опасную сторону. Пройдет и остановится. Лувен нажмет, он еще немного пройдет, и так все ближе и ближе к тому месту, где пол под ним вдруг провалится. Самое страшное, как бы он перед самым станком не понял хитроумной придумки. У него есть еще один выход — просто лечь на пол, и тогда мы почти что бессильны, потому что взять насильем нельзя: ему стоит только прыгнуть — и тогда все пропало. Такая тишина, только чуть-чуть поскрипывают блоки. Наступает момент, когда оленю остается только лечь или рискнуть. Вот передние копыта наступили на живой пол, теперь щит подкатился вплотную и смело нажал. Я нажал на рычаг, что-то грохнуло, и в один момент Лувен, открыв дверцу щита, бросился в станок, сел для верности верхом на оленя, зажатого боковыми досками. Тогда я вышел наружу, поднял колпак, закрывающий станок, и примотал голову беспомощного пантача к планке, распирающей стенки станка. Операция срезки очень болезненна, кровь брызнет фонтаном из-под рук, но боль мгновенна. Молодой олень орет и в ужасе закатывает глаза, но старый гордый олень часто и виду не покажет. И вот какой олень был Серый Глаз: в том ужасном положении, когда ноги болтаются в воздухе и им совсем не за что и не на чем установиться, когда для дикого оленя все погибло, притом с боков чем-то плотно прихвачено, на спине сидит один человек, а другой срезает радость жизни — панты, и это все равно что на глазах матери убивать дитя, — в таком положении Серый Глаз не только не крикнул, но и глазом не повел, и я, видя пример властителя оленей, сохраняю для себя это

как идеал: я видел сам и знаю, что унизительных положений нет, если сам не унизишься.

Срезав панты, я развязал оленю голову. Лувен соскочил. Я нажал рычаг, опускающий боковые доски, олень провалился в яму до дна и, получив там опору ногам, как снаряд, вылетел из ямы во дворик. Не проходит после того десятка минут, пока мы рассыпаем в общее корыто бобы, как Серый Глаз уже не чувствует боли и вместе с другими оленями, комолый, жует себе бобы. После трудного дела такая радость охватила меня, что я даже обнял своего Лувена, и он, старый, прослезился от удовольствия.

Вот в то самое время, как мы праздновали победу, страшная беда прокралась к нам в виде маленького, полосатого, очень похожего на белку зверька. Этих бурундуков везде здесь было так много, что я не обратил теперь никакого внимания на одного, изо дня в день собирающего у нас бобы под корытом. Случилось теперь, что боб лежал возле самого копытца Хуа-лу, бурундук прибежал его взять, но как раз в этот момент Хуа-лу переставила копытца и, сама того не чувствуя, прижала к земле хвост бурундука. Зубастый грызун, конечно, ответил тем, что впился в ногу Хуа-лу, та вздрогнула, глянула, и тут представилось, наверно, бог знает что! Так бывает в битком набитом театре, когда кто-нибудь крикнет: «Пожар!» — люди, в точности как звери, почуяв смертельную опасность, ничего не помня, кроме себя, бросаются. Так ужас Хуа-лу передался всем оленям, и все они, семипудовые, сложенной силой в полсотни пудов, притом бросив эти полсотни пудов с силой всех своих ног, конечно, в один раз разнесли забор вдребезги и очутились на воле. Грохот падающего забора, царапины, боль, причиненная ударом о забор, — все это, наверно, для Хуа-лу было нарастанием полосатого черта на ее ноге. Она мчалась, раздувая во всю мочь свою белую салфетку, показывая путь другим, и все мчались за ней, и каждый передний следующему за ним показывал свою салфетку, и за всеми ними мчался, подхлестывая, невидимый полосатый черт Бурундук.

Как я потерял себя и как может потерять себя человек! Я бросился в горы искать оленей, как будто бы напуганных диких зверей можно найти. Где только я не бродил; нигде их не было, но к вечеру, в сумер-

ках, вдруг всех их я увидел высоко над собой, на скале. Повернув голову в другую сторону, я там на другой скале тоже увидел оленей, и так везде было, и у нас в распадке на щеках были все олени и олени. Я чуть с ума не сошел, и добрый Лувен всю ночь не мог ничем меня успокоить.

XIV

От всяких неудач и дурных настроений я придумал себе верное средство — в предрассветный час выходить из фанзы и, прислонясь к чему-нибудь твердому, сосредоточивать себя на мысли, что мой корень жизни растет, что для этого нужен срок, и оттого не надо никакой беде поддаваться, а всегда встречать беду как неминучее и думать о сроке, что непременно рано или поздно срок моих достижений придет. Мне казалось, что я этим повседневным упражнением развил в себе сильную волю и навсегда обезопасил себя от позорной слабости перед бедой. И вот при первом серьезном столкновении с жизнью мой хорошо придуманный, но мало испытанный прием изменил мне, и я до того расстроился, что забыл про женьшень.

На развалинах своего питомника пятнистых оленей сижу я с Лайбой, время от времени наигрываю в свой олений рожок. Мне пришло в голову, что будь я хоть сколько-нибудь суеверный человек, расположенный понятное и простое, но трудно выносимое объяснять себе какими-нибудь непонятными причинами сверхъестественного происхождения, — как не подумать мне тогда о Хуа-лу, что это ведьма, завлекающая меня красотой своей: она превратилась на моих глазах в прекрасную женщину и, когда я полюбил ее, вдруг исчезла. А когда я наконец-то с большим трудом начал справляться, своей мужской творческой силой расширяя заколдованный круг, вдруг та же самая Хуа-лу разбивает все это вдребезги. И в конце концов появляется какой-то полосатый черт Бурундук. Так вот с отдаленнейших времен нарастает на человеке эта защитная рубашка суеверия: ведьмы и черти сменяются вещами, обстановкой, форматами, и только дети, одни только дети, остаются живыми...

И много всего такого проходило в моей опечаленной голове в упадке жизненной волны. А новая волна была не за горами. Лайба давно поглядывала как-то странно назад и потом на меня, как будто там, назади, происходило нечто обычное, из-за чего не стоит беспокоиться, но все-таки там не просто было «назади», а что-то происходило. Почему-то я молчаливому указанию собаки не придавал значения и занимался своими меланхолическими думами до тех пор, пока прямо сзади меня не послышался явный шорох. Тут я оглянулся, и... сзади, возле самого меня, стояла Хуа-лу с Мишуткой и подбирала рассыпанные на земле во время разгрома соевые бобы. Что же это за радость была! Но мало того! Бурундук, и не один, а штук пять полосатых чертей, больших и маленьких, тоже усердно занимаются соевыми бобами. Так вот сколько раз у меня в жизни бывало — только-только начнешь прибегать к мудрым толкованиям, к таинственным и далеким силам для понимания и облегчения своей беды, как вдруг жизнь сама перед тобой раскроется и тебе, своему любимцу, из себя самой такой подарок представит, что прямо без памяти ржешь и орешь, и мед на усах, и хвост пистолетом. Никогда не забыть мне этого часу, как солнце вышло из тумана и вся орошенная паутина засверкала бриллиантами, жемчугом, и сколько тут было цветов, и какие! Там в жемчужных бусах азалия, там в каких-то алмазных чепчиках саранка и лилия, там строитель серебристой ниточкой захватил этот белый и нежный цветок эдельвейс и тоже притянул его к своему строительству утренней радости. Такое богатство драгоценных камней только в арабских сказках можно найти, но и их удивительная арабская фантазия не могла создать такого богатого, такого счастливого калифа, как я.

Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой женьшень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья! Вот сколько же было у меня оленей, и какие! Вспомнить только, как вел себя под ножом Серый Глаз! Но разве я радовался когда-нибудь им всем, как обрадовался бешено, когда пришла одна Хуа-лу! Можно бы подумать, что я в то время понимал, что с помощью Хуа-лу я могу пере-

ловить множество оленей, и оттого так обрадовался. Совсем нет! Я обрадовался потому, что разлука с оленями раскрыла мне самому, какие силы вложил я в это дело, я обрадовался потому, что мог теперь снова начать свое необыкновенно прекрасное строительство. Вот мы теперь скоро и радостно с Лувеном заделываем забор и так надстраиваем, чтобы никак не могли олени опять перепрыгнуть и завалить, даже соединенными силами. Теперь мне мало-помалу становится понятным, что приход Хуа-лу из дикой тайги на олений рожок значит для моего дела гораздо больше, чем обладание всеми исчезнувшими рогачами. Я теперь без всякого риска делал ежедневные опыты: утром выпускал Хуа-лу на вольное пастбище, а вечером вызывал ее оттуда оленьим рожком. Мало того: в каждый призыв, давая какое-нибудь заботливо приготовленное лакомство и ей и Мишутке, я добился того, что в любой час дня стоило мне заиграть — и она рысью бежала по сопкам к питомнику.

Так мало-помалу время опять стало приближаться к осеннему гону, и однажды нечаянно я вдруг догадался, как надо мне действовать, чтобы возвратить к себе своих оленей, а может быть, и новых добыть. Было раз, на сопку против Орлиного Гнезда пришел табунок ланок, и с ними был почему-то Развалистый с большими костенеющими рогами. Время осени было раннее, еще даже изюбр не ревел, но и у животных, конечно, как и у людей, бывают баловники. По всей вероятности, хорошо мною раскормленный для опыта олень раньше срока стал баловаться и, может быть, приставать безуспешно к еще совершенно по времени девственным ланкам. Наблюдая из-за прикрытия Развалистого, я выждал время, когда он был за сопкой, открыл тихонечко ворота питомника, насторожил веревку ловушки и выпустил гулять Хуа-лу. Она весело побежала к табуну, но тут ее заметил Развалистый, подбежал к ней и встретил. Возможно, у них уже некоторая дружеская связь была между собой благодаря необыкновенной для оленей жизни в питомнике. Но она, конечно, позволяла себя обнюхивать до известного предела: как только раскормленный рогач перешел границу, она ушла от него и скрылась в табунке ланок. Времени прошло около часу, она забыла про Развалистого и вышла из табунка. Не успела она

стойти, как он тут опять с неприятным своим приставанием. Ей тогда ничего не оставалось делать, как опять бежать в табунок, но я нашел этот момент самым выгодным для себя и, лежа за камнем в заветрии, крепко сжимая конец веревки в руке, заиграл в олений рожок. Тогда она сразу, со всех ног бросилась, и я не ошибся в расчете, он тоже бросился за ней со всех ног. И у него не только ни малейших сомнений не было, когда он вбегал в ворота, но, даже когда закрылись они за ним, он не обернулся и, мало того, ничуть не смутился при моем появлении.

С каким же нетерпением стал я дожидаться времени, когда начнется гон пятнистых оленей. Постепенно румянились листья винограда, вспыхивали огни мелколиственного клена, и однажды, после небольшого тайфунчика, в тишине, в звездную ночь родился мороз, и в ту же самую сентябрьскую ночь опять, как и прошлый год, в той же самой стороне, на той же самой горе заревел первый изюбр.

Прошло еще две недели в ежедневных, глазу заметных переменах. Поспел виноград. На желтых пастбищах закраснелись блюдечками приплюснутые к земле умершие азалии, и все пастбище стало как будто после боев с пролитой кровью оленей. Тогда опять ночью в таинственной тишине, там, где черный хребет пересекается хвостом Большой Медведицы, заревел первый олень, и ему, как эхо, ответил другой, этому эху — еще более отдаленное эхо. Самое главное мне было теперь, после того, как начался рев, не упустить у Хуа-лу тот день, когда всякая ланка начинает на следах своих оставлять запах, ужасно волнующий всех рогачей: почуяв его по ветру издали или прямо перед собой на земле, они перестают есть, идут и в поисках ее ревут. Чуя этот след, рогачи готовы на смертный бой из-за ланки, но сама ланка в такой же день хочет играть, и больше ничего: проворная ланка сама станет первая заигрывать с неопытным или тупым рогачом, а когда он, воспаленный, бросится к ней, то она побежит во весь дух, как будто уверяя его, что этот брачный пробег и есть самое лучшее и все единственно ценное в ланке. Благодаря тому, что Развалистый был пойман вновь и жил у меня, я мог до точности верно узнать тот день, когда Хуа-лу будет именно в таком состоянии, чтобы шалить и бежать, но никак не давать-

ся грязным, забрызганным своей собственной похотью рогатым быкам.

Настал же наконец такой вечер, я заметил первые признаки. Беру Хуа-лу на веревочку и медленно очень знакомой тропой иду с ней вокруг Туманной горы. Наступила лунная ночь, везде слышался рев, а иногда откуда-то долетал до слуха сухой треск от ударов костяных рогов. Лунной ночью почему-то олень не очень боится, и часто я вижу совсем близко от себя то рога, то белую салфетку. И так близко, случалось, ревел рогач, что это был уже не рев, как издали кажется, а множество разнообразнейших звуков, хотя все они говорили, как и отдаленнейший рев, только о страдании: мучительный хрип, стон, крик. Вместе со своей Хуа-лу я чувствовал в себе какую-то глухую неприязнь к этому, вблизи совершенно безобразному реву страсти самцов, но среди этих грубых звуков была одна нотка наивной, почти что детской обиды и нежно-смиренной просьбы сочувствия. По-человечески мне так представлялось, что и Хуа-лу была внимательна к реву только из-за этой просьбы сочувствия к страданию и что она из-за этого именно и готова была теперь с любым рогачом поиграть и побегать. Она часто останавливалась, прислушивалась, вздрагивала и, конечно, оставляла везде свои заметки. Тихий ласковый ветер обнимал Туманную гору, и в то мгновение, когда рогач чуял Хуа-лу, он переставал реветь и шел на ветер до следа, но рядом со следом желанным он чуял след самого ужасного зверя и останавливался в глубоком недоумении, забывая даже реветь. Да, у них есть чутье, о котором человек теперь совершенно забыл. Я по той жалобной нотке догадываюсь, что в их чутье, как у нас теперь осталось с цветами, первоначально даже дается какой-то образ красоты, хотя бы на одно только мгновение независимый от самой страсти, и когда вслед за тем страсть врывается и в одной красоте ничего для себя не находит, то вот у нас музыка, а у них рев...

Так, вероятно, много рогачей по ветерку, обнимающему Туманную гору, учуяв Хуа-лу, переставали реветь, шли на ветер и, встретив ужасный след человека, смущенно останавливались, долго стояли на месте, а потом осторожно шли все-таки вперед, по следам и заметкам.

XV

На рассвете родился мороз. Я ввел Хуа-лу в питомник, насторожил ворота-западню и в заветрии, из-за камня, стал ждать событий на сопках, расположенных одна за одной до Туманной горы. Воздух, чуть-чуть морозный, был совершенно прозрачен, и море, совсем голубое, охватывало Туманную гору, а горный камыш в белых кружевах от мороза на голубом все хорошел и хорошел. Мало-помалу с прибавлением света до того становилось красиво, что как будто от этого в глубине меня начиналась острая боль, и такая, что вот бы немного еще, и я, как олень, подниму голову вверх и зареву. Так отчего же, если кругом так прекрасно, является эта как будто смертельная боль? Или, может быть, я, как олень, при виде прекрасного жду чего-то приятного и, не имея его, страдаю и тоже вот почти готов реветь, как олень?

Когда везде стало видно и все заблистало, на косых оленьих тропах Туманной горы показались там и тут рогачи, сначала издали маленькие, как мухи, а потом побольше, на время совсем исчезали в боковых распадках между падями и показывались из-за первой сопки, потом из-за второй, а когда рогач забирался на последнюю сопку, то вырастал из-за нее рогами — так и казалось, будто из-под земли вырастают рога. На сопке против Орлиного Гнезда стояла единственная пиния, закаленная в постоянной борьбе с тайфунами, вся-то она была в узелках, и каждый узелок — след удара тайфуна — держал победоносную веточку с длинными темно-зелеными хвоинками, да и самый-то ствол был весь в искривлениях, но все-таки это был победоносный высокий ствол, и тень от него по желтому пастбищу с кровавыми пятнами умерших азалий лежала протянутая до самой лощины с густой зеленой травой и дубовым кустарником. Эта лощина была как маленькая падь: все больше и больше углубляясь, она доходила до самого моря, и на дне, в камнях, то показываясь, то исчезая, бежал самый маленький ручеек. Вот в этой лощине и пасся теперь табунок ланок с сайками, и еще тут были два рогача, очень темные и спокойные, они не ухаживали за ланками, не ели, не ревели, а просто неподвижно стояли вроде каких-то монахов-созерцателей. Из-за сопки к дереву с падаю-

щей тенью вышел необыкновенно огромный олень с чрезвычайно важной осанкой и в то же время без рогов. Странное впечатление оставляет этот олень с царственной важностью властелина оленей и в то же время вместо рогов с небольшими шишками на голове. Серый Глаз, конечно, пришел тоже по моим следам с гор и теперь смотрел с высоты сопки прямо к нам в открытые ворота. Я вздумал взять его, как Развалистого, тихонечко раскрыл ворота, насторожил веревку, погладил Хуа-лу на прощанье и выпустил. Она весело вышла и тихонечко, степенно направилась было в лощину к табунку. Но Серый Глаз понял, что из табунка ее скоро не выживешь, и бросился на прямых ногах прямо наперерез и успел пересечь ей путь и остановить. Давно ли видел я этого оленя таким прекрасным, и вот он теперь весь в грязи, весь измызганный, сокращающий судорожно мышцы на животе, огромная, раздутая от постоянного рева шея, налитые кровью глаза. От этого ужасного чудовища Хуа-лу бросилась бежать в сторону дерева, он за ней, и оба скрылись за сопкой. Тогда я схватился за свой рожок, проиграл, и, видно, она услыхала, завернула и показалась в самом начале той лощины, где пасся табунок и неподвижно стояли два черных монаха. Не задержи ее лощина с кустарником, конечно, она принеслась бы ко мне и привела бы непременно за собой быка, но она чуть-чуть задержалась в кустах, и Серый Глаз ее тут настиг.

...Был ли у него в это время, как у нас, людей, какой-нибудь свой, олений, созданный силой особенного обоняния, образ независимой красоты? Нет, я думаю, теперь у него никаких возможных следов этого образа не оставалось, не красота была перед ним, а хорошая, приятная жизнь. Он поднялся быком на воздух. И вдруг там, в воздухе — нет ничего. Да, так бывает: вот бы только, вот-вот, и нет ничего! Хуа-лу прибегла к единственному средству спасения: легла на землю. Тогда все вдруг пропало, и красота, и хорошая жизнь. А Серый Глаз, увидав, что действительно нет ничего, запрокинул назад свою голову и тонко засвистел, и от тонкого свиста обратной сиреной, переходя в рев, все ниже и ниже проревел, и потом опять и опять. В промежутке между свистом и ревом была у него, как и у всех быков, одна нотка не то жалобы, не то обиды, и эта именно нотка была ключом к пониманию происхож-

дения оленьей музыки. А еще я и о себе думал: да, конечно, и моя смертная боль была оттого, что я когда-то не мог разделить красоту и хорошую жизнь, но хорошая жизнь вдруг исчезла, и оттого чувство красоты во мне сопровождается смертельной болью.

Если бы я на оленьем гону был как ученый и начал бы правильно исследовать, то я с того бы начал, что отказался бы оленей по себе понимать. Но я же сам тут, в пустыне, страдал совершенно, как всякое животное, и в этом чувствую с ними родство, мне их жалко, я чувствую их по родству: она лежит, пережидает, а он стоит над нею, мучительно униженный, исхудалый, забрызганный грязью, измызганный властелин тайги с костяными шишками вместо величественных рогов. Так ясно, так понятно, что единственное средство сохранить себя — это бой! Теперь все вопросы сводились к одному: или я один, или ты, или я убиваю, или сам умираю...

Приходят из лощины всем табунком ланки и окружают свою сестру Хуа-лу, как будто ее понимают, сочувствуют. А властелин гарема Серый Глаз стоит в ожидании будущей хорошей жизни, ищет, с кем бы только поскорее сразиться. Оба монаха, один в рогах о шести, другой о четырех концах, стоят как вкопанные, не смеют продвинуться ни на шаг вперед. Или они понимают, что с одними рогами ничего не поделаешь? Или они, увидев своего властелина комолым, еще не могут с духом собраться? Или уже завидели, что с гор сюда оленьими тропами спешат Черноспинник, Круторогий, Щеголь и еще много рогачей, испытанных в предыдущих боях? Черноспинник почему-то стал на сопке у дерева и ближе не захотел подходить; как всегда, было в нем что-то затаенное, как будто у него был теперь какой-то дьявольский загад. Между Черноспинником на сопке и лощиной, где в грозной готовности стоял Серый Глаз, разместилось по увалу восемь разных и мне вовсе неизвестных рогачей. Быть может, план Черноспинника был — предоставить всем восьми рогачам драться с Серым Глазом по очереди, и только если Серый Глаз всех поочередно разобьет, самому напасть на усталого или даже просто добить?

Серый Глаз начал с того, что сморщил нос и презрительно фыркнул в сторону первого к нему на увале рогача. Часто бывает этого довольно, чтобы противник

бежал. Но рогач не обратил никакого внимания на предупреждение комолого. Серый Глаз выкинул набок язык. Тот все стоял и, дерзкий, сам сморщил нос. Тогда властелин тайги пошел на махах, но и тут неизвестный рогач не бежал, а, напротив, угнул рогатую голову и сам подался немного вперед. Наверно, он был еще молодой, задорный олень и не понимал, что такое удар Серого Глаза. От одного удара костяными шишками по лбу он упал на передние ноги, а Серый Глаз, как все бойцы в таких случаях, ударил в бок против сердца с такой силой, что сломал своими костяными шишками ребра, и обломки этих костей пронзили смертельное место под левой лопаткой. Смельчак больше не мог уж подняться. Тогда Серый Глаз сморщил нос на второго, и тот убежал; выкинув язык, бросился к третьему, и тот убежал, а за ним и все, вплоть до Черноспинника; а когда Серый Глаз сморщил нос на него, то Черноспинник сам сморщил нос и пошел в наступление.

Недалеко от единственного дерева на сопке когда-то было второе, но теперь от него оставался только пенек. Враги сошлись у самого этого пенька, каждый, быть может, имея в виду воспользоваться им для упора передних ног. Оба уперлись в пенек и начали друг друга теснить лбами и пересиливать. Они очень долго кружились возле пенька, никто не мог пересилить, и вот заметно уже стало, что вокруг пенька вырылась копытами глубокая яма. Вдруг при новом нажиме пенек вырвался из-под ног и полетел далеко в сторону. Тогда оба бойца упали один на другого. В этот момент вдруг из-за куста выбежала Хуа-лу и, спасаясь от Щеголя, бросилась бежать, а я заиграл в олений рожок. Хуа-лу направилась прямо ко мне, и за ней Щеголь. Бойцы тоже заметили Щеголя, бросились, и за ними все рогачи, и все стадо оленье, теснясь, прошло прямо возле меня. Когда все они пронеслись далеко на конец мыса, я не только закрыл ворота, но даже хорошо осмотрел забор возле них и даже кое-где в слабых местах успел немного подправить.

Я пришел в Сосновые скалы к самому концу боя и не мог уже успеть ни своим появлением, ни выстрелами в воздух спасти прекрасных оленей. Серый Глаз и Черноспинник бились у самого края отвеса, над рифами, и, конечно, бой давно бы закончился, если

бы у Серого Глаза были рога. Но, не имея возможности парировать рогами, при отсутствии рогов, с незащищенной шеей, он много получил в нее ударов. И когда от сильной потери крови он упал на передние ноги, кровь ручьем бежала у него изо рта. Черноспинник ударил его в бок, пронзил ему сердце, но тут в последний момент Серый Глаз вдруг поднялся и неожиданно, остатком последних сил нанес такой удар, что Черноспинник вдруг оборвался и полетел вниз, на рифы, прыгая, как мяч, со скалы на скалу. Серый Глаз еще успел посмотреть сверху вниз и, может быть, еще успел заметить, как покраснели белые гребешки волн, вечно беспокойных на рифах. Потом Серый Глаз покачнулся и пал.

Там и тут в скалах слышались сухие удары костяков, хрип, стук падающих камней. И все эти олени теперь были мои.

XVI

Прошло десять лет с тех пор, как я с помощью прирученной Хуа-лу поймал много рогачей и начал строить большое пантовое хозяйство. Мой друг не пришел, я строил один. И еще год прошел. Я все был один, и мне отдыху не было. И еще год... Бывает, проходит какой-то срок ожидания, и близкого, живущего где-то вдали человека начинаешь вспоминать, как умершего. И вдруг, когда с наружного виду и вы и друг ваш переменились неузнаваемо, приходится встретиться. Это ужас! Вздрогнув, бледнея, вы начинаете догадываться по чертам, изрезанным временем, и наконец узнаете по голосу. Мало-помалу, углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому-то прощать, становится очень легко на душе, и наконец происходит желанная встреча: под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корня жизни женьшень. Но бывает напряжение корневой силы жизни так велико, что вы любимого человека, раз навсегда утраченного, находите в другом и начинаете нового любить, как утраченного. И это тоже я считаю как действие корня жизни женьшень. Всякое другое понимание таинственного корня я считаю или как суеверие, или

просто медицинским. Так, по мере того хода времени: год, другой друг не приходит, я начал забывать и наконец совершенно забыл, что где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни. Вокруг меня так все переменилось: поселок на берегу Зусу-хэ стал небольшим городком, и столько собралось тут разных людей. Я часто езжу по своим большим делам в Москву, в Шанхай. И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой женьшень, чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге.

Работа очень увлекает меня, и, конечно, это она спасает меня от тоски. Но вот приходит срок моему мужскому одиночеству. Мы встречаемся и долго не можем сказать друг другу верного слова. Вот тут было дерево, на котором она когда-то сидела и собирала прелестные коробочки от морских ежей, тайфунами и волнами развешанные на ветках этого дерева. Теперь Зусу-хэ столько нанесла песку на это дерево, что только по едва заметным намекам можно было узнать место, где олень-цветок обернулась мне женщиной. Молча мы стояли тут, на берегу, возле белого кружева океана, под мерный ход большого времени вместе с морскими ежами, ракушками, звездами узнавая короткий счет своего человеческого маятника.

А как скоро разрушаются горы! Вон там висела скала, под ней проходили к морскому берегу, к соленой воде олени, изюбры, еноты, и мы тоже когда-то под руку прошли вместе со зверями по общей тропе. Теперь тайфун свалил ту скалу, и тропа кругом обходит рассыпанные камни. На том месте, где стояла фанза Лувена с окнами из бумаги, теперь стоит исследовательская лаборатория, большое здание с широкими итальянскими окнами. Из всего большого пантового хозяйства с оцинкованной сеткой в несколько километров, отрезающей всю Туманную гору, теперь уже осталось немного старых оленей, но Хуа-лу жива и бродит везде совершенно свободно, как домашнее животное.

Мы подошли к могиле Лувена под огромным кед-

ром. Китайцы вырубили в дереве небольшую кумирню, где совершают свои обряды, сжигают бумажные свечи. Вот тут, рассказывая подробности из жизни самого доброго мне человека, я вдруг вспомнил о моем корне женьшень, растущем где-то недалеко от Певчей долины. Почему бы нам теперь из любопытства не пойти туда и не посмотреть на женьшень? И мы пошли вдвоем искать вновь когда-то уж найденный корень.

Конечно, я давно забыл оставленные Лувеном приметы, но знал, что к Певчей долине надо идти через Семивершинную падь в третий Медвежий распадок. Так мы прошли эту падь и по распаду поднялись на самый верх. В Певчей долине все было по-прежнему, те же громадные редкие деревья с большими солнечными просветами и поющими птицами. Но когда мы из Певчей долины спустились по древней террасе в частый лес, где живут тенелюбивые травы, я потерялся. Мы долго бродили взад и вперед в надежде найти то место, где мы долго сидели с Лувеном молча.

Сколько раз мне случалось находить забытое место лучше ночью, чем днем, и даже больше, — прямо в себе самом найдешь какой-нибудь вопрос, поставленный себе еще в то время, и вдруг по особенному сильному запаху грибов догадываешься, что вопрос этот явился именно при таком запахе, и это где-нибудь тут должно быть; тогда повнимательней посмотришь вокруг себя и вспомнишь. Так и тут, когда мы, наконец, пришли ощупью к верному месту и наша спокойная беседа остановилась, вдруг из ручья послышалось:

— Говорите, говорите, говорите!

И тогда все музыканты, все живые существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина раскрылась и позвала:

— Говорите, говорите, говорите!

После того я увидел ствол дикой яблони, по которому мы когда-то с Лувеном перебрались на тот берег ручья, и все вспомнил до мельчайших подробностей. На том самом месте, где мы когда-то стояли на коленях, он молился, я думал, и мы тоже теперь остановились и осторожно перебирали руками тенелюбивые травы. Мы с таким интересом, волнением работали, что некоторая маленькая натянутость наших отношений совершенно исчезла, мы стали быстро сближаться и вдруг увидели женьшень! Потом я долго делал из коры

кедра точно такую же коробочку, как видел тогда давно у маньчжуров, и потом вместе мы сшивали кедровую кору лыком. Осторожно, чтобы не повредить ни одной мочки, мы выкапывали корень, и он оказался очень похожим на тот, который видел я тогда у маньчжуров: имел он вид человека нагого, руки были и ноги, на руках тоже мочки, как пальцы, и шея, и голова, на голове коса. Мы насыпали ящик землей, той же самой, где рос корень, с большими предосторожностями уложили его и возвратились на то место, где мы когда-то сидели с Лувеном и, слушая живую тишину, молча думали каждый о своем. Теперь мы так независимо молча не могли долго сидеть, в ручье началось:

— Говорите, говорите, говорите!

Заиграли музыканты Певчей долины, и мы хорошо сговорились между собой.

Я не хотел бы раскрывать, но если уж говорить, то говорить до конца. Это пришла ко мне не та женщина, но говорю: сила корня жизни такая, что я в ней нашел собственное мое существо и полюбил другую женщину, как желанную в юности. Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом.

Теперь у меня есть вечно увлекающее меня, созданное мною самим дело, в котором я чувствую себя, будто мы, вооруженные знанием и современной, особенно острой потребностью в любви, возвращаемся к тому самому делу, которым занимались наши дикие предки на заре нашей культуры: приручению диких животных. Я ищу ежедневно всякого повода соединить методы современного знания с силой родственного внимания, заимствованного мной у Лувена. Итак, вот у меня есть заманчивое дело. У меня есть друг-жена и милые дети. Если смотреть на людей, как они живут, то я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле. Но опять повторяю: говорить, так уж говорить до конца! Есть одна мелочь в моей жизни, если смотреть со стороны, не имеющая никакого влияния на общий ход моей жизни, но эта мелочь, мне иногда кажется, является таким же исходным моментом жизнетворчества, как у оленя смена рогов. Каждый год непременно той туманной весной, когда олени сбрасывают свои старые, отмершие костяные рога, у меня тоже, как у оленей, происходит какое-то обнов-

ление. Несколько дней я не могу работать ни в лаборатории, ни в библиотеке, и в счастливой семье своей не нахожу себе отдыха и успокоения. Какая-то слепая сила с острой болью, тоской гонит меня вон из дому, я брожу в лесу, в горах и непременно попадаю в конце концов на скалу, из бесчисленных трещин которой, как из слезниц, вытекает влага, собирается крупными каплями, и кажется — скала эта вечно плачет. Не человек это — камень, я знаю хорошо, камень не может чувствовать, а между тем я так сливаюсь с ним своим сердцем, что слышу, как у него там где-то стучит, и тогда я вспоминаю прошедшее, делаюсь сам совершенно таким же, как был в молодости. Перед глазами моими в виноградный шатер Хуа-лу просунет копытце. Является все прошлое со всей его болью, и тогда, как будто совсем ничего не нажил, говорю вслух своему истинному другу, сердцу-скале:

— Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца!

Похоже, как будто в эти болезненные дни я сбрасываю с себя все созданное, как олень свои рога, а потом возвращаюсь в лабораторию, в семью и снова начинаю работать и так вместе с другими тружениками, безвестными и знаменитыми, мало-помалу вступаю в предрассветный час творчества новой, лучшей жизни людей на земле.



ВОЙНА





Кончались 30-е годы. Как писатель Пришвин находится сейчас на творческом подъеме: его переполняет и тревожит множество неосуществленных замыслов, необходимость собрать и систематизировать многолетний архив: самое в нем дорогое — это записи для будущих, еще не воплощенных книг. А годы уходят, силы убывают.

В дневнике 1940 года он записывает: «Это было в 1932 году... Я стал усиленно искать себе где-нибудь в глуши избушку, чтобы купить ее и поселиться в ней одному. Много я пересмотрел везде избушек, уединенней всех и красивей была изба в деревне Спас на Нерли. Только случайно я не купил ее, и потом так обернулось, что желанная «избушка Толстого» превратилась в квартиру в Москве».

Действительно, в 1937 году М. М. Пришвин получил наконец отдельную квартиру, которая дала ему возможность жить уединенно и спокойно в большом шумном городе.

Художнику, писал он, «запереться можно и надо от шума, от помех, но от жизни нельзя запираться. Ты должен слышать постоянное течение. Ты пишешь в уединении, но чувствуешь текущую реку... Праздное одиночество теперь позорно».

В Москве сразу же рождается у Пришвина новая тема: о ценности городской культуры. Он записывает: «...при других обстоятельствах я мог бы, так же как природу, полюбить в городе искусство и книги. Когда будет квартира, я непременно сделаю опыт в этом отношении: попробую пожить в городе «эстетически», то есть свободно, как в лесу». Он пытается сравнивать, «что такое лес и что — красота» (то есть природу и искусство, и где-то их для себя объединить).

Эта тема продолжится у писателя до конца жизни. Так, в 1950 году мы читаем: «...Начинаю путешествовать по Москве с целью изучения большого города... Верно ли, что древняя девственная природа, попадая под власть человека, непременно попадает в руки злой силы? Творчество мира продолжается и в наших парках, в культуре городских растений, сказывается переменой ха-

рактера борьбы за существование, борьбой за лицо... С этими мыслями я начинаю свое московское путешествие».

Пришвин очень самобытен в своем осмыслении города. Его оптимизм еще раз выдерживает проверку на предмете, вызывавшем скорбь и возмущение у многих писателей XIX — начала XX века, — на городской жизни. Вспомним темные колодцы городских дворов у Достоевского, «города-спруты» Верхарна, призыв к побегу из города Руссо — Толстого... У Пришвина мы читаем в 1951 году: «Что жизнь хороша, что мы, люди, не трава на ветру и не сено, что мы и от себя что-то можем сделать навстречу знойным иссушающим ветрам — это все зарождается в городе». «Единый образ природы, вытекающий из непосредственных впечатлений, зарождается в городе у людей высокой культуры».

Не будем скрывать: в городе в конце 30-х годов Пришвин иногда не только утомлен — он подавлен, и подчас ему хочется замолчать. «Тихо. Люди спят, с деревьев слетают грачи и важно прогуливаются по улицам города... В этом и есть мое счастье — чувствовать себя как грач, знать время, когда можно быть самим собой».

Писатель не поддается унынию. Он помнит: «Художник — это тот, кто свою душу вкладывает в творчество небывалого». И еще в нем живет непоколебимая уверенность в торжестве светлого начала в человеке, в жизни: «Темно? — значит, скоро будет светать».

Именно эта сила поэзии и сила оптимизма — уверенности в реальности «небывалого» — и дает поэту право написать один из самых светлых своих, прямо-таки ликующий рассказ «Весна света». Пишет он его на материалах «городского путешествия», столь нового в его опыте.

Когда он пишет этот рассказ? В самый канун назревающей войны, когда полмира в огне. Где написан рассказ? В вагоне электрички: ничто не проходит у Пришвина без поэтического отклика, даже служебная техника, даже недавно открытая электрическая железная дорога, удивившая писателя своеобразной технической красотой. И мы читаем в предвоенный год такую запись в дневнике: «Когда же уймется война и начнет действовать сила любви, то движение рода человеческого силой любви будет сопровождаться таким же свечением, как при перевозке пассажиров в электрическом вагоне скольжение проволоки сопровождается явлением вспышки голубого света».

Вот при этой-то «вспышке» и написан в 1939 году радостный рассказ «Весна света». Это рассказ о существовании сказочной Дриандии, где царствуют братство и дружба людей. В эту вол-

шебную страну сразу же поверили его собеседники — дети, и такой разговор у них с писателем действительно был, и произошел он на действительной московской улице — на Патриарших (Пионерских) прудах.

В большом деле по систематизации и обработке литературного архива Михаилу Михайловичу нужен был помощник. В самом начале 1940 года он пригласил меня в помощь как литературного сотрудника. Я осталась с ним до конца его дней.

Уже летом того же, 1940 года была создана Пришвиным новая книга радости — «Лесная капель», с включенной в нее поэмой «Фацелия» *. «Лесная капель» — это первая книга Пришвина, созданная им из непосредственных дневниковых записей, взятых не только без существенной переработки, но почти без стилистической правки. Пришвин думает так об этой своей литературной форме: «Миниатюра, как искреннее, пока писатель еще не успел излукавиться в записи проходящего мгновения жизни. Это капля, это проходящее мгновение действительности, «всегда оно — правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма: сердце не ошибается, но мысль должна успеть оформиться, пока еще сердце не успеет остыть... Я долго учился записывать за собой на ходу и потом записанное дома переносить в дневник... Но только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить... Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их».

В разгар работы обрушилась на всех нас война с фашистской Германией. Не выдержав ежедневных бомбежек и отказавшись от почетной эвакуации на Кавказ вместе со многими заслуженными пожилыми деятелями культуры, М. М. Пришвин уехал в конце лета из Москвы в глухие ярославские леса — места своих бывших охот, чтобы переживать беду вместе с народом. В деревне Усолье под Переславлем-Залесским мы и прожили более двух лет. Жизнь наша там была трудна, не легче, чем и у всех русских людей в те годы.

И тем не менее именно благодаря строжайшему ежедневному писательскому труду Пришвин мог по праву сказать в своем дневнике в конце войны: «Какое богатство накопил я за время германского нашествия».

Работать ему было как никогда трудно: одна семилинейная лампа с надтреснутым стеклом, старательно заклеенным пленкой сточенного бритвой асбеста. Надвигалась зима. Теснота жилища. Ежедневные заботы о самом насущном для жизни. «И главное,

* Сокращенный вариант «Фацелии» см. на стр. 408.

полная неизвестность, невозможность разобраться в событиях и осмыслить их», — записывает он в тяжелые дни осени 1941-го.

...А осень стояла в тот год на редкость солнечная, теплая, в странном противоречии с чудовищной бедой человеческой. Такой же была и осень следующего военного года.

Запись на рассвете: «...Такая милостивая осень стоит, такой живет со мной верный друг, ожидающий от меня подвигов и терпеливо искусно скрывающий это, если подвигов нет. «Милый мой, — шепчет она, — ты довольно в жизни потрудился, можно и отдохнуть».

Нет, этого соблазна «отдыха» он никогда, до самой смерти, не примет. Пройдет еще тринадцать лет, и он, тяжело больной, умирающий, в свой последний день встанет, подойдет к окну, увидит там играющее зимнее солнце, и заставит себя подняться духом, и запишет: «Опомнился — и почувствовал себя здоровым». Это было за полсуток до смерти.

Но теперь, сравнительно здоровый для своих лет, он не дает себе ни одной минуты отдыха или уступки.

Наступает зима. Валят и валят густые снега. Ранним утром слышу я неизменно осторожные движения по комнате. Это Михаил Михайлович оделся и вышел на мороз протаптывать свою тропу через лес. Тропа шла по Блудову болоту. Через пять лет тропа со всеми ее подробностями войдет в картину и в действие повести «Кладовая солнца». Михаил Михайлович возвращается, запушенный снегом. Быстро пьет чай и сразу садится за работу. Днем начнутся другие наши общие дела. Но как бы ни был перегружен день, Михаил Михайлович неизменно вечером в любую погоду снова выйдет один на свою лесную тропу.

Он требовательно ставит перед собой новые и новые задачи, не давая себе скидки ни на какие трудности. Это его долг перед жизнью, любовь к ней, любовь ко всему, что призвано жить. Это вызов тому, кто сейчас все это бездумно, жестоко уничтожает.

В первые же горячие дни войны, еще в Москве, Пришвин написал рассказ «Голубая стрекоза». Им открылся ряд военных рассказов Пришвина. Они были напечатаны и во время войны, и после смерти писателя. Назовем хотя бы цикл «О ленинградских детях», созданный в Усолье благодаря личному живому общению с детьми, спасенными из осажденного города и поселившимися большой колонией в 14 километрах от нашей деревни.

Увиденное и пережитое за эти усольские годы вошло в крупные произведения Пришвина последующих лет, такие, как «Кладовая солнца», «Корабельная чаща». Но живым отражением наблюдений над людьми в нашем глухом краю, над женскими судьбами, отражением личной жизни писателя явилась «Повесть на-

шего времени», начатая в Усолье и оконченная уже в Москве, по возвращении из эвакуации. Некоторые образы, мысли и картины перенесены в повесть целиком со страниц реального дневника текущего дня.

Стихия света, художественно претворенная в предвоенном рассказе «Весна света» и в первом военном рассказе «Голубая стрекоза», продолжает действовать в «Повести». Пугавшие Курымушку в детстве непонятный Большой Голубой и его зловещее отражение — Кащей Бессмертный в ней исчезли, растворились, они перешли в ровное радостное свечение. Этот свет пронизывает и заливает теперь в повести все высокое, прекрасное, все любимое художником.

Когда измученный солдат — Алексей, любимый герой автора, бежит из плена, ему встречается голубое поле льна, и омертвелой души этого человека, от которого «остались только глаза», впервые касается чувство жизни. Когда Алексей подходит к родному дому, где его ожидает несчастье, голубые цветы закрываются. И глава о деревенских русских Ромео и Джульетте, названная автором «Голубые цветы», так и начинается: «На полях, голубея, зацветал лен». Перед возвращением Алексей снится Милочке «в голубой рубашечке из сатина», и весь сон, по словам Милочки, «голубой».

Трагическая глава о любви, великодушии и в конечном счете — о победе высокого человеческого начала так и названа «Голубой гость», хотя в ней действует оборванный и почерневший от грязи и горя человек.

И даже глаза у Милочки голубые.

Все близко, все касается художника и в радости, и в боли за человека. Это — сочувствие невыдуманной жизни и вера в ее смысл, в конечное его торжество.

Тон повести наслышан автором в народной речи. Обращает внимание самый язык повести: он настолько ритмичен, что во многих местах слова и фразы не поддаются перестановке, как в стихотворении или в произведениях фольклора. Это легко проверить, прочитав вслух хотя бы ее начало: «Как в самую глухую зиму, по какой-нибудь узенькой алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там...»

Главу о «Черном дрозде» мы читаем как музыкально-ритмический сказ: «Да вот и я сам, как подумаю о счастливцах, так

будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари, черного дрозда с золотым клювом...»

Основной живописный, он же и символический, образ повести — это стихия света. С половины повести этот свет начинает все вокруг озарять и наконец, до чего автор ни коснется мыслью, все вовлекает в свой радостный поток. В единый пламень вливаются и личное и общее — это огонь Всечеловека, по терминологии Пришвина. И тогда оказывается, что та любовь двух, промелькнувших по жизни, есть необходимая движущая сила в созидании Общего во всем большом мире.

Так и начинается повесть: «...Втайне мечтая написать о любви Милочки как царь Соломон, я смотрю на Нестора, пишу не как мне хочется, а держусь в краях чаши, испиваемой всем народом».

Здесь снова мы встречаем обе темы — личной любви и человеческого общего дела, поставленные жизнью Пришвина — человека и художника.

Моральный конфликт в судьбе Милочки, одной из героинь повести, бесчисленное число раз обсуждавшийся в литературе, — это соперничество двух за любовь к женщине — в повести находит разрешение благодаря великодушию и душевной чистоте всех ее участников. После, казалось, безвыходной драмы, изображенной в главе «Голубой гость», идет глава «О дружбе» — о новых отношениях, выстраданных на войне, несущих в себе выход из казавшейся безвыходности. Это тема, порученная Ивану — второму герою повести, тоже солдату.

Так благодаря нравственной силе происходит примирение между основными действующими лицами в повести.

Второй муж Милочки, Сергей, упрощен автором до предела: ничего сверх самого необходимого не отпущено ему. Больше того, автор даже временами иронизирует над ним, делает его заикой, ставит в смешные положения (хотя бы в эпизоде с корытом для вернувшегося мужа своей возлюбленной). Автор умаляет его до сравнения с собачкой, наползающей в ласке на грудь лежащего человека. Мы понимаем: автор поручает Сергею самую интимную сторону души — вот почему, вероятно, особое чувство — потребность сохранить ее неприкосновенной — заставляет сделать таким «маленьким» Сергея.

Сергей настолько незначителен в своих проявлениях, что, по словам автора, Милочка его любит «только для себя», в то время как за Алексеем она пойдет на край света — из-за нравственной значительности Алексея за ним пойдет.

Только однажды, в главе «Голубые цветы», прорывается в образе Сергея то, что могло пробудить настоящую любовь Ми-

лочки, что позволило Пришвину поставить Сережу в ряд со всеми остальными его избранниками. Прочтя эту главу, мы сразу понимаем, как много недосказано в повести о Сергее и о его любви: это — о понимании двух, таком качестве любви, которое делает ее подлинной и о котором, по слову Сергея, даже «нельзя рассказать».

Вот почему вынужден был умолчать об этом и сам автор. Он лишь направляет свой луч, свой взор художника в глубину души Сергея, этого с виду незначительного человека, — и все преображается и встает перед нами в новом свете: все становится значительным в самих подробностях. И тут-то и начинается та цветопись, та сказка света, в которой показывается все прекрасное в природе и человеке.

В этом свете и написана глава о любви, названная автором «Черный дрозд». Она по содержанию пересказывает в нашей современной усольской обстановке вечный сюжет Ромео и Джульетты, развивая его на двух рядовых проходящих людях: «Ведь и они, как эти цвета на заре, немного побудут, и переменятся, и уйдут навсегда».

В этой картине русской природы воскресают знакомые неумирающие шекспировские детали — и жаворонок его, и соловей. Трагичность здесь преодолевается не борьбой, не тяжким усилием, а растворяется в воздухе поэтических строк и как бы на легком ветру исчезает.

Но не соловей и не жаворонок, а черный дрозд — почему его именем названа глава? И тут мы догадываемся, что Пришвину не хватало еще одного образа, которому он мог бы поручить в повести свою роль художника среди этих уже действующих в ней столь разных и столь близких ему лиц. Черный дрозд с золотым клювом — он управляет зарей и всеми цветами на небе и на земле. С высоты своей ели он все видит, и это он направляет наше внимание.

Это, конечно, сам художник — он и не скрывает своей тайны от нас, он говорит о себе: «Когда уже от реки туман поднимается, сажусь черным дроздом на самый верхний пальчик ели и пою... Я свищу и зову любовно всмотреться в эти милые лица... Слышит ли кто меня — не знаю, — не для себя пою, а управляю зарей...»

Черный дрозд на вершине ели — самый совершенный у Пришвина образ художника. Он точен и прекрасен.



ВЕСНА СВЕТА

Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего: небо было звездное, чистое. Пороша складывалась на асфальте не просто как снег, а звездочка над звездочкой, не сплющивая одна другую. Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском переулке, асфальт от нее был седой.

Радостно было все пробуждение на шестом этаже. Москва лежала покрытая звездной порошей, и, как тигры по хребтам гор, везде ходили по крышам коты. Сколько четких следов, сколько весенних романов: весной света все коты лезут на крыши.

И даже когда я спустился вниз и проехал по улице Горького, радость весны света меня не оставила. При легком утреннике в лучах солнца была та нейтральная среда, когда пахнет самая мысль: подумаешь о чем-нибудь, и этим самым запахнет. Воробей спустился с крыши Моссовета и утонул по шею в звездной пороше. Он до нашего прихода успел хорошо вы-

купаться в снегу, а когда ему из-за нас пришлось улетать, то от ветра его крыльев разлетелось вокруг столько звездочек, что кружок почти в целую большую шапку почернел на асфальте.

— Видели? — сказал один мальчик трем девочкам.

И дети, глядя вверх на крышу Моссовета, стали дожидаться второго слета веселого воробья.

Весна света согревается полднями. Пороша к полудню растаяла, и радость моя притупилась, но не исчезла, нет! Как только замерзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза опять вернул меня к весне света. Так вечерело, но голубые вечерние звезды не показались в Москве: все небо оставалось голубым и медленно синело. На этом новом голубом фоне в домах там и тут вспыхивали лампы с разноцветными абажурами; никогда этих абажуров в сумерках не увидишь зимой.

Возле полузамерзших луж от растаявшей звездной пороши всюду слышался детский восторженный крик, детская радость наполняла весь воздух. Так дети в Москве начинают весну, как в деревне начинают ее воробьи, потом грачи, жаворонки, в лесах тетерева, на реках утки и кулики на болотах.

От детских весенних звуков в городе, как все равно от птичьих криков в лесах, мои ветхие одежды с тоской и гриппом вдруг свалились. Настоящий бродяга при первых весенних лучах и вправду часто бросает свое тряпье при дороге...

Лужи быстро везде замерзли. Одну я попробовал ткнуть ногой, и стекло разлетелось вдребезги с особенным звуком: др... др... др... Бессмысленно, про себя, как это бывает у стихотворцев, стал я повторять этот звук, прибавляя подходящие гласные: «Дра, дря, дри, дриан». И вдруг из этой бессмысленной дряни вышла сначала любимая моя богиня Дриана (душа дерева, лес), а потом и Дриандия, желанная страна, в которую еще утром при звездной пороше начал я свое путешествие.

Я так этому обрадовался, что несколько раз вслух, пробуя на звучность, повторил, ни на кого вокруг не обращая внимания:

— Дриандия.

— Что он сказал? — спросила одна девочка у другой позади меня. — Что он сказал?

Тогда все девочки и мальчики с другой лужи бросились догонять меня.

— Вы что-то сказали? — спросили они меня все разом.

— Да, — ответил я, — слова мои были такие: «Где тут Малая Бронная?»

Какое разочарование, какое уныние произвели мои слова: оказалось, что мы и стояли-то как раз на этой Малой Бронной.

— Мне кажется, — сказала одна маленькая девочка с плутовскими глазами, — вы что-то совсем другое сказали.

— Нет, — повторил я, — мне нужна Малая Бронная, иду к моим хорошим знакомым в дом номер тридцать шесть. До свидания!

Они остались в кружке, недовольные, и, наверно, сейчас обсуждали между собой эту странность: было что-то вроде как бы Дриандия, и оказалось — обыкновенная Малая Бронная!

Отойдя от них на значительное расстояние, я остановился у фонаря и громко им крикнул:

— Дриандия!

Услышав это во второй раз, уверившись, бросились дети с дружным криком:

— Дриандия, Дриандия! Что это? — спросили они.

— Страна вольных сванов, — ответил я.

— А кто они?

— Это, — начал я спокойно рассказывать, — люди не очень большие ростом, но сильно вооруженные.

Мы вошли под черные, старые деревья Пионерских прудов. Большие матовые электрические фонари, как луны, показывались нам из-за деревьев. Закрайки пруда были покрыты льдом. Одна девочка попробовала стать, лед затрещал.

— Да ты с головой уйдешь! — крикнул я.

— С головой? — засмеялась она. — Как это — с головой?

— С головой, с головой! — повторили ребята.

И, прельщенные возможностью уйти с головой, бросились на лед.

Когда же все кончилось благополучно и никто с головой не ушел, дети опять явились ко мне, как к ста-

рому своему приятелю, и просили еще рассказать о маленьких, но сильно вооруженных людях Дриандии.

— Люди эти, — сказал я, — всегда держатся по двое. Один отдыхает, а другой везет его на салазках, и оттого время даром у них не пропадает. Они во всем помогают друг другу.

— А зачем они сильно вооружены?

— Они должны охранять от врагов свою родину.

— А почему они на салазках, у них вечная зима?

— Нет, у них всегда, как вот теперь у нас, — ни лето и ни зима, у них всегда весна света: лед под ногами хрустит, иногда проваливается, и тогда бедные сваны уходят под лед с головой, другие их тут же спасают. Голубые звезды вечером у них не показываются: небо у них такое голубое, светлое, и как только вечер, везде в окнах загораются разноцветные лампочки...

Я им рассказывал то самое, что бывает в Москве весной света, как сейчас, и никто из них не догадывался, что моя волшебная Дриандия находится тут же в Москве и что так скоро за эту Дриандию мы все пойдем на войну.

1938

ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗА

В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности своим словом догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.

Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопыт-

ством разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее.

— Вы с ума сошли, — сказал мне строгий голос из-под земли.

Я глянул и увидел голову Максима Максимыча: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:

— Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?

— Что же мне делать? — спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.

— Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых...

Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.

В это время один умирающий шептал мне:

— Вот бы водицы!..

Я по первому слову раненого побежал за водой. Но он не пил и повторял мне:

— Водицы, водицы, ручья!..

С изумлением поглядел я на него и вдруг все понял: это был почти мальчик, с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.

Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.

В косых лучах вечернего солнца особенным, зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретики хвощей, листки телореза, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку.

Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу.

И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.

— Спасибо, — прошептал он.

Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал «спасибо» и снова закрыл глаза.

Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:

— А что, она еще летает?

Голубая стрекоза еще кружилась.

— Летает, — ответил я, — и еще как!

Он опять улыбнулся и впал в забытье.

Между тем мало-помалу смеркалось, и я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает:

— Все еще летает?

— Летает, — сказал я не глядя, не думая.

— Почему же я не вижу? — спросил он, с трудом открывая глаза.

Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.

Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода — эти глаза земли — остается светлой, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.

— Летает, летает! — воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.

И я ему показал отражение. И он улыбнулся.

Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, — по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогли песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

1941

«МИЛОЧКА»

(Из «Повести нашего времени» *)

«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ»

Как в самую глухую зиму по какой-нибудь алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь особенно дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там...

Вскоре после того, как рожь уберут, из леса на опушку начинают выступать разные деревца особенного вида и своим нарядом как бы выговаривать.

— Видите, я не такое, как все, — я желтенькое!

Другое хвалится, что золотое, третье краснеется.

И так вот, когда из всего еще зеленого леса начинают на опушке расставляться деревца отдельного вида, это значит — скоро всему тенистому летнему лесу наступит конец.

Но сейчас до этого еще далеко: рожь только что зацветает.

Вся рожь нашего богатого совхоза простирается между выселками, где мы только что перед войной построились, и усадьбой совхоза.

Мы ходили в усадьбу на работу каждый день сокращенным путем, и оттого через все большое поле от наших ног легла между стенами высокой ржи плотная белая озорная тропа.

В первый раз моя любимица Милочка встретилась со своим Сережей на этой озорной белой тропе, когда рожь зацвела. И их простую любовь я хотел бы вознести, как царь Соломон вознес ее в «Песне Песней».

Знаю, что и в то далекое время были войны, истребляющие все население городов и областей, и что такая великая беда не помешала царю поднять до небес священную песню любви.

---

* «Повесть нашего времени» была напечатана целиком посмертно и вошла в 6-й том Собрания сочинений. При жизни автора был опубликован ее сокращенный вариант под заглавием «Милочка». Его мы и помещаем в нашей книге с небольшими дополнениями из полного текста всей повести.

Но сейчас, когда гремит война и все пьют мирскую чашу страданий, я не в силах писать как мне хочется... Втайне мечтая написать о любви Милочки как царь Соломон, я смотрю на Нестора, пишу не как мне хочется, а держусь в краях чаши, испиваемой всем народом.

ПРИШЛА БЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА

...В эту войну не было кометы, и не было лесных пожаров и ужасных гроз, как, сам помню, было в жаркие дни первой мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года. Были в ту войну кузнечики на полях в небывалом числе, и они так стрекотали, что и ночью в постели в ушах звенело, и теперь, через тридцать лет, как только подумаю о той войне, так и начинает в ушах стрекотать.

В эту войну не было ни комет, ни особенных гроз, ни вещих кузнечиков: в эту войну люди и на небо-то смотрели больше из-за страха — не летит ли вражеский самолет, и не кузнечиков слушали, а искали местечка укрыться от бомб. Сухим, голым огнем загорелась жизнь человеческая.

И слезы! Приди в это время, кто никогда не видел, как русские женщины провожают своих мужей и детей на войну, он бы и сам заплакал.

Но бывает — женщина как бы закаменеет в своем горе, и нет у нее слез. Так провожала своего мужа Ваню первая красавица нашего поселка, дородная и важная жена его Анна Александровна. Казалось, она всю жизнь свою только и ждала смертельной схватки с бедой, и вот она пришла, та беда настоящая.

Пришла беда — отворяй ворота!

Ни слезинки не пролила красавица по Ване, открыла горю ворота и вышла за околицу. Рожь в это время, как бывает в цвету, желтела, но соломинки не все вышли из зеленого, и когда муж с женой вступили на озорную тропу, то будто в море утонули в зеленой воде, и никто не мог увидеть, как любящие прощались.

Их увидели только в усадьбе совхоза, когда они в последний раз обнялись, и опять, даже тут, слезинки никто не заметил на лице Анны Александровны.

Ваню Черникина и Алешу Жаворонкова я знал с малолетства. У Алеши, помню, были глазищи боль-

шие, серые, и сам как кот: не поймешь, что в нем — добро или зло. Но когда опустит веки и лягут длинные черные ресницы, как гребешки, на нежной коже, то через это почему-то понимаешь добро в этом мальчике.

Оба они, и Алеша, и Ваня, вышли точно в родителей: Ване бы стоять на одном месте, Алеше бы двигаться, искать. Все определилось в ребятах, конечно, когда они оба, устроившись у нас прочно на работу, один за другим женились.

Степенному Ване досталась красавица Анна Александровна, и он в душе ее потонул навсегда, женился — и как будто цыпленок вошел под крылышко матери.

Красота бывает, конечно, как я понимаю, очень разная: одна красота вся в живость идет — в движенье, как у птички-ласточки, другая — вся собирается, как у лебедя, в важность. Женщина Анна Александровна, как прекрасная мать, проводив своего сынка на войну, вернулась к другим нажитым детишкам своим убирать, как будто совсем не случилось ничего особенного. Но все заметили, однако, что черты ее лица стали обрезаться и все лицо в новой строгости получать новый смысл.

Бывало, сам помню, когда ее какой-нибудь маленький заревет, как она подхватит его, как прижмет к материнской груди и вновь отстранит, засмеется и полюбуется со стороны, как художник на свою вещь: знает, что это и свое, и как бы уж не свое, а куда лучше, чем я сам, и что это просто чудо, а не картина и не ребенок. А теперь, когда заплачет дитя и надо его успокоить, то берет его на руки и, склонясь к нему, очень серьезно глядит, как будто куда-то сквозь него, и там где-то видит судьбу его, и скорбит об этой, ей только, скорбящей матери, видной судьбе.

ЖУК И ЛАСТОЧКА

...И вот к Ване пришла женщина-мать, а к Алеше птичка прилетела.

Звали ее Милочкой, и была она совсем молоденькой: маленькая женщина, лучше сказать — девушка, вся как незабудка на зеленом стебельке. Но, к удив-

лению всех, эта самая Милочка, по общему признанию не женщина, а птичка или цветочек, проливала по мужу горькие слезы, больше даже всех простых женщин, и прямо исходила в слезах. Никто не принимал эти слезы всерьез, не верил им, и некоторые прямо говорили, что это не слезы, а «с гуся вода». Некоторые даже объясняли эти слезы формой Алексея Мироныча: бухгалтер наш в новом виде вдруг оказался статным и пригожим военным.

И так все, кроме меня и Анны Александровны, Милочку понимали очень просто: птичка и птичка! Но больно мне за эту птичку! Вспоминаю, как и у меня когда-то было с птичкой в далекой юности. Ходишь, бывало, каждый день полем, глядишь так равнодушно: летает птичка высоко — соображаешь, что к вёдру, летает низко — к дождю.

Но было раз: случайно я поднял голову вверх, а там на телеграфной проволоке, близко, только рукой не схватить, сидит ласточка-птичка, и такая красавица, никак описать невозможно, потому что не в расцветке дело тут, не в красном горлышке на белом, не в черной, отливающей радугой спинке, не в хвостике вилочкой, не в коготках, обнимающих проволоку, а в том свете, какой просиял во мне в ответ на чудесные краски и форму маленькой ласточки.

До того она мне хороша показалась, что на всю жизнь я почувствовал благодарность, и только собрался в душе своей дать зарок, чтобы не забыть эту минутку и в самой великой беде, какая неминуемо придет ко мне, славить и благодарить, — поглядел я вверх, а на проволоке нет никого: птичка моя уже улетела.

С кем это, однако, не бывало такого! Я лишь к тому все это рассказываю, чтобы каждый помнил, как и в его душе из-за какой-нибудь общей всем птички показывалась своя чудесная ласточка и что даже, может быть, каждая такая птичка, чтобы сделаться ласточкой в том смысле, как я говорю, непременно должна встретить своего особенного и единственного ценителя. А что таким единственным ценителем Милочки был наш Алеша, я очень сомневаюсь.

Бывало, Алеша сидит за столом даже и в выходной день, то ли вычисляет что-то по своей бухгалтерии, то ли выводит решение на поступки и записывает об этом у себя в дневничке. Милочка в это время с тряп-

кой в руке вытирает на клеенке после него, как он пил чай, накапал и насорил. В Милочке сердечко бьется частенько, как у птички, хорошенькая она, с синими глазками, прелесть, склоняется близко к его голове, быть может, пощекотала его золотисто-каштановыми волосами, и он даже почесал себе пальцем в этом месте лицо. Милочка загадала про себя:

«Очнется — буду любить, нет — это не тот».

Но нельзя же уйти с тем, что выходит «не тот». Она нежную ручку осторожно кладет ему на голову и будто забывает, а он в задумчивости своей тихонечко руку ее отводит и еще крепче напрягает морщины на лбу, будто Милочка не человек, а котенок: трется с поднятым хвостом и мурлычет.

— Слушай, Алеша, — говорит она, — сегодня выходной день, пойдем с тобой в Сорокин лес по малину.

Он поднимает на нее свои большие серые глаза.

— Ты, Милочка, что говоришь?

Она ничего не отвечает, только глядит на него, и в мысли у нее вертится опять: «Не тот, не тот, не такого я с колыбели ждала».

— Что ты говоришь? — спрашивает он.

— Для глухого, — говорит, — две обедни не служат.

И тут оказывается — он хорошо слышал вопрос, только не сразу мог поднять его из-под своих тяжелых мыслей.

— Ты, — говорит, — кажется, хочешь идти в лес за малиной?

Тогда в ней поднимется злость и неудержимое желание сделать ему какую-нибудь гадость... Бывает, и сделает, а когда натворит много досадного и он все глядит на нее, глядит такими виноватыми глазами, тогда она вдруг во всем повинится — и за то, что «не тот» про себя думала, и что нарочно опрокинула чернильницу, и в прошлом такое же вспомнит, и станет ей очень жалко его, и она эту жалость в себе за любовь примет, и начнет его целовать, и в лес уведет за малиной, расшевелит его, и он пробудится, как живой, любящий и невиноватый, как не виновен жук перед ласточкой, стремительно летящей, что не сразу может оторваться от земли и долго путается в траве и жужжит, пока соберется только крылья расправить.

Так вот, когда Милочка провожала на войну Алексея Мироныча и неутешно плакала, только мы с Анной

Александровной понимали, откуда брались у Милочки слезы: она этими слезами смывала все прежние «не тот» и смыть не могла. Наверное, Алеша был ей и вправду «не тот».

ОЗОРНАЯ ТРОПА

...Гляжу на Милочку, свою любимую птичку, и ясно вижу, что нисколько она не глупее других, а если взять ее в быстроте, то и мудрец удивится, как это можно так схватывать все на лету. До ухода Алеши на войну она служила чертежницей, но вдруг ее почему-то заинтересовало электричество, и она сделалась монтером в МТС. Мысль о том, чтобы сделаться монтером, пришла ей в голову однажды при случайной встрече с механиком на озорной тропе, и я думаю, именно вот затем-то и пришла эта мысль, чтобы Милочке каждое утро ходить по этой тропе.

Был тогда выходной день, и механик расставлял на бороздках согнутые прутики с петлями для птиц: перепелки бегали по бороздкам и с размаху, попадая в петли, их затягивали.

Милочке очень понравилось, что механик, объясняя ей, как нужно ловить перепелок, иногда заикался и от этого вдруг краснел, и большие серьезные глаза его становились виноватыми.

Мало-помалу, по мере того как механик больше и больше увлекался ловлей перепелок, в перемычках его и заиканьях Милочка сама, как перепелка, стала попадаться в петельку и тоже сама краснеть. Раздосадованная этим смущением, чтобы насильно преодолеть его, она наконец прямо сказала:

— Вы всегда так заикаетесь?

— Не всегда, — ответил он, — я заикаюсь, когда кто-нибудь незнакомый смотрит мне в глаза. Я боюсь тогда, что он думает обо мне дурно, и заикаюсь.

— Почему же именно чужой человек должен смотреть на вас с дурной мыслью в голове?

— Оттого, что страшно: чужой. Я тогда заикаюсь.

— А почему же вы теперь со мной перестали?

Он покраснел и, чтобы опять не заикнуться, помолчал. Она же в ответ ему начала было что-то говорить и остановилась: покраснела. Но, пересилив себя, сказала:

— Вам не мешает это, что вы заикаетесь?

— Иногда мешает, — ответил он. — Раз выдавали у нас хлеб: черный и белый. Мне нужно было купить белого, я пришел в ларек, стал в очередь, и когда дошло до меня, поднимает на меня продавщица глаза:

«Вам какого?» А я, как увидел эти глаза ее на себе, растерялся.

«Белого, — спрашивает она, уже совсем злая, — или черного? Говорите скорей, не задерживайте очередь». — «Если, — мелькнуло мне, — белый не сходит с языка, попробую по-другому». И вдруг отчетливо, без задержки, выговариваю: «Черного». — «Давно бы так!» — сказали в очереди.

И вышла неприятность: пришел белого хлеба купить, а ушел с черным.

Услыхав это, Милочка принялась хохотать и долго не могла остановиться. Но она смеялась не тому, что заика поневоле купил черного хлеба вместо белого, а что в его глазах, и серьезных, и очень красивых, и умных, на одно мгновение мелькнула какая-то веселая мушка, и через это и к ней перешло желание хохотать до упаду, до слез.

— Вы, наверно, все выдумали? — спросила она.

— Выдумал, — спокойно ответил он.

И опять та смешливая мушка совершенной невинности мелькнула, и Милочка мучилась долго, и, наконец, они вместе пошли по озорной тропе в МТС, и Милочка ему, незнакомому Сереже, открывалась:

— Я, Сережа, тоже постоянно выдумываю, и засыпаю с этим и просыпаюсь, мы в этом с вами очень похожи.

Но уж это известно, что влюбляются люди друг в друга в одно какое-то мгновение, и часто из этого единственного мгновения рождается целая жизнь. И когда дойдут до того, что кажутся себе похожи друг на друга, тогда все уже кончено: перепелка бежала, бежала по бороздке и вдруг затянула петлю.

Так вышло из этого только мгновения, что Милочка выучилась электричеству, забросила черчение и перевелась на службу в МТС по электричеству при сборке тракторов и грузовиков.

Кончается второй год войны. Даже самые старинные люди стали как-то иначе относиться к событиям, происходящим на озорной тропе, как у Милочки. Одна очень древняя старуха даже и так говорила:

— Милые деточки, спешите, спешите пожить, это еще не война. Вот будет война, когда людей тряхнут как яблоньку, и будет внизу только падалица, а наверху оклевыши. Тогда, если в какой-нибудь деревне увидят на заборе порточки — обрадуются: тут еще мужичок живет!

МОЙ ДРУГ

Не из книг, друзья мои, беру слова, а как голыши собирая с дороги, и точу их собственным опытом жизни. И если мне скажут теперь, что неверно о ком-нибудь высказываю, то я беру судью своего за рукав и привожу к тому, о ком говорил: «Вот он». А если это вещь, то укажу и на вещь: «Вот она лежит».

Так точно и о всем живом я, как словесный хозяин, могу каждого привести на место и указать: вот оно растет, так оно цветет, здесь умирает.

Но пришло к нам небывалое, чего не снилось никому на свете, и ни с чем, что было в веках, нельзя сравнить и охватить мыслью. Откуда же мне-то взять теперь слова?

Так лучше я не буду сушить душу пустыми словами и не буду людям, как маленьким детям, варить камешки и уверять их, что это горох варю, а они бы поспали, пока я достану им настоящего хлеба. Лучше открыто скажу и прямо, что не знаю и о самом главном молчу: мое молчанье есть моя правда.

Пробовал я начать повесть нашего времени с идеалом в душе летописца Нестора и скоро потерял свою мысль в идеале героя на льдине, но теперь чувствую: герой мой на льдине — уже не герой нашего времени, и сердце мое к нему холодеет, и мысль теряется.

Не герой на льдине теперь мой идеал, а мой друг, никому не известный солдат на войне. Все на свете повторяется, но жизнь его не повторится. Нет такого, как он, не было и не будет. Вот он ушел навсегда — и мы, близкие, смыкаем руки в кругу и дело его берем на себя.

Произношу эти слова: за жизнь моего друга — моя жизнь, берите ее! И, сказав это, чувствую, мне возвращается словесная сила, и я опять могу продолжать повесть нашего времени.

ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ

На полях, голубея, зацветал лен. Рано утром Милочка шла одна по своей озорной тропе. Перейдя поле, на лугу она встретила своими голубенькими глазками маленькую красную гвоздичку и очень ей обрадовалась. Ей представилось, что у диких несчетных цветов на лугу, тоже как и в садах, есть свой садовник, что он, конечно, любит все свои цветы, но сразу на все смотреть не может. И каждый безвестный цветок, на который он посмотрит, знаком ему и кажется лучше всех.

Вот сейчас он посмотрел на красную гвоздичку, и она для него сейчас лучше всех. Так хозяин любит все цветы, но каждый цветок любит больше всех. Поймав в себе эту мысль, Милочка, чтоб проверить ее, перевела глаза с гвоздички на незабудку, и вышло точно, как она думала: незабудка ей представилась лучше всех, а после незабудки тоже так анютины глазки.

«Вот и я такая же, — думала Милочка, — как эта гвоздичка, для всех ничтожная, а Сережа меня заметил и любит больше всех, и он тоже так, для всех какой-то заика, а я в нем люблю даже и то, что он заикается. Пусть же я буду гвоздичка, а он — голубой василек».

При мысли о голубом васильке ей вспомнилось что-то смутно, как будто она видела что-то голубое во сне. Но как только она сделала усилие над собой вспомнить сон, в памяти будто ящик задвинулся, и все исчезло.

«А может быть, — продолжала думать Милочка, — и каждый человек может сложиться с другим человеком в одного, как мы сложились с Сережей?» Милочка, встретив в себе такую мечту, громко засмеялась и даже всплеснула ладошками, и ей стало от радости тесно оставаться в поле одной, нарочно оглянулась назад, не догоняет ли ее Сережа. Вот бы теперь ему это сказать.

Но Сережа еще не выходил на озорную тропу, а Милочка найденную удивительную мысль продолжала развивать в одиночку.

«А если, — думала она, — в любви мы складываемся в одного человека, то вот почему, значит, когда полюбишь, то все люди приходят к тебе как хорошие, и не то что люди, а даже и цветы, и деревья, и птицы, и животные, и солнце, и месяц, и звезды — весь

мир в это время глядит на тебя и тоже весь по твоему примеру хочет сложиться в одно».

В это время Милочка незаметно для себя перешла с луга на поле голубого цветущего льна и, увидав вокруг себя все голубое, вдруг вспомнила сон: ей этой ночью привиделся Алеша, и так ясно, так отчетливо, в сатиновой голубой рубашечке, каких у него никогда не бывало, и ворот на рубашке-косоворотке был отстегнут: никогда косовороток он не носил, но тут ему это очень шло.

«Так вот отчего, — подумала Милочка, — мне тогда он был все как-то не тот, и, значит, я его не любила: ему не хватало голубой сатиновой косоворотки. А когда я теперь полюбила Сережу, то, конечно, и его люблю: он такой хороший в голубой рубашечке, он мне теперь как ребенок мой собственный».

Так она шла полем, и всюду сквозь желтую зелень глядели на нее одинаковые и бесчисленные голубые цветочки. Незаметно для нее догнал ее Сережа, и они вместе пошли.

— Сереженька, — сказала Милочка, — я сегодня ночью сон видела, и забыла, а когда вошла в лен, то вдруг вспомнила: голубой лен напомнил голубую сатиновую рубашку, каких никогда не бывало, и на голубом было лицо Алеши, измученное, и глаза его прямо на меня глядели...

— С упреком?

— Напротив, он так любовно в жизни никогда на меня не глядел. Если бы он хоть раз в жизни так на меня посмотрел, так я бы, наверно, тебе не досталась.

— С ним бы жила?

— Нет, наверно, ни с ним, ни с тобой... жила бы для всех, как садовник: он любит все цветы и каждый — больше.

И она подробно ему рассказала все: и как красную гвоздичку нашла, и как ей каждый цветочек лучше всех показался, и потом из всего — из людей, цветов, птиц, животных — сложился Весь человек.

— Это все я хорошо знаю, — ответил Сережа, — я часто думал об этом, только не знал, что о такой мечте можно, как мы с тобой говорим, кому-то сказать.

— Удивительно все у нас с тобой вместе складывается, мы с тобой необычайно похожи!

И так они пришли в МТС.

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД

...Домик, где жила Милочка, был точно такой же, как и все недостроенные домики в нашем поселке. На эти домики легла тень судьбы, разводящей начала с концами: началось и остановилось, а кончится после войны, когда все переменится и мы сами будем другими. Но внутри домика Милочки наперекор всему было и светло, и чисто, и наивно-уютно.

Всюду, перебегая, перекрещивались половички на чистом полу. На стене у одной тахты висело охотничье ружье Алексея Мироныча.

Милочка сидела на золотистой тахте и сматывала в клубок нитки. Против нее на чурбане сидел Сережа с пасьмой ниток на руках. Ему трудновато было подравнивать левую испорченную руку к правой, хорошей, но он как-то исхитрялся и виду, что ему неудобно, не показывал. При малейшей ошибке или просто мелькнувшей неуверенности в том, что не выйдет у него как следует, в чутких глазах его, как зыбь на воде, пробегала милая испуганность с готовностью немедленно повиниться. Милочка этим испугам сейчас же, как они появлялись, отвечала веселостью, и тогда глаза друга ее вспыхивали радостью. Это была пара милая, всем на радость.

Удивляет меня всегда и радует, что если такая пара появляется в природе, то все разные птицы, зверушки, цветочки, ароматы растений и все прекрасное соединяется в одно и служит любящим и день и ночь: днем поет жаворонок, ночью поет соловей.

Да вот и я сам, как подумаю о счастливцах, так будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари — черного дрозда с золотым клювом. Когда уж от реки туман поднимается, сажусь я черным дроздом на самый верхний пальчик высокой ели и пою. Слышит ли кто меня — не знаю, не для себя я пою, а управляю зарей: свистну по-своему — и все небо разделится на голубое и красное, на иной лад посвищу — и спустятся на красное синие кружева. И так, пока не станет совсем темно, под свист моего птичьего язычка совершаются непрерывно служебные перемены в цветах.

Может быть, с высоты этой ели видно больше, чем думают люди. Я свищу и зову любовно всмотреться

в эти милые лица: их, таких, точно еще не бывало на свете, и они в первый раз так сложились. Скорей же спешите обрадоваться, а то ведь и они, как эти цвета на заре, немного побудут, и переменятся, и уйдут навсегда.

— Сережа, милый, — говорит она, — толкни локтем окно, дай сюда больше воздуху.

Сережа попятился, толкнул, открыл окно...

— Такая тишина! — щебечет по-птичьи Милочка. — Мне кажется, я никогда такой тишины не слыхала, единственный поет певчий дрозд. Ты видишь его? Вот он, черный на красной заре.

— Вижу, вон сидит на верхнем пальчике елки — это черный дрозд с золотым клювом.

— А погляди, Сережа, как там, у реки, завертывается туман, будто кто-то большой курит и дым пускает колечками.

— Это, Милочка, древний птичий бог сел покурить у реки.

— Ну вот, мы кончили, смотри, какой большой клубок намотали. Как чудесно вечереет! Подвинься к окну, давай немного перед сном посидим, помечтаем.

Оба сели к окну на один чурбан и осмерклись, как парочка кур на шестке.

Мало-помалу совершенно погасла вечерняя заря, черный дрозд прекратил свою песню и с высокого дерева, прежде чем улететь, последним свистом объявил ночь.

Тогда древний бог, наказавший человека изгнанием, возвратил этим двум у окна свое благоволение и передал в их собственные руки продолжение великолепного творчества мира, прерванное непослушанием.

СТРАННИК

Человек в лесу, похожий на тень, идет, пошатываясь, от дерева к дереву... Сил у него только, чтобы не спеша, с передышкой у всякой полянки, переставлять свои ноги. Душа его свернулась, воображение и память оставили его совершенно, и глубокое сострадание к нему, мое или твое, я уверен, не удовлетворится одной человеческой помощью. Только теперь, когда у меня самого душу мою при виде такого челове-

ка срывает с места, я, наконец, начинаю понимать в сокровенной сущности своей огненные слова: «Не мир, но меч» — и добродетель прощенья и забвенья оставляю за собой, как пережиток детства.

Так идет в лесу человек, и могу ли я так оставить его и не помолиться за него новой, поднявшейся на сердце молитвой:

«Помоги мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить!»

Третий раз уж этот странник бежал из плена, и теперь, пожалуй, он больше бы и не решился: так был он слаб. Но в последний раз пленным бросили лошадь, как собакам. Люди терзали сырое мясо. После этого их вовсе забыли, и так пришлось куда-то идти...

Накануне была метель с сильным ветром, пурга залепила деревья. Когда из-под низкого неба, темно-серого, мало-помалу начал исходить утренний свет, в лесу не было, как всегда на рассвете, что свет обнимает собою темный лес. Теперь тот утренний свет падал на белые от свежего снега деревья, и рассвет, как отсвет, начинался внутри леса. Казалось, что лес светил сам от себя.

Так не часто бывает, и даже привычному бродяге это покажется странным. Но привычный, увидев вспомнит свои метели в лесу и поймет: так бывает. Этот странник не глядел на небо, а только вперед, и там он увидел на снегу тень от дерева и тогда только поднял вверх глаза. Там, наверху, он искал по старой привычке причину тени. Но не было и месяца, а тень была.

Странник долго стоял, видимо делая усилие понять явление света внутри темного леса. Пока он так стоял, не двигаясь вперед, может быть из осторожности, прошли те немногие минуты внутреннего рассвета в лесу. Когда общий свет вошел в лес, стало обыкновенно, и странник, опираясь на посох, опять пошел потихоньку от дерева к дереву...

В утреннем свете борода, и серое рубище, и шапка сливались с темными частыми стволами деревьев, кустами можжевельника, и белый, как снег, кружочек лица, казалось, висел в воздухе, и на этом кружочке, как два фонаря, два больших человеческих глаза, и каждый серый глаз был с красной каемочкой. Похоже было, будто эти вот висящие в воздухе два глаза и

есть все, что осталось от человека: глаза эти движутся медленно между лесными стволами, перемещаются, очень редко моргают, и никто не мог бы сказать, на что они смотрят и что они видят.

Так бывает — подстреленная дикая козочка-косуля, пока бьется, то все глядит вперед себя такими прекрасными живыми глазами, и со страхом ждешь, что вот она умрет и чудесные глаза перестанут глядеть. Но она умирает, а глаза все еще так же продолжают глядеть, и от этого становится еще тяжелее тому, кто стрелял: мертвая, все кончилось, а глядит как живая.

Вот отчего, наверное, у покойников закрывают глаза — понимаю теперь, как подумал о дикой козе. Открытые глаза покойника в чем-то упрекают живых, и я думаю, так оно и есть: какой живой не застыдится жизни своей при покойнике. Есть, есть этим большим глазам в чем нас упрекнуть, и жутко живому встретиться в лесу с такими глазами...

Глаза просили, чтобы живой человек их закрыл.

— Стой! — крикнул из-за деревьев невидимый человек.

Глаза остановились без всякого выражения страха и по-прежнему просили одного: их закрыть.

Невидимый человек все понял, и дуло винтовки опустилось.

На вопросы вооруженных русских людей странник долго молчал, как будто вспоминая, потом отвечал разумно и ясно. Партизаны много встречали таких, и допрос был недолог. Страннику указали путь, дали сухарей на дорогу, и вот он отдохнул немного, снова бредет от дерева к дереву. И еще где-то встретили и накормили, и где-то уложили, и он побывал вместе с такими же, и шел опять дальше и дальше, набираясь сил и снова лишаясь, пока не вышел, наконец, на свободную родную землю.

Тогда уже, когда лен зацветал, странник вышел из госпиталя и стал подходить к родным местам, и, может быть, тут впервые глаза его сосредоточились и заметили ранним утром, как сложенные на ночь голубые лепестки льна раскрывались и все поле голубело.

А когда вечером он подходил к дому, на этом родном поле голубые лепестки свертывались на ночь. Было уже совсем темно, когда странник остановился перед домом и постучал...

ГОЛУБОЙ ГОСТЬ

Лукавый не искушал Милочку, она спала и не слышала стука. А Сережа, начитавшись взятого у меня Гоголя, видел, будто он, как Вакула-кузнец в ночь под рождество, перекрестил лукавого и на пойманном черте мчится за черевичками для своей Милочки.

Не самый стук разбудил Милочку, а одеяло съехало как раз в то время, когда постучали в окно, и через этот близкий стук она услыхала стук у калитки.

— Сережа, — разбудила она своего друга, — поди, милый, погляди, там кто-то к нам в калитку стучит.

И пока Сережа ходил и там с кем-то у калитки разговаривал, она, на сон очень крепкая, успела вздремнуть и в короткий миг, как это бывает во сне, смешалось время, и она в этот миг насмотрелась столько, чего в наше обыкновенное время не уложишь и в сутки.

— Погоди, погоди, — пробормотала она вернувшемуся Сереже, — дай мне сон досмотреть.

— Милочка, — сказал Сережа, не обращая на ее просьбу внимания, — там пришел человек ужасного вида.

— Нет, нет, — ответила, не проснувшись совсем, Милочка, — это пришел прекрасный человек: у него голубая рубашечка из сатина и ворот отстегнут.

— Проснись, Милочка, какой там голубой, — весь измученный человек, и слова ему из себя выжимать очень трудно. Но я понял: он просится ночевать.

— Пусти же его!

— Как — пусти? Невозможно такого пустить, опасно! Я сказал: «Места нет». — «Как нет, — говорит, — у вас две комнаты». — «А ты, — спрашиваю, — почем знаешь?» — «Пустите, — говорит, — и накормите, я с дороги дальней». — «Картошки, — отвечаю, — я тебе принесу, а ночевать у нас не на чем». — «У вас, — говорит, — на чердаке есть раскладная кровать, принеси ее мне». — «Ты почем, — говорю, — знаешь?» — Молчит.

— А кровать-то, Сереженька, — ответила Милочка, теперь совсем проснувшись, — действительно у нас такая есть на чердаке. Как мог он это узнать?

— Может быть, перед тем у соседей выведал?

— Соседи этого не знают, никто о кровати этой не

знает. Ты, Сережа, поскорей зажги лампу. Дашь ее мне, а сам сними ружье. Это очень может быть, к нам разбойник пришел. Я буду светить, а ты выстрели.

И пока Сережа зажигал лампу, снимал ружье, она вспомнила сон и вернулась к нему, к этому голубому свету, проникающему сквозь камень и сквозь железо.

— Нет, Сережа, скорей всего это не разбойник, я видела сон необыкновенный. Голубой сон перед чем-нибудь очень хорошим.

В это время желтый свет керосиновой семилинейной лампы осветил комнату, дверь стала тихо отворяться, и непрошеный гость в рваной шинели, с палкой в руке медленно вдвинулся в дверь и на пороге остановился.

Все, что было темным в этой фигуре, — рубище, борода, шапка — при тусклом свете керосиновой лампы слилось с тенями. На темном от всего человека оставался висящий в воздухе очень белый кружок, и на нем были два больших серых глаза с красными каемочками, и для Милочки свет голубой исходил из глаз, как во сне. Она сразу узнала.

— Ты? — спросила она, как у видения.

Глаза, висящие в воздухе, смешались, медленно стали определяться на близких предметах, и глухой голос, как будто издали, ответил:

— Да, это я!

Милочка медленно, как бы больше лицом и грудью вперед, пошла навстречу видению, а руки забыла, и они отстали. Спешила идти, себе самой казалось: бросилась душой, а ноги чуть двигались и руки отстали.

— Ты, Алексей?

— Я!

Милочка подошла вплотную, и тогда руки сами поднялись и обняли видение, а ноги подгибались, как будто для того, чтобы руки могли, спускаясь, ощупать все тело и увериться.

И когда колени достали пола, Милочка вся упала к ногам, и слезы у нее из глаз полились и мочили грязные ноги человека так же, как мочат святые капли небесной воды весной землю, измученную стужей и вьюгами.

А Сережа в это время так и стоял с ружьем наготове. Красные пятна показывались у него на лице, и проходили, и опять вспыхивали в разных местах. На-

верно, это кровь у него, самая горячая и самая живая, переходила по жилам и собиралась там, где мы чувствуем сердце. После того как сердце закрепилось в непроницаемой броне, стало все понятным, и Сережа стоял только в ожидании распоряжений Милочки: он будет все делать, как скажет она.

— Сережа, — вскричала она, — милый Сережа! Чего же ты с ружьем стоишь? Брось, глупенький, скорей ружье, беги за корытом: понимаешь ли, гость-то какой к нам пришел!.. Ты за корытом, а я — печку топить, воду греть. К Наташе забеги, разбуди, винца попроси, скажи: у Милочки радость — Алексей Мироныч пришел. К Анне Александровне тоже беги, попроси у нее одеяло и сухой малины, скажи ей: у Милочки радость — Алексей Мироныч пришел.

И Сережа бежал, доставал, гремел цинковым корытом, цепляясь в темноте за деревья и столбики. А Милочка таскала дрова, и зажигала, и бегала за водой, и ставила воду на горячую плиту, и тут же грела самовар.

А странник сидел у стола, подпирая ладонью тяжелую голову. Горе души его было тяжелое, тело чужое, давно пронизанное холодными дождями, давно промерзшее, нерастаянное, и много, много было нужно Милочке горячей воды и теплого воздуха, чтобы его отогреть, высушить и, может быть, даже зажечь и осветить всю душу изнутри радостью жизни.

О ДРУЖБЕ

На другой день после возвращения Алексея Мироныча, конечно, не только весь наш поселок загудел как пчелиный улей, а далеко вокруг по деревням и селам женщины передавали друг другу дивный случай в поселке «Ключ правды»: старый муж вернулся с войны, а новый бегал для него в поселке за корытом и одеялом. Но дивно мне было не то, что люди языки трепали, а что мало как-то было шуму для такого случая, как будто живучему зверю этому — сплетне — хвост прищемили.

Свет на это странное дело стал падать из дома Ивана Гавриловича: Милочка нашла себе полное понимание в сердце Анны Александровны. К этому присоединилось еще и то, что Иван Гаврилович, посте-

пенно выздоравливая, как будто к нам с фронта какую-то новую дружбу принес.

— А как вы думаете, — говорил он, улыбаясь, как маленьким детям говорит старший о том, что видел своими глазами, а они только наслышаны. — Иначе и быть не может, и вы ждите этого уверенно: истинная дружба к вам с фронта придет. Вот вы тут себе домики настроили, одному так удастся, другому иначе, спорите между собой, завидуете, огорчаетесь. А там всем задача одинаковая: рубить дом для всех.

— Верно, — отвечали ему тыловики, — только мы думали, что вы там к смертям привыкаете и тем истощаете в себе радость жизни.

— Нет, — отвечал Иван Гаврилович, — у вас жизнь за жизнь задевает: один, может быть, лет двадцать живет — не умирает, а другой на него смотрит и себе начинает страшиться. У нас же там страх за свою жизнь короткий. Приходит человек, и у него нет ничего своего, не таится он, не лукавится, и ты с ним сразу друг, и один миг тут отвечает за весь пуд соли, а через час он возле тебя мертвый лежит, и новый приходит, и ты с ним тоже в миг один пуд соли, и опять он тебе друг, и уходит как друг. И до того там все общее, что иногда на какое-то короткое мгновение даже усомнишься: друг это твой или ты сам мертвый лежишь?

Да, можно сказать твердо, и это так радостно нам: Иван Гаврилович с войны дружбу принес, и это так удивительно — бил, колол, в него стреляли, били, чуть не погиб, а в конце концов, когда оправился, стал славить дружбу и жизнь.

И были, конечно, такие, кто, слушая Ивана Гавриловича, с этой высоты смотрели на Милочку и ее понимали.

С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ

До того было трудно выздоравливать Алексею Миронычу, что когда начал он уже и явно поправляться, то выходило это, будто друзья ему навязывали жизнь, и он принимал ее с какими-то своими тайными оговорками. Из госпиталя ушел он еще очень слабым, а тут еще отразилось у него все на глазах.

Когда Милочка уходила на службу, ее сменяла

Анна Александровна, готовила, приглядывала, и мы тоже все старались почаще бывать, читали ему вслух, отвлекали его от тяжелых мыслей. Он слушал внимательно, только видно было по глазам, что не понимал, как мы, а переводил наши слова на свой, непонятный нам язык. И даже в таких местах, когда никому невозможно было удержаться от смеха, он никогда не улыбался. Только чуть-чуть начиналась в глазах его улыбка, когда показывалась Милочка.

Сережа куда-то переселился на это время, но часто приходил помогать Милочке. Делая что-нибудь в комнате, Сережа ловил на себе внимательный, тяжелый взгляд больного и тогда начинал краснеть и заикаться на каждом слове. Это замешательство, по-видимому, доставляло Алексею какое-то удовольствие: каждый раз, как Сережа начнет заикаться, глаза больного светились улыбкой, и даже, случалось, шевелились щеки и губы. Было похоже, как если бы человеку умирающему, готовому покончить с земными счетами, положили на ноги любимую собачку, и она наползала бы ему на грудь и с напряженным вниманием ждала, чтобы он открыл глаза. И бывает, такой больной откроет глаза и на любовь собачки ответит улыбкой.

Уход за больным был у нас как за своим близким человеком. Мало-помалу он стал веселеть, потом прогуливаться, и зрение его поправилось. Но разговаривал только о чем-нибудь совсем простом и особенно любил выспрашивать у Сережи о перепелах и повадках животных. Это внимание к жизни природы было чем-то новым. Скоро дошло до того, что он вместе с Сережей стал ловить на удочку окуней и карасей ставными сетями в торфяных прудах. Со стороны теперь его можно было принять за совсем здорового, но только мы, близкие, понимали, что он не просто отдавался чувству жизни, а лишь опирался на это и думал каждый час, каждую минуту о чем-то своем.

И было однажды, когда солнце садилось, вышел я за околицу, сел на камень и спиной прислонился к плетню. Задумался я, свернулся сам в себе комочком.

— Ты что же тут вянешь, Алексей Михайлович? — услышал я над собой знакомый голос.

И вижу — тезка мой Алеша в походной одежде стоит передо мной с котомкой на спине — куда-то собрался.

— Подвинься-ка, — говорит, — простимся с тобой. Вот зачем я тебя искал: собрался я, родной мой, совсем уходить.

И подает мне пакет на имя Милочки. Я, конечно, понял его и спрашиваю:

— Ты это не из-за обиды уходишь?

Он спокойно и незлобно засмеялся.

— Это пускай кто-нибудь другой скажет, только не ты, Алексей Михайлович. Ты же знаешь меня всего: когда и с кем я за свое личное воевал и даже обижался? Милочку ты тоже знаешь: я ей сейчас только глазом моргну — и она уйдет со мной на край света, потому что уйти на край света за мной будет у нее не для себя, и в этом она находит источник силы и решимости. И понял-то я Милочку только теперь, Алексей Михайлович, мой дорогой, — значит, любить только теперь я научился. Может быть, теперь только Милочку я впервой и увидел.

Так вот я и хочу весь труд жизни себе взять, чтобы она пожила. Прошу тебя, дня три подержи это в тайне, а когда я буду далеко, отдай ей эти бумаги. Я очень боюсь, что, когда Милочка узнает, не помирится она с этим, не пожелает проститься со мной и принять любовь для себя.

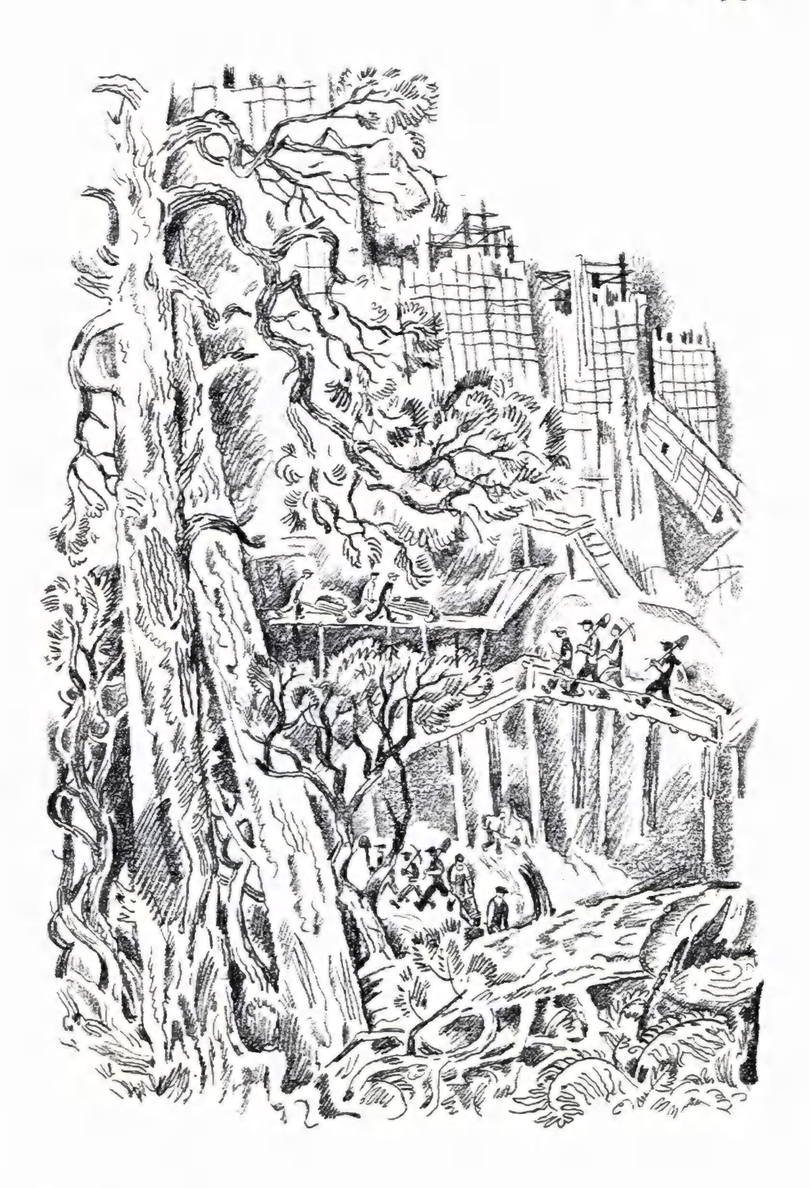
— Понимаю, Алеша, — сказал я, — тайну сохраню, как ты мне велишь.

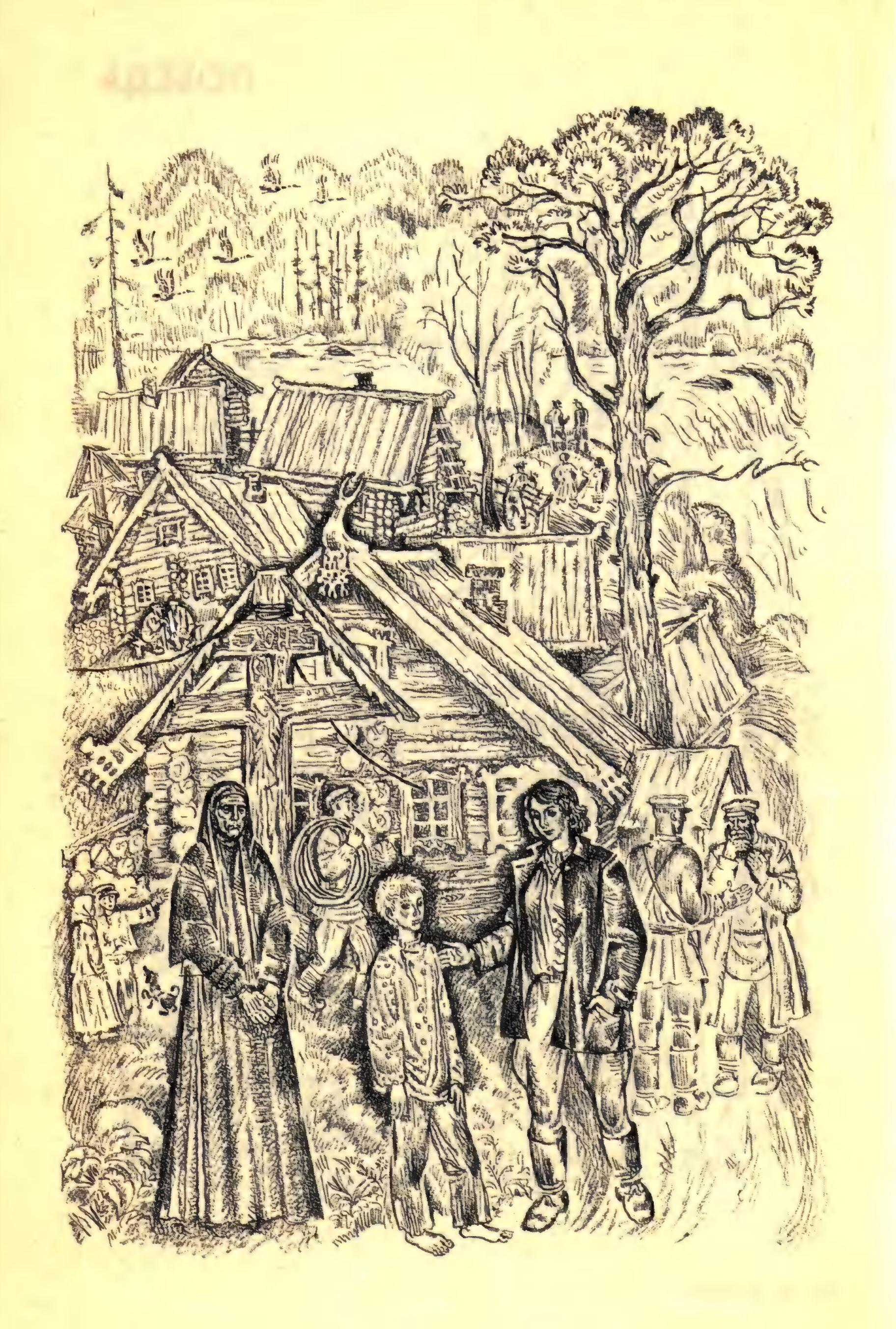
Так он простился со мной, чтоб в городе получить направление на работу в разоренных местах.

Снял я шапку, обнял его, простился и с непокрытой головой долго стоял и глядел ему вслед.



ПОБЕДА





Война приближалась к концу. Пришвин вернулся из ярославских лесов и поселился под Москвою, вначале ненадолго в Пушкине, а в 1946 году окончательно под Звенигородом, в небольшой деревеньке Дунино, среди лесов, на высоком берегу Москвы-реки.

Дунино стало последним и очень любимым местом жизни и работы Михаила Михайловича. «...Мне кажется, будто я вернулся в любимые места своего детства, в лучшее прекрасное место, какого и не бывало на свете».

Несмотря на преклонный возраст Михаила Михайловича, годы, проведенные им в Дунине, были на редкость плодотворны. Достаточно сказать, что одна треть всего вошедшего в посмертное Собрание сочинений писателя создана им в Дунине.

Победное окончание войны Пришвин встретил повестью «Кладовая солнца». Эта повесть с простейшим сюжетом о двух детях, заблудившихся в лесу, по внутреннему смыслу своему и была о победе — победе высокого человеческого начала в природе.

Той же теме посвящено сюжетное продолжение «Кладовой солнца» — повесть «Корабельная чаща». В ней те же дети — сестра и брат — отправляются на поиски своего отца в северные леса, куда тот направлен на работу лесником после фронтового ранения. Обе повести названы Пришвиным «сказками». Сказка — это точное определение стиля и содержания пришвинской прозы. Реалист, он передает свое видение мира излюбленным приемом русской народной словесности, и мы еще раз убеждаемся: один из главных источников пришвинского искусства — это фольклор.

В Дунине мы продолжали переписку многолетних дневников Пришвина, начатую во время войны в эвакуации. Дневник этот охватывает почти полвека. Какое значение для самого Пришвина представляли его дневники, можно судить хотя бы по следующему его высказыванию: «Наверно, это вышло по литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников».

Иными словами, лучшие силы свои Пришвин тратил на попытку понять жизнь и в этой жизни себя самого, а не на осу-

ществление профессиональной задачи: облечь размышления в форму, в которой они немедленно дошли бы до читателя.

Не будет преувеличением сказать, что М. М. Пришвин в какой-то степени жил своим дневником — это было его второе, отраженное существование. Это дневник меняющегося, напряженно ищущего человека, не останавливающегося и не тускнеющего до последнего своего дня.

Поэтому, как не выдуманное, а подлинное отражение жизни, дневник исполнен и света и тени, и ошибок и прозрений. Прочитанный от начала и до конца, он представит собою искреннюю повесть о своем времени и о самом себе, повесть о созревании в жизненной борьбе души художника.

Дневник в течение многих лет был единственным подлинным другом и собеседником писателя. Таким образом, ведение дневника превратилось у Пришвина в насущную потребность, в условие существования. Однажды, это было еще до революции, Михаил Михайлович спас свои дневники во время деревенского пожара. Он вбежал в горящий дом и выхватил одни только тетрадки дневников. «Так все дочиста у меня сгорело, — но слова мои не сгорели. Нес я эти тетрадки — эту кладовую несгораемых слов — за собою всюду... Мои тетради есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни».

Так мы и повторим сейчас вслед за Пришвиным, что дневники были для писателя делом его «совести» и в этом смысле он вел их без всякой мысли о печати. Но, конечно, они были еще и «кладовой», из которой он черпал и мысли, и образы для своих профессиональных производственных целей. И все это на фоне и личных переживаний, и общественных событий записывалось изо дня в день с точностью летописца и волнением непосредственного участника — творца и художника собственной жизни.

«— Что важнее для меня — искусство или жизнь?» — спрашивает однажды Пришвин. И где, — продолжим мы его вопрос, — реальная грань между ними?

Вызывала удивление и величайшее уважение эта неуклонная работа над впечатлениями прошедшего дня ранним утром последующего. Пришвин не позволял себе никаких скидок в этом деле на настроение, обстановку, здоровье. День, не попавший в дневник, в каком-то смысле был для него только черновым наброском для еще не написанной картины. Часто он ложился спать раньше *для того,* чтобы скорее наступило утро, когда он запишет минувший день: вечером он, по его признанию, был «не работник», не верил своему вечернему восприятию и, по-видимому, до вечера не сохранял необходимых рабочих сил.

До глубокой старости он был в течение дня неизменно деятелен. Время проходило в Дунине не только за письменным столом — оно было заполнено и уходом за машиной, которую он водил и обслуживал сам. И фотографией, служившей для писателя подсобной «записной книжкой». И чтением. И прогулками пешком. И поездками на машине главным образом все с той же писательской целью. И беседами с каждым, кто искал его общества. Но раннее утро — «заутренний час» — Пришвин не устает прославлять, как время гармонического настроя человека в унисон со всей природой и потому как лучшие его рабочие часы. Его «знобит» от восторга в этот час пробуждения к деятельной жизни отдохнувшей природы, природы, омытой ночным молчанием и сном.

С дневником Пришвин не расставался ни ночью ни днем. Трудно вспомнить такую ночь, которая не прерывалась бы осторожно зажигаемым огоньком маленькой настольной лампочки у его постели. Иногда мы встречаем запись, сделанную на ощупь в темноте.

Днем мы постоянно заставали Михаила Михайловича с записной книжкой в самой разнообразной обстановке. Один — и в обществе людей среди разговора, за рулем машины — и во время прогулки на ходу, Пришвин неожиданно вынимал свою записную книжку и с характерным выражением сосредоточенного внимания к неожиданно посетившей его мысли, то взглядывая поверх очков, то на бумагу, внезапно покидая своего собеседника, он делал короткую отметку карандашом. На следующее утро заметки дня с присоединением всего незаписанного, лишь хранимого в памяти, переносились из карманной записной книжки в дневник за письменным столом, а очень часто и за ранним утренним чаем, в обществе неразлучной собаки. Вот как, например, отмечаются в дневнике эти рабочие утра: «Работаю с утра на веранде; петух начинает мой день. Земля приморожена и слегка припорошена по северным склонам. Пью спокойный чай на темнозорьке. Солнце выходит золотой птицей с красными крыльями, над ним — малиновые барашки».

Дневник Пришвина — это, вероятно, высшее в его искусстве. Или скажем иначе: это нечто более глубокое, чем просто искусство, чему я не нахожу названия. Может быть, в нем мы вступаем в ту область, которую Пришвин назвал «искусство как поведение».

Как понимать это пришвинское определение?

Мы понимаем его так: Пришвин требует от себя как от художника полной отдачи своему делу, такой отдачи, чтобы исчезло разделение между делом и так называемой «личной жизнью».

Что значит такая цельность в человеке и как она достижима?

Пришвин отвечает: «Это есть радостная способность избавляться от себя», иными словами — от эгоистического индивидуализма, от «самости» своей. Это самоотдача. И это счастье.

Притом Пришвин не устает твердить, что такое «поведение» достижимо каждым человеком и в нем не должно быть избранников: каждый в каком-то смысле, в какой-то мере может стать художником своей жизни.

Трудно найти свое призвание. Но для этого нужно одно: не заглушить в себе зов, сохранить его чистоту, не пойти на «подмену золота фальшивой кредиткой». Не разделить свою жизнь на «для души» и «для хлеба».

Сам Пришвин был так естествен и прост в личной жизни, что отвращался от учительства, стараясь никому не навязывать свою «тайну»: он либо сам в себе ее не замечал, либо подчас внезапно останавливался перед ней в детском удивлении.

Однажды мы спросили К. Г. Паустовского, что ему нравится у писателя Пришвина, и он ответил так: «Нравится многое, но больше всего ценю я в Пришвине, как он живет».

«Пишу как живу», — повторит Михаил Михайлович незадолго перед смертью, оканчивая последнюю редакцию «Кащеевой цепи».

Читая дневник Пришвина, вспоминаешь его удивительные слова: «Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы».

Паустовский в «Книге скитаний» написал о дневнике Пришвина так: «Это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений — таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если только их расширить, на целую книгу».

Вглядываясь в страницы дневника, мы открываем для себя самый секрет пришвинского стиля: писатель вначале как бы выходит из себя и совершает мысленный круг по вселенной. Иногда этот круг охватывает весь мир от неба до земли. Иногда это одно лишь освещенное солнцем пятно на мху. Или капля росы на кусте акации под окнами дунинского кабинета. Описав такой круг, Михаил Михайлович вновь возвращается к себе, как к своему источнику, и открывает в себе самом нечто для себя новое и ценное. И тут мы понимаем: этот человек сам для себя загадка, но, что самое существенное, таков и каждый из нас. Понять себя и после отдать себя жизни — это, оказывается, стоит перед каждым человеком: понять — и отдаться жизни, ожидающей от нас такого радостного взрыва Личного, переходящего в большое Общее.

Дальше непременно случается с каждым из нас так: чуть вздохнул облегченно в понимании, в примирении с самим собой —

и тут же начинает в тебе звучать тот голос совести, о котором мы уже не раз начинали здесь разговор с читателем. Она-то, эта совесть, и взваливает с первых же лет писательства на плечи Пришвину одну-единственную ношу — одну мысль, одно переживание. Это тема об отношении личности к обществу, по терминологии Пришвина — нашего «Хочется» и нашего «Надо». Или еще иначе: тема о ценности личности, незаменимой и единственной, и ее долге перед общей жизнью. Ради этой личности и совершается, в сущности, всякое дело, всякое творчество на земле. И в то же время она часто и неоправданно приносится в жертву общему.

Эту тему Пришвин связывал с судьбой Евгения из «Медного всадника» и самого Пушкина, «замученного судьбой бедного Евгения». Он пишет в 1947 году: «Был цветочек чудесный. Пришла коса на него: это царь природы косит сено для своей коровы».

С этим примириться невозможно. С превращением в сено — цветка! Вот почему с годами тема «человек и общество» принимает у Пришвина такую форму: «Как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?» Борьба за Евгения переходит у писателя в борьбу с жестокостью несгибаемых обобщений, догматических выводов, железных формулировок. Они противопоставляются им самой жизни, меняющейся, в росте своем самообогащающейся: «Вы думаете о правде как о неподвижной скале или как о корове молочной? Живая правда живет и пробивает, как все живое, себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама. Дон-Кихот вбил себе правду как гвоздь, а правда как зеленый росток среди весеннего хлама: страшно смотреть, какая борьба! А пройдет время, и все станет зеленым: правда победит, и наступит век правды». «Реальность или утверждение находятся ни там, ни тут, а в движении души, в самом потоке жизни, и в его необратимости, и становлении». Так ясно проявляется диалектика мышления Пришвина-философа.

Долгие годы и вплотную с начала 30-х годов Пришвин готовился к единой, объединяющей эти мысли работе. Это будет роман, переменивший несколько названий. Последнее — «Осударева дорога». И что очень существенно для нашего понимания — «роман-сказка».

В 1946 году, поселившись в Дунине, Пришвин немедленно принялся за работу и окончил роман в 1948 году. Но это оказалось самообманом, роман продолжался и мог окончиться лишь вместе с жизнью его автора. И вот почему.

Сюжет романа прост: еще при царе Петре Великом был задуман водный путь, соединяющий два моря — Белое и Балтий-

ское. Происходит это на нашем Севере среди дремучих лесов Карелии. Как осколки разбитого зеркала, блестят в этих лесах бесчисленные озера и вьются большие и малые реки. Царь приказал прорубить просеку — и потащили волоком посуху за царем его суда. В народе так и осталось с тех пор название — Осударева дорога. Пришвин увидал ее незарастающий след и услышал это название в свои первые путешествия по Северу в начале века.

Но вот наступило новое время, лет сорок тому назад пришли сюда новые люди и стали прорывать по старому следу великий водный путь. Новые люди встречаются со старожилами, насельниками края, почти не тронутого ни крепостным правом, ни революцией. Происходит борьба старого с новым. У новых людей также идет борьба между собой. Новое рождается не просто и не сразу.

Таков внешний сюжет. Но подлинный смысл романа был гораздо шире. Это был поиск нравственного выхода из борьбы Медного всадника с Евгением, или, иначе, говоря словами Пришвина, поиски «выхода из давки».

Роман по внутреннему своему содержанию начался, как только Пришвин взялся за перо, и шел с ним неотступно всю жизнь. Эта была, по словам Пришвина, «сточная яма», куда он, автор, «отводил свои мысленки». Было то, о чем мы часто молчим. Но у художника, хочет он того или не хочет, «мысленки» неумолимо требуют воплощения в образы и слова. Основная труднейшая задача для художника — это двигаться вместе с жизнью, участвуя во всех ее изменениях, и в то же время оставаться самим собой.

Это движение мы наблюдаем у Пришвина из года в год.

В 1946 году он записывает: «Узнал, что Петр ехал по осударевой дороге, а за ним везли виселицу. А Пушкин: «Да умирится же с тобой» и «Красуйся, град Петров...»

Для человека современного сознания невозможно оправдать такую дорогу. Вот почему дальнейшие размышления Пришвина сводились к тому, чтоб понять пушкинское противоречие и найти из него нравственный выход.

Об этом такая запись: «Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Но, верно, надо быть очень богатым душою и мудрым... И вот только если я открою в себе это большое чувство, я напишу свою сказку».

«Медный всадник («Надо») есть образ безличный, образ человеческой необходимости, через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Он прав в своем движении, и Он не будет

мириться, а с ним будет мириться «стихия» путем рождения личности».

«Итак, «да умирится же с тобой... стихия» означает рождение личности, как и физическое рождение человека...»

Мы наблюдаем, как Пришвин прорывается сквозь историческую необходимость к высшей для него эстетической ценности — к прекрасной личности человека, к тому, что, по его слову, «выжало» из себя человечество на своем бедственном пути. В романе это выражено в двух лицах: старике Волкове, бывшем капиталисте, и начинающем жизнь чистом мальчике Зуйке. Оба они совершают сложный путь борьбы с необходимостью, прежде чем находят свою внутреннюю свободу и вступают, наконец, в гармонические отношения с окружающим миром природы и людей. Для этого Пришвин опускает старика Волкова в мир уголовных преступников, а мальчика сталкивает, кроме того, с бесчеловечной природой. Так же Л. Толстой разрешил подобную задачу в масштабах, поставленных его временем, в плане реалистического романа, проведя Пьера и Платона Каратаева через жестокости войны и плена; Пришвин, следуя за великим учителем в искусстве, ставит себе целью разрешить ту же задачу, но он избирает себе форму романа-сказки.

Так происходит встреча старого с новым через внутренний опыт художника. Об этом мы сейчас говорим еще и потому, что все такое переживает по-своему — по своей совести — каждое новое поколение, вступающее в жизнь. Оно приходит со своей душой, со своим видением мира. Это его право и его задача.

Не только отвлеченные формулы, выношенные из прошлого опыта, передает художник им — новым людям, но еще и живые, подвижные, многозначные образы, в которые он этот опыт облекает. Так поступает всегда подлинный художник, избегая навязчивости, риторики, и потому оно надолго остается живым и нужным.

«...Разве зеленые листики помнят о прошлогодних, ставших теперь удобрением? И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть, и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня в надежде на что-то новое, небывалое?»

«Тут, вероятно, — пишет Пришвин в другом месте, — не обойдешься без приема уничтожения времени...» Иными словами, скажем мы, без приема сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе». Вот почему роман у Пришвина и назван сказкой. Автор в ней делает попытку посмотреть на жизнь, на современное строительство, на участников его чистыми глазами неопытного ребенка. Он пишет: «Фокус вещи или глав-

ный план — чистота души Зуйка, как вообще смысл таких катастроф есть рождение новых личностей, сосредоточивающих в себе смысл событий».

Художественный образ говорит нам подчас больше многих научных и логических доказательств. Вот, например, в «Осударевой дороге» рассказ кончается картиной великого и страшного разлива на зоне затопления. Мы видим водяную крысу, спасающуюся от воды, и мы узнаем свое родство с маленьким умным животным, когда в глазах ее мелькает огонь мысли. Мы видим подобную же борьбу за жизнь в Зуйке, но он, человек, борется уже не за одного себя — он борется за всех животных, собравшихся на его плави́не, и он спасает их.

Перед нами проходит сложная жизнь, исполненная силы, величия и тайны. Но у человека — царя природы — нет еще и, возможно, никогда не будет последнего слова ее понимания: «Так ответ на вопрос и откладывается до новой встречи с большой водой... И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана». Так поэтически недосказанно кончается роман.

Предвосхищая далекое будущее вселенной, Пришвин пишет в своем романе: когда солнце остынет, «не зажжет ли тогда человек свое солнце, или, может быть, свою землю подвинет к горячей звезде, и, может быть, даже весь мир когда-нибудь соберет под огонь мысли своей человеческой?»

Роман так и остался неоконченным. Автор многократно от него отказывается и снова садится за работу. Он бесконечен, потому что пишется параллельно с самой жизнью автора.

«Осударева дорога» — произведение центральное для Пришвина и в то же время до трагичности не отражающее всего богатства материалов, оставшихся в записях. Автор не мог отдаться свободному потоку мысли. Иногда Пришвин сомневается в самой возможности для художника осмыслить текущую действительность. В конце жизни он заключает: «...Итак, возможно ли найти ключ к замку от таинственной двери, за которой каждый хочет делать то, что надо делать для всех?»

Необходимо вслушаться в самый тон этих пришвинских записей, сделанных только для себя, чтоб понять состояние души писавшего:

«Итак, выхожу один я на дорогу. И какой это кремнистый путь, и как больно ступать босой ногой. Но я слышу, как говорят звезды, и иду».

Интересна смена эпиграфов, по которым, как по вехам, шел роман у Пришвина в течение двух десятилетий его обдумывания. Первый: «Ужо тебе, Строитель!» Второй: «Да умирится же с тобой

и побежденная стихия». Вся дальнейшая история романа есть, по существу, борьба этих двух противоположных по значению мыслей, пока в длительной борьбе неподкупной писательской совести не родится третий эпиграф, взятый из древней книги псалмов царя Давида: «Аще сниду во ад, и ты тамо еси» *.

«Насколько все идет «не от себя», что успех или неуспех вещи моей приходят в полное равновесие... Тревожит меня только таящаяся в недрах народной души оценка, от которой никуда не уйдешь, если в чем-нибудь сфальшивил».

«Любить жизнь значит забывать все плохое («переживать») и удерживать все хорошее. Огромное большинство молодых людей этим и живут. Но есть вера и решимость другая: молодой человек просит, чтобы ему все понять, не забыть и не простить.

Наша революция вышла из этой последней решимости, а когда она победит врагов и будет людям жить все легче и легче, эта злая вера растает в естественной жизненной вере в торжество добра забывать плохое и сохранять хорошее.

Знаю, что подстилало доброе дело постройки канала, но я хотел не о подстилке написать, а о том, как по-доброму отразилось в душе мальчика строительство канала. Гадость подстилает все на свете. Гораздо труднее найти хорошее. Не порочность в основе моей работы, а здоровье и добро, а долго писалось потому, что трудно было справиться с мерзостью и вытащить из нее душу младенца.

Посмотрите на докторов: один ищет болезнь и находит, другие ищут здоровья и тоже находят, что каждый человек, кроме безнадежных, чем-то здоров. Тот доктор, находя, чем жив человек, поощряя здоровье, преодолевает болезнь. Я хотел найти добро... Вот отчего начиналась борьба: добро мое боролось с наличием зла.

Итак, мне как автору необходимо подчинить себя, свое мнение, свое «Хочется» творимому единству мнений, называемому у меня в романе именем «Надо». Словом, я сделаю с собой то самое, что сделают с собой все мои герои — строители канала.. Все мы освещены одним светом этого «Надо». И это «Надо» несет нам ветер истории...»

«Опять сижу за работой над поправками романа... Было в романе столько заплат, что совсем уже не могу судить сам. Пусть люди судят. Роман... не то, что я хотел».

«Вчера пробовал читать «Осудареву дорогу», и эта книга мне показалась картиной моей борьбы и моего поражения. Решаю прочитать всю книгу с карандашом и отметить все там, где я

* Собрание сочинений, т. 6, стр. 815.

уцелел как художник, и попробовать на основе этого материала сделать новую вещь».

«Хорошо бы переделать «Осудареву дорогу», вернее, осуществить замысел самый первоначальный: изобразить рождение коммуниста в мальчике Зуйке на фоне крушения старого мира и борьбы и восхождения нового. Мудрость автора должна сказаться в том, чтобы дать картину возможного коммунизма, в который все мы верим, который должен победить, и отделить его от картины провалов на пути к цели... Но дело в том, что в моей душе содержится евангелие коммунизма, и оттого все, что ниже его, все, что есть «заменитель» (как «подходящее»), не выйдет из-за моей совести».

Перед смертью Пришвин садится вновь за коренную переработку романа.

«Скорее всего разом взять роман невозможно, и надо утешаться тем, что Гёте всю жизнь писал «Фауста».

Из дневниковых записей Пришвина мы видим, как много размышлений вызывала работа над «Осударевой дорогой». Они не умещались в ткань романа: «Мой роман потому так убийственно медленно движется, что требует для постройки своей колоссальное количество лесов. Я думаю, что если вдруг явился бы охотник собрать в единство эти леса, то ценность их намного превысила бы ценность романа».

Кое-что из этих «лесов», то есть попутных размышлений к роману, включено в книги, составленные по дневникам писателя после его кончины. Это «Глаза земли», «Дневники военных лет», «Дневники последних лет» и, наконец, «Незабудки».

В нашей книге мы приведем лишь заключительную главу романа. В ней мы застаем мальчика Зуйка в момент, когда он находится на краю гибели: он убежал со строительства канала в поисках такой жизни, где не работают, а только царствуют; заблудился в лесах. Теперь он попал в зону затопления, а на канале в это время происходит его торжественное открытие.



ОСУДАРЕВА ДОРОГА

(Отрывки из романа)

ПОБЕДА

> Да умирится же с тобой
> И побежденная стихия.
>
> Пушкин
> («Медный всадник»)

Весенние реки наговорились, и намолчалась земля. В одно теплое утро в тишине перед восходом солнца с воды начали подниматься свободные капельки: они больше теперь не работают — они уходят вверх, к себе, в облака. И журавли трубят им победу.

Было время, когда капельки на проволоке, набегая друг на друга, сливаясь, тяжелели и падали. Теперь капельки больше не падают, а поднимаются вверх, встречаются и, не сливаясь, образуют легкие свободные облака. Мы на досуге, вглядываясь, узнаем в облаках свою жизнь, о чем-то догадываемся, отдыхаем. И бывает тогда, что друзья наши, и журавли, и вся природа трубят нам победу.

ПЛАВИНА

На берегу озера Онего стоит город Повенец, и тут из озера вход в великий канал, соединяющий моря Белое и Балтийское. Прозрачным синеватым туманом поднимались капельки в утренний час, и им было хорошо: вода забыла свой плен. Как будто даже и не очень-то хотелось капелькам улетать в небеса, — на всякой вещи, сделанной рукой человека, они оседали. Желтая блестящая полировка шлюзовых ящиков покрылась тем же самым синеватым туманом.

У входа в канал собрались начальники в кожаных пальто и форменных фуражках, готовясь к парадному пуску первого парохода. Вокруг все было готово к празднику, и садовник-декоратор с гордостью указывал на васильки на береговых клумбах: васильки эти сюда из Средней России доставили, васильки тут не растут. И мы узнали среди многих цветов и наши простые незабудки — пять голубых лепестков и среди них золотое солнышко.

Наконец подошел и герой праздника — небольшой пароход «Чекист».

На нем все было по-праздничному чисто, полировано и покрыто синеватой дымкой умиренной воды. Тут на борту собрались инженеры, и каждый на лице своем нес теперь отражение общего света человека-победителя: это были все люди, умевшие растворить личную обиду в труде, смыть ее в творчестве.

Вместе с инженерами тут были тоже и начальники узлов. Сутулов с Улановой стояли рядом у борта.

— А ты помнишь, Саша, то время, — сказала Уланова, — когда мы приехали в Надвоицы и попали за стол к староверам и как разгорелся у нас спор о том, как надо по-настоящему жить: вот именно, как должно или по своему желанию. Ты, конечно, ответил, что жить надо по закону, и староверы поняли это смешно для нас: по священному писанию. А я сказала, что если до смерти захочется, то можно пожить и по желанию. Ты понимаешь теперь, — это у меня тогда еще была мечта о Степане...

— Понимаю, но у меня тоже была мечта о тебе, а я это свое личное желание не смешивал же с тем, что надо.

— Ты счастливый, ты цельный человек, но не все

такие. Вот бабушка — сколько борьбы приняла на себя старуха, чтобы в последние дни стать мирскою няней и умириться с собой. И помнишь, как вскинулся этот мальчик Зуек, когда я сказала свое: «По желанию».

— Как же не помнить! Я потом с ним немного погорячился и часто вспоминаю о нем: после того он, наверно, и бросился к уркам, и они его довели.

— Урки, ты думаешь? — рассеянно сказала Уланова.

Сутулов ничего не сказал. Помолчав, он снял Машину руку с борта, растер на ней насевшие капельки тумана своею рукой и сказал:

— Мальчик пропал, как роса.

— Роса, — сказала Маша, не отнимая руки, — роса не пропадает, она улетает. Саша, и не думай, что он непременно пропал! Нет ни одного хорошего человека, кто не рисковал бы в своих заблуждениях. Но жизнь больше, она сильнее наших заблуждений и рано ли, поздно ли выводит нас на путь. И потом тут не ты и не урки. Я по себе знаю: тут у него была мечта о совершенстве и одиночество в ней. Как это сделать, чтобы разбить одиночество, а мечту не разбить?

— Нужен труд, — ответил Сутулов.

— Да, но как взяться, чтобы этот труд приближал к совершенству?

— По-моему, — сказал Сутулов, — нужно устроиться так, чтобы жизнь тратилась на себя самого, по желанию, как ты говоришь, а выходило бы для всех и как надо. Тогда по одну сторону останутся эгоисты, у кого все для себя, а по другую сторону — нытики и ханжи, кто живет по долгу для других и потихонечку скучает о жизни для самого себя. Ну, будет об этом, Маша, ты лучше посмотри-ка на тот берег канала, как быстро он начинает жизнью живой обрастать!

И Маша увидала: на берегу полированного шлюза, как будто осев с капельками воды, примостился маленький мальчишка в кепке с огромным козырьком, и именно эта кепка придавала мальчишке необычайную серьезность. Мальчишка был такой маленький и далекий от забот строителей канала, что начальники в кожаных пальто, окружавшие шлюзы, его как бы и не замечали. Мальчишка сидел здесь не праздно: в руках

у него была длинная удочка, и сбоку ведерко, и удочкой этой он удил рыбу, первый рыбак удил рыбу в новой воде.

— Жизнь начинается, Маша! — радостно сказал Сутулов и помахал мальчишке шапкой.

Уланова что-то хотела ответить, но вдруг зашумела вода, пущенная в большой зал, где стоял пароход. Этот зал был разделен на квадраты, и в них снизу начала быстро набегать вода, и пароход начал подниматься, как в люльке.

Скоро открыли дверцу следующего шлюза, пароход вошел в новый зал и опять стал подниматься еще на ступеньку повенчанской лестницы. И так, проплывая по каналу некоторое время, снова поднимался «Чекист» на следующую ступеньку этой водяной лестницы, все выше и выше, через водораздел, через тот самый Масельгский хребет, где мы когда-то с отцом ночевали и глядели на Осудареву дорогу.

Где теперь этот лес?

А речка Телекинка, где мы с отцом тогда сели в лодку и два лебедя не могли с нами расплыться, пока не доехали мы до Выг-озера?

Теперь все это вместе с Осударевой дорогой под водой, и мы смотрим теперь на все здесь глазами таежного странника, вдруг из-за деревьев увидавшего большую воду. Помните, мы все это пережили: увидали большую бескрайную воду и вдруг остановились на берегу, и какая-то великая мысль охватила нас, увела далеко душу?

Какая это мысль?

Когда «Чекист» вышел из последнего шлюза перед Выг-озером, все эти люди на палубе, так много пережившие в эти два года, люди, умевшие силой великой души человека высоко подняться над сетью привычек личных и обид, эти люди, выйдя из шлюзового ящика, вдруг стали перед большой водой...

Вот что это всегда, неизменно при встрече с большой водой вдруг охватывает всего, и человек замирает в молчании? Есть же в этом большом чувстве, в этом движении вопросов и ответов какая-то единая мысль? Мы все знаем это чувство, требующее от каждого своего выражения. Вот-вот, кажется, его назовешь, и все согласятся. Но каждый раз бывает, что только бы назвать, и тут-то непременно кто-нибудь перебьет и ска-

жет не то. Так ответ на вопрос и откладывается до новой встречи с большой водой.

Так и тут, при встрече созидателей канала с большой водой нового огромного Выг-озера, шевельнулась мысль, и слова были уже на языке, как вдруг капитан нам что-то сказал...

И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана.

— Глядите, глядите, товарищи! — сказал капитан.

И передал подзорную трубу ближайшему к нему инженеру.

Высокие борины прежнего леса теперь стали островами и маячили далеко там и тут. Но одна из этих борин как будто не стояла на месте, а медленно двигалась, изменяя там и тут расстояния между собою и другими боринами.

— Это не борина, — сказал капитан, — а плавина. Там и тут вода, наполняя и переполняя Выг-озеро, подняла торфяные сплетения вместе с кустами, с деревьями. Мы каждый раз встречаем небольшие плавины, но эта плавина совсем особенная.

И стал рассказывать о необычайной плавине, как будто она была чем-то вроде Всадника без головы в известном старинном романе. Плавина эта прежде всего сравнительно с другими очень большая, и на тех плавинах, как редкость, бывает, сидят два-три зайчика, пяток белок или водяных крыс. А здесь, на этой плавине, собралось множество всяких зверей: и медведи, и лоси, и волки, и барсуки. По всей вероятности, вода, наступая, сгоняла животных с большого пространства и, собрав множество их на один островок, оторвала его...

В разных местах видят плавину с ее великим населением, но только показалась — и нет ее: то ветер завернет, то далеко до берега — станет на мель, ничего разглядеть нельзя. А потом снова поднимается ветер и уносит опять неизвестно куда, и опять она там и тут, как Всадник без головы.

— Плавина сейчас идет прямо на нас! — сказал первый инженер, получивший подзорную трубу от капитана.

Все потеснились к трубе, и каждый, по очереди получая, стал всем высказывать свои догадки.

— Там есть и медведи: виден огромный, другой поменьше и еще медвежонок.

— А сколько лосей! Как же вы не заметили, целое стадо, а медведей стало не видно.

— Понимаю, плавина повернулась другой стороной. И посмотрите, мне кажется, у зверей теплинка: синий дымок поднимается.

— Начинают показываться и маленькие. Сколько зайцев! Вот и волк, и какой худой! И барсук, и совсем маленькие зверушки какие-то на кустах, как виноград. А синий дымок, смотрите, скорее всего это пар от медведей — не могут же медведи себе костер развести?

— Плавина повернулась снова другой стороной: вот ясно видно, у костра сидит человек, смотрите, мальчик! Вскочил, машет нам флагом на длинном шесте. Капитан, держите курс на плавину!

Все в страшном волнении сгрудились на носу вокруг капитана. Мало-помалу простым глазом все наконец увидали маленького оборванного Робинзона, окруженного множеством всевозможных зверей. И наконец Уланова радостно закричала:

— Это Зуек, это Зуек! Вот, Саша, только-только вспоминали его, и он тут как тут!

— Да, да, я вижу, это, конечно, Зуек, — ответил Сутулов, не сводя глаз с приближающейся плавины. — Только почему-то не видно друга его, Куприяныча. Я очень опасался, знаешь, про себя, что бродяга захватил мальчика для какой-то своей подлой затеи...

Быстро шел только пароход, а плавина двигалась очень медленно, и, когда «Чекист» остановил машину, Зуек принял канат спокойно, как делают это на пристанях. Он обмотал чало несколько раз вокруг дерева, надел свою оборванную, лохматую куртку, взял сумку, ружье и медленно полез вверх по трапу.

Наконец Зуек вылез на палубу к людям, не понимая, что все глядят на него как на чудо. Он еще не совсем вошел в радость своего спасения, он еще не опомнился от жизни своей у костра рядом с медведями. Зуек не улыбнулся даже, когда увидел Машу с Сутуловым, — так был он измучен, но, только узнав их, вдруг засветился.

Уланова сразу поняла, как сейчас трудно будет мальчику с людьми, и увела его вниз в свою каюту.

Когда Зуйка не стало на палубе, все бросились рассматривать зверей на плавине. Матрос с опаской спустился на нее и прошел сторонкой от зверей, чтобы устроить хоть какое-нибудь рулевое управление. После больших хлопот «Чекист» наконец натужился и потянул за собой обрывок земли, населенной всеми животными севера.

Очень скоро Уланова там внизу устроила Зуйку все, как делают в этих случаях матери своим детям, и он, чистый, одетый, за чаем спокойно ей, как матери, рассказывал во всех подробностях о всем, что с ним случилось с тех пор, как он загуменной тропой по последнему насту покинул Надвоицы. Уланова думала, что Зуек постепенно станет пробуждаться от необыкновенного сна. Она знала, как это бывало со всеми в голодное время, когда в душистом кусочке хлеба поглощаешь всю природу, солнечный свет, и в этом свете поглощаешь и добро, и красоту, и всю радость жизни, тут же тебя и наполняющую. Это только кусочку черного хлеба можно так отлично обрадоваться, а сколько же ступеней радости пройдет одинокий человек, пока утолит он свой голод на друга?

Зуек в своем испытании не пережил обыкновенного голода на пищу, он ее себе доставал и на плавине. Зато не было ему и никакого обмана в его пробуждении. И, входя в обычную устроенную человеческую жизнь, он сразу очнулся среди неисчезающих радостей и полной свободы.

Вдруг почему-то исчезли все страхи, все тайны, все, о чем в обыкновенной жизни людям вслух невозможно и стыдно сказать. Но истинному другу своему все можно сказать, можно поверить свое тайное, увериться через друга, не мигая потом смотреть в глаза третьему и находить в себе неистощимую силу размаха в борьбе с темными силами.

Бывает, сухостойное дерево годами стоит, одетое корой, но вдруг в какой-то один миг вся кора сверху и донизу с шумом обрушится вниз и ляжет горкой у корня. Так все лишнее, ненужное, чуждое обрушилось с Зуйка, но сам он вышел не сухим из-под коры, а живым и новым.

Мать беседует с сыном о его далеких странствиях в чужой земле, и для нее не нужно каких-то особенных слов, она все сама отгадает, все принимает к сердцу,

все видит своими глазами, и сыну своему этим дает новую мысль о всем пережитом, и эта мысль не проходит, она остается навсегда, и от нее, бывает, не только себе, а и другим достается.

Все грани, разделяющие человека от человека, исчезли. Зуек рассказал и об украденном зеркальце и даже показал на руке своей выжженные Рудольфом голубые знаки: «Маша Уланова».

А когда пришел Сутулов, то и ему, оказалось, можно было теперь рассказать о себе, как о маленьком, что тогда хотелось ему захватить власть под предлогом спасения людей, но, конечно, на самом деле для себя. Ему казалось тогда, что приказывать — это очень приятно. А потом вышло на деле, что даже звери слушаются, если вперед сам себе прикажешь и послушаешься себя самого, как начальника.

— Зуек! — сказал изумленный Сутулов. — Ты, брат, недаром пропадал: ты же теперь все понял!

И опять тоже, как и тогда, кора вторая с шумом опала с дерева и легла у корней, и Зуек увидал себя среди близких ему, дорогих людей.

Он узнал тут, что вода образумила и бабушку, что бабушка на своем черном карбасе, как на плавине, благополучно пристала к берегу, где строилась новая жизнь, и теперь живет мирской няней «по желанию». Он узнал, что дедушка Сергей Мироныч, умирая, выслал мысль свою последнюю в помощь государственному делу: тоже по желанию, а вышло как надо.

А дедушка Волков со всеми лучшими инженерами и каналоармейцами уезжает строить канал Волга — Москва. А Рудольф бросился в прорыв и теперь награжден и получил гражданскую свободу.

— И бросил малиновую шапочку? — спросил Зуек.

— Сразу же и бросил. Теперь он ходит в хорошей коричневой паре и носит мягкую шляпу.

Когда Сутулов вышел, Зуек осмелился осторожно и тихо спросить:

— А как же Степан?

Уланова склонила голову на грудь, немного потемнела в лице, но быстро собралась и ответила, показывая на уходящего Сутулова:

— Вот мой Степан!

И Зуек ей ответил:

— Я это знал.

И рассказал ей, как он в печурке слышал разговор о хвостах и потом уж на острове спасения догадался, перебрав все, что Степан обратится непременно в Сутулова.

В Надвоицах между тем давно заметили плавину, влекомую «Чекистом», и, по мере того как она приближалась и определялись разные звери, каналоармейцы со своими прорабами и начальниками и местные люди в удивлении сбегались для встречи необыкновенного острова со множеством всяких животных.

Многие вспомнили и узнали Зуйка, и в один миг всем стала известна история его путешествия в страну, где не работают, а только царствуют и получают от природы все готовое. И посмеялись всему, и порадовались.

Но особенно стало всем занятно, когда Зуек попросил разрешения у Сутулова выпустить всех животных на волю. Плавину подогнали к низкому берегу и устроили незаметный переход с острова на материк.

Прежде всего Зуек рассказал о водяной крысе, о том, как она, переплывая воду, запаслась продовольствием и навела его на мысль о возможности освобождения всего острова зверей. Водяную крысу первую с почетом отпустили на берег.

И о медведице Зуек рассказал, как она под себя прятала рыбу и он у нее отбил много сигов, накоптил и все время ими кормился. Медведям тоже рыбы хватало, и они даже, немного опомнившись на берегу, кинули последний раз взгляд свой медвежий на людей и друг за другом не торопясь поплелись к лесу.

Но волк едва встал, а еще хуже было с лосями: они позволяли себя поднимать, подталкивать, но в конце концов оправились и всем стадом пошли. Зайчики запрыгали как ни в чем не бывало: наверно, им довольно было пищи на острове спасения.

Когда зайчики проложили дорогу, за ними запрыгали с веток белки, зашевелились мыши на кустиках. Некоторые зверушки до того рассиделись, что их пришлось выгонять. Зуек не забыл рассказать и о трех ящерицах, как они поднимались по стволу дерева за уходящим солнцем, а потом спустились к его человеческому огню. Ящерицы тут и нашлись на стволе — им деваться теперь было некуда: под корнями дерева, где они раньше жили, теперь была вода.

После того как окончился этот праздник выпуска животных, Зуйка повели на водосброс и стали ему все показывать.

И тут само собой вышел тот праздник праздников, когда старшие заканчивают свою большую работу, а после них приходит ребенок и обращает все в сказку.

Так и Зуйку теперь было позволено поиграть с водосбросом. Он приказал бросить воду в падун, а сам нашел свою печурку, и смотрел, и слушал, как, собираясь с силами, бросался на камни падун и опять начинался знакомый гул, когда струйки, сшибаясь между собою, бьются, бьются, пока наконец не послышится мерный шаг человека: ведь человек идет все вперед и вперед...

Как же так? Ведь это камень тогда вертелся в своей каменной яме, и в гуле этом слышался мерный ход человека все вперед и вперед. А теперь же этот камень открыли, этот камень поместили в музей местного края. Откуда же берется теперь и по-прежнему слышится в гуле падающей воды мерный шаг человека?

Или, может быть, это не камень определяет мерный ход, а в душе Зуйка сила человеческая расстанавливает звуки борьбы падающих струек так, будто это не водопад, а весь человек собрался и мерно шагает все вперед и вперед?

Зуек не стал разбираться в этом. Он только очень обрадовался, узнав этот знакомый с детства ему шаг.

Мальчик махнул рукой. На водосбросе повернули ручку, и падун замолчал.

Мальчик опять приказал. И падун опять зашумел, и опять, как человек, кто-то в нем все шагает вперед и вперед.

А там, в другую сторону, лежит большая спокойная вода, и кто-то рассказывает, будто он сам видел своими глазами, как один из лосей робко вышел из леса, верно желая напиться. Он подкрался к воде и, наверно, увидел в ней сам себя, и ему из этого зеркала корова протянула лошадиную губу.

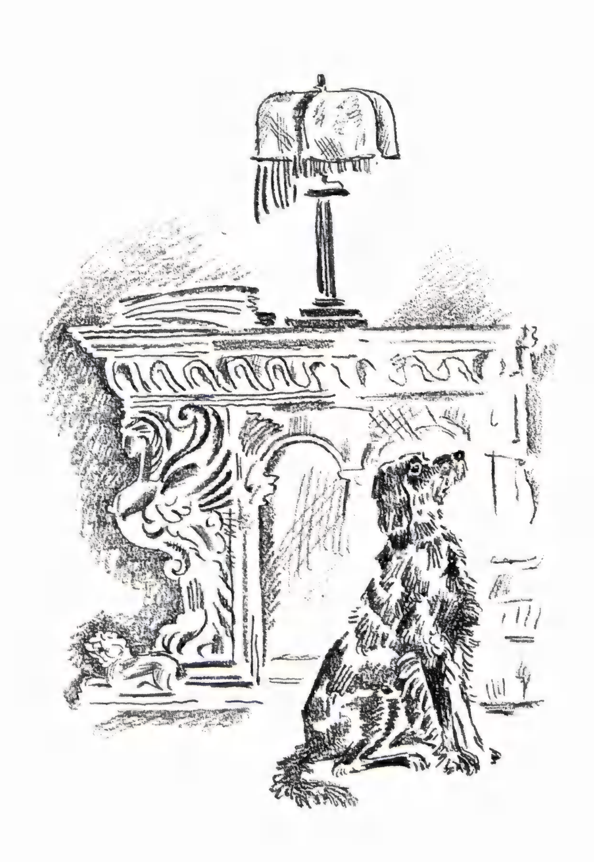
Лось было дрогнул и отошел назад, не узнав сам себя. Но пить ему очень хотелось, и опять подошел, и, не поглядев больше на лошадиную губу, напился воды.

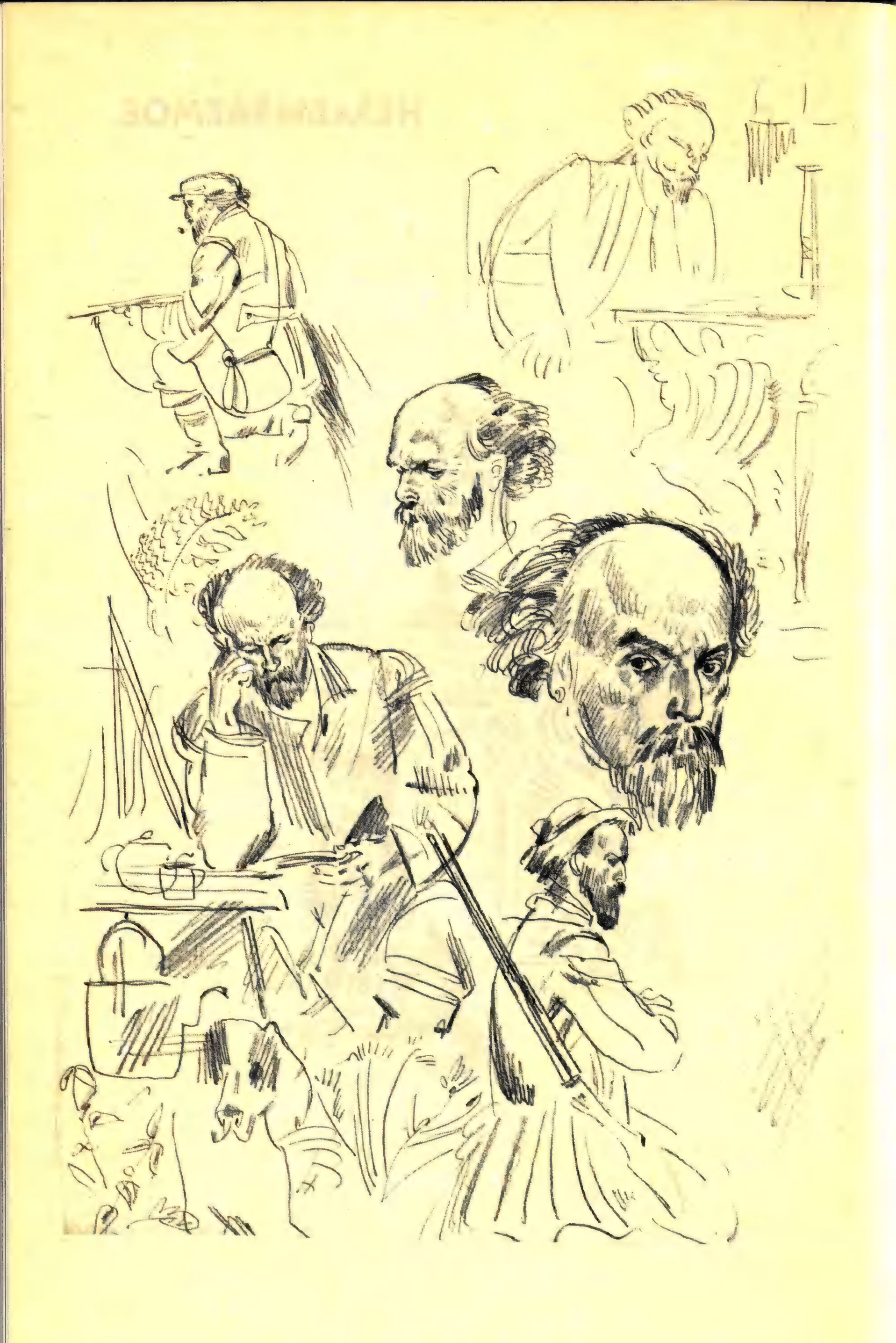
А эта вода была уже в руках человека.

И вот как будто у нас шевелится опять мысль, обнимающая нас всегда при встрече с большой водой, бывшей когда-то колыбелью всей жизни: это добрая мысль человека, глядящего в беспредельную даль, о том, что каждый из нас где-то соединен с другим человеком, и все мы, люди, в суровой борьбе за единство свое, все, как капли воды, когда-нибудь придем в океан.



НЕЗАБЫВАЕМОЕ





Мысль об этой книге появилась впервые после прочтения в дневнике М. М. Пришвина такой записи: «Завещание. Верно судить о писателе можно только по семенам его, понять, что с семенами делается, а для этого время нужно и время. Так скажу о себе (уже 50 лет пишу!), что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветочки из них вырастают с золотым солнышком в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками. Итак, если представить себе, что человек, распадаясь после конца, становится основанием видов животных, растений и цветов, то окажется, что от Пришвина остались незабудки. Милый друг, если ты переживешь меня, собери из листков этих букет и книжечку назови «Незабудки».

Поначалу казалось, надо было выбрать лучшие из лучших записей, опубликованных и лежащих еще в рукописи, соединить в небольшую изящную книжку для любителей поэзии в прозе... Но самое дело, как только оно было начато, повело по иному пути, и вот почему. Наряду с приведенной записью о «Незабудках» оставлено М. М. Пришвиным и другое «завещание»; не о цветах с золотым солнышком в голубых лепестках говорится в нем. Оно написано поздней осенью 1941 года, в самые тревожные дни войны. Написано оно человеком, остро переживающим народную беду и в то же время впервые вдруг ощутившим близко надвигающуюся свою старость.

Запись открывает страстную тревогу писателя об оставляемой им немирной земле, тревогу о не исполненном до конца творческом долге перед этой землею.

«Нет, я не могу предвидеть ясно настоящего морального конца в этой борьбе народов, — пишет Пришвин, — и свое трепетное ожидание большого Конца, как большого последнего суда, передаю, мой друг, тебе, если ты останешься жить после меня.

Мне так кажется, будто мы с тобой по океану на двух льдинах плывем, моя поменьше, твоя побольше, моя раньше разобьется, и я должен тебе поручить себя после моего неизбежного физи-

ческого конца, а ты, когда сама разобьешься со своей льдинкой, попытайся нас поручить следующему носителю, как один поток, сливаясь, поручает другому свою воду нести в океан. Так и прими это, что не переживу этой борьбы народов до ее морального конца, ты же продвинешься туда ближе, и я, зная неминуемый конец мой, поручаю себя твоему продолжению».

Эта запись заставила по-новому представить себе лицо будущей книги. Стало необходимым вывести разговор Пришвина с читателем за пределы понятия «природа» в общепринятом значении этого слова.

В отдельных случаях приходилось жертвовать художественной записью, чтобы дать место доходчивому в своей неизощренности «прозаизму».

Вот почему следует предупредить читателя, что книга эта лишена занимательности и направлена к тому, кто, по словам самого Михаила Михайловича, «привык в искусстве ценить прежде всего не красивость, а волю», иными словами — напряженность духовных исканий человека в художестве.

Как бы несовершенно ни была сделана эта книга, но она является попыткой пройти по свежим следам ушедшего человека, чтобы новый читатель следующих поколений мог найти их и, может быть, более полно воссоздать подлинный образ личности писателя.

Время быстро заносит следы. Даже слова — эти подлинные и достоверные факты жизни поэта, — и они забываются.

Слова — это след на песке человека, обладающего крыльями. «Но вот следы ног кончаются, по обеим сторонам этих последних следов на песке виднеются удары маховых перьев крылатого существа — и дальнейшее преследование его по следам невозможно...»

Надо прочесть и сохранить эти следы, пока их не занесло временем, пока они не стерлись.

Отрывки, собранные нами из огромного числа дневниковых записей Пришвина, начиная с 1905 и по 1954 год, «сами» ложились в определенном порядке, раскрывая раздумья писателя. Этот создавшийся ряд глав-раздумий есть одновременно и ряд этапов творческой биографии М. М. Пришвина.

Следует заранее оговориться, что распределение этих записей по определенной логической схеме, несомненно, в какой-то мере условно: исчерпывающе полно эти записи говорили бы читателю, если бы он мог проследовать за автором по его дневнику изо дня в день через всю его долгую жизнь. Но пока это неосу-

ществимо, хотя бы из-за самого объема неопубликованного пришвинского дневника за полвека.

Читатель может спросить: почему материал в «Незабудках» расположен тематически, а не в строго хронологической последовательности его написания?

На этот вопрос ответил Пришвин в дневнике 1940 года, на подступах к своей биографии: «Исследование своей жизни я предложил не с начала моего рождения, а с настоящего дня, в котором содержится все мое прошлое». Далее идет разъяснение такого метода. «Если кто-нибудь со стороны сейчас войдет в мою лабораторию, то он найдет всего меня, ведь я именно таким и родился, какой я есть теперь».

Писатель искал способа выбраться из-под груза собственных жизненных впечатлений, он создавал обобщающие мысли-образы, отражающие жизнь, личность, время, не связывая себя хронологией биографических фактов в их последовательности.

«Незабудки» — это рассказ о личности художника и человека в понимании составителя книги, но словами самого Пришвина, как ее лирического героя.

Художник, выйдя из природы как страдающее существо, как «неудачник», как пасынок, находит новый вход в нее как преобразователь (по словам Пришвина — «с другого лица или конца»), и тогда природа оборачивается к нему своим другим, прекрасным лицом.

Природа для человека — уже не злая мачеха, от которой он бежит, не мать, с которой горестно расстается, а живой и послушный материал великолепного человеческого творчества: это новая природа, это культурная родина человека, место его усилий, его строительства общего дома для всего живого.

«Это реальный мир человека, весь мир, вся вселенная, как мы с тобой. Это мир людей равных, в котором нет насилия личностей, это мир, который носит в себе в своей сокровенности каждый. Это мир поэзии, ожидающей себе защиты и оправдания временем».

Есть признание самого М. М. Пришвина: «Мучился всю жизнь над тем, чтобы вместить в поэзию прозу». В текстах «Незабудок» удалось это показать в полной мере.

В поэтической прозе действуют, видимо, те же силы, что и в стихе: ритм, звукопись, живописная образность, наконец, лаконизм, по Пришвину, «стремление упростить слова, чтобы они стали сухими, но взрывались как порох».

И главное, без чего нет поэзии, — это когда подо все богат-

ство образов, красок, звуков поэт подстилает единый фон, основу, землю; это единое его настроение, — это образ его души, ради которой он и пишет стихи. Если «души» нет — остаются одни только голые строки, «писательство без участия себя самого бездушно и никому не нужно».

Приведем лишь несколько записей из «Незабудок» на суд нашего читателя:

Осень. «Просека длинная, как дума моя, и поздней осенью жизнь не мешает моей думе. Грибов уже нет, и муравейник уснул. Кончается сухой сентябрь, дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают. Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот».

«Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий».

«Серый, теплый, очень тихий и задумчивый день. Кажется, все-то есть, и можно просто жить и ни о чем не думать самому: сам день за меня думает».

Река. «Лес берегами как руками развел — и вышла река».

«В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые, и цветы возле них разные».

Лес. «Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, и в елках нависла синяя тишина».

Лес зимой. «Вошел в лес — уснувшие потоки тишины».

Дым. «Дым от трубы поднимается вверх высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается.

Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым».

Многие записи Пришвина являются образцом так называемого «свободного стиха» (vers libre).

Это легко проверить, попробовав заменить слова или переставить их местами — нарушить ритм фразы. Запись сразу теряет художественную силу и выразительность. Читатель может проверить это сам, проанализировав хотя бы такие записи, как, например, «В каждой душе слово живет» (стр. 491) или «Заря сгорает на небе» (стр. 444).

Сила пришвинского стиля — в сочетании поэтического чувства с напряженностью мысли и еще — с точностью наблюдений, придающих им подчас целомудренную, почти научную строгость.

Трудность восприятия собранной, «густой» мысли в так называемой лаконической форме понятна, так как она требует от читателя не меньшей собранности и внимания — требует ответного труда. Словами Пришвина об этом мы и закончим свой рассказ:

«Стояла на красивом месте лавочка. От нее теперь остались два столбика довольно толстых, и на них тоже можно присесть. Я сел на один столбик. Мой друг сел на другой. Я вынул записную книжку и начал писать.

Этого друга моего вы не увидите, и я сам его не вижу, а только знаю, что он есть: это мой читатель, кому я пишу и без кого я не мог бы ничего написать.

Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит:

— Это на какого читателя написано?

— На своего, — отвечаю.

— Понимаю, — говорит он, — а всем это непонятно.

— Сначала, — говорю, — свой поймет, а он уж потом всем скажет. Мне бы только свой друг понял, свой читатель, как волшебная призма всего мира. Он существует — и я пишу. Моя поэзия есть акт дружбы с этим волшебным читателем-человеком: пишу — значит люблю».



НЕЗАБУДКИ*

МАТЬ-МАЧЕХА

В природе рождается человек, и потому мы часто говорим: мать-природа. В природе человек умирает от нападения на него видимых и невидимых врагов. Значит, природа человеку и мать, и злая мачеха.

С этого начались все наши сказки.

*

У края дороги, среди лиловых колокольчиков цвел кустик мяты. Я хотел сорвать цветок и понюхать, но небольшая бабочка, сложив крылышки, сидела на цветах. Не хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия, и я решил подождать немного и стал записывать, стоя у цветка, одну свою мысль в книжку.

Вышло так, что я забыл о бабочке и долго писал, а когда кончил, опомнился — оказалось, что бабочка все сидела на цветке мяты в том же положении.

* Сокращенный вариант.

Но так не бывает! — и чуть-чуть кончиком ноги я толкнул стебелек мяты. Бабочка сильно качнулась, но все-таки не слетела. Неужели она умерла на цветке?

Осторожно я взял бабочку за сложенные крылышки. Бабочка не рвалась, не билась в пальцах, не двигала усиками. Она была мертва.

А когда я стал ее тянуть с цветка, вместе с ней оттянулся скрытый в цветке светло-желтый паук с большим зеленоватым шариком. Он всеми своими ножками обнимал брюшко бабочки и высасывал ее.

...А мимо проходили дачники и говорили: «Какая природа, какой день, какой воздух, какая гармония!»

Не ясно ли, что природа никак не гармонична, но в душе человека рождается чувство гармонии, радости, счастья.

В природе то, что у человека считается постыдным: борьба за существование, пол, бешеная злоба и все прочие прелести бытия — обнажены. Спрашивается, почему же мы, входя в природу, чувствуем радость?

Мы в природе соприкасаемся с творчеством жизни и соучаствуем в нем, присоединяя к природе прирожденное нам чувство гармонии. Все это — какое-то чистое и единственное человеческое чувство и мысль, соприкасаясь с природой, вспыхивает, оживает; сам человек встает весь — происходит какое-то восстановление нарушенной гармонии.

Итак, милые люди, усталые горожане и дачники, вы правы тем, что не хотите видеть в природе ту самую борьбу, от которой так устали в городе.

Человек, организуясь в веках, захватывает в состав своего тела всю природу, во всем ее составе, как вселенную, и так, что части, более близкие к животным и растениям, называются телом, а части, более близкие к самому человеку или к тому, чего нет в природе остальной и присуще только ему, называется душой.

Многие силы природы, обращаясь у человека в его душу, неузнаваемо преображаются. Так, например, ветер, способствующий перенесению пыльцы с мужского пестика на женское рыльце, называют половой страстью в телесном определении, а в душевном — любовью.

Во свидетельство такого преображения любви поэты с незапамятных времен говорят о любовных бурях.

Дело человека — высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир.

В природе нам дорого, что жизнь одолевает смерть и человек в природе подсказывает существование бессмертия и на том торжествует.

В природе осенью все замирает, а у человека в это время рожь зеленеет. В природе жук простой жундит о бессмертии, а у человека — Моцарт и Бетховен.

Счастье везде одинаково: и в природе, и в человеческом обществе. Это неведомая нам рука бросает тысячи семян, чтобы одно проросло, и когда оно прорастает — это счастье.

Так елки сеют своими шишками, осинки, одуванчики. Так тысячи тысяч людей берутся за кисть, за перо, за смычок, чтобы один вырос и дал новый посев.

Даже лишь созерцающий природу мысленно вносит в нее свой порядок. Вот в том-то и дело, что человек, в большинстве сам того не зная, переделывает природу с каждым шагом своим, и сама сущность его революционна. Обижаться на человека нельзя, потому что наша мера жизни коротка. Мера берется на веру.

*

Небо безоблачное, травы достигли высоты, дошли до своего предела и зацвели, кипит жизнь пчел, шмелей, шиповник цветет. Но я, все зная, не смотрю на меру, я царь природы и делаю больше, чем все они.

Не надо смотреть туда, в сторону умирания, — надо создавать, надо рождать царя природы, не подчиненного законам умирания: он существует в нашей душе, а воплощать его — значит творить.

Встречал на лавочке зарю наступающего дня, «равнодушная» природа охватила наш человеческий мир. Это не равнодушие, а большая жизнь, великий путь, предоставленный муравью: иди этим путем — и ты, муравей, станешь тем же самым царем природы, каким показал себя человек.

Долго смотрел я туда, и душа моя, расширяясь, вос-

ходила, как на гору, и внизу открывался человеческий муравейник жизни людей «промеж себя».

Это не равнодушие, а большой, широкий путь человека.

*

Природа для меня, огонь, вода, ветер, камни, растения, животные — все это части разбитого единого существа. А человек в природе — это разум великого существа, накопляющий силу, чтобы собрать всю природу в единство.

СИЛА ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЯ

Поля пустеют, и по мере этого короче дни и раньше спать ложатся в деревне, зато ярче звезды на небе.

Выйдешь на крылечко — такой покой! — и вдруг падучая звезда: обрезано все небо на два полунеба, метеор, мчащийся во вселенной, коснулся нашей атмосферы и открыл нам, каким сумасшедшим движением дается этот деревенский покой.

Все недаром! Какая масса людей проходит даром, как тени, и кажется, все это не настоящие, не интересные люди. Между тем в действительности все они настоящие, все интересные. Стоит только попасть с любым из них на одну тропинку, как откроется неизбежно их природа в ужасающей силе, и тогда понимаешь действительность, все равно как, глядя на мелькавшую падучую звезду, догадываешься о действительной, мчащейся природе неба, а не спокойной, как кажется нам.

Город ночью. Электрические фонари кричат упрямо: к свету, к свету, к свету! И небо становится рыжим, и вот, бывает, на этом рыжем проглянет одна маленькая звездочка, и с нею тайное первое движение сердца, и бог знает откуда крикнет птица, подтвердит: так оно и есть... И опять наступит эта тишина, но я слышу, слышу — уже где-то в глубине этажей тикают часы человеческой жизни, и вот загремело первое тяжелое колесо, засвистели фабрики...

*

Память художника похожа на ожоги живой души вследствие быстроты движения.

Неудачей, мукой, трудом начинается в природе человек, и только если всю муку грядущую принять на себя вперед, можно говорить о прекрасном мире: дойти до того, чтобы не бояться и быть готовым даже на смерть и через смерть видеть мир вновь сотворенным.

*

Милый свет утренний, когда люди все спят, это весеннее, это весеннее! Тут свет один с тобой, он твой близкий, единственный друг, начинает с тобой новое дело...

Это мое счастье — радоваться солнцу так сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию (про себя) при всяких, даже ужасных условиях до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе. Радоваться небу, солнцу, траве, выйти на дорогу, обрадоваться встрече с человеком и разделить с ним путь до его села, и в селе этом чтобы просто обрадоваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспоминали про веселого странника.

Моя неудача — не есть неудача, потому что я ощущаю большое, к которому должен пробиться в опыте долгой жизни. Это — мое испытание.

Прыгает большими скачками вверх раненный в голову зверь и не движется с места. Смотрю, как прыжки его вверх становятся короче, короче, и когда он совсем перестает, я подхожу посмотреть: какой он большой!

Моя радость охотника борется, не оставляет места для жалости, и пусть: через это я привыкаю быть равнодушным и к своей неизбежной будущей смерти — ведь тоже когда-нибудь растянусь... Одно только страшно, что кто-нибудь так же тогда подойдет, посмотрит и скажет: «Какой он был маленький!»

Скрытая сила (так и буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм. Моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, откуда-то наплывающую при поранениях: от сильной душевной боли рождается скрытая сила поэзии.

*

Читатель, как ближний по духу и дальний по расстоянию. Тот и ближний, которому пишешь, кого ждешь к себе, тратя дни, ночи, всю силу ума и сердца. Этот ближний находится от писателя дальше всех: вот оттого так и трудно вызвать его, оттого художник седеет, желтеет и морщится в его ожидании, потому что он, ближний по духу, и есть дальний по расстоянию...

Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга, если же кому не удастся найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных от кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле: и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгутик подорожника на своей тропе.

Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что их даже не замечают, называют, смотря по силе способности, чудаками или художниками.

Их большое значение в том, что, созерцая их творения, в сущности, счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.

Иногда, записывая что-нибудь себе в тетрадку, как будто опомнишься — кажется, я не просто пишу, а что-то делаю, и даже определенно чувствую, что именно делаю: я сверлю.

Друг мой! Не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать. Не спи! И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению.

Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека и то, что делается с твоей душой в эту ночь, — это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе.

*

Из ранних дневников. Все, что я думаю, — было думано и передумано. И я могу лишь дать другие оттенки тому же самому. Сущность жизни неподвижна. Формы ее изменчивы. Мы все работаем над изменением ее формы. Когда человек любит — он проникает в суть мира...

Вижу край зеленой одежды мира. Хочу о ней писать, хочу ловить все, что летит, и вьется, и реет вокруг. Дальше и дальше от центра. Все ловить. Все хватать. И всегда беречь в глубине души тайную тягу к тому, что скрыто под зеленым покровом. Никогда не называть это. Вечно чувствовать. Называть только то, что вокруг, что вьется. Тогда будет Поэзия...

Отдать себя жизни, пусть ранит она сердце, — чем больше ран, тем глубже свет. И каждый человек будет открытая книга, и по одному звуку голоса другого человека будешь сразу узнавать, кто он такой, что с ним было, и чем он мучится, как он ранен... А то можно забить себе в голову гвоздь, и так с гвоздем всю жизнь прожить и ничего не узнать...

Первая и самая большая радость, которую я себе дозволяю, это доверие к людям. Быть как все. Страдать оттого, что я — не как все...

Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от его ударов. Я слышу дыхание лилового колокольчика. Я его люблю. Он связан со мной. И через любовь мою к цветку я связан со всем великим миром.

Звезды зажглись. Тайна легла над землей. Господи! Оставь так! Оставь меня таким, как я есть, как я сейчас. Господи, дай мне силы не оторваться и встретить вместе со всеми Солнце!

*

В душе и мечте нет времени, но мечта в полете своем встречает препятствия, и их периодическое повторение создает то, что мы называем временем и пространством.

Но не все из души уходит навстречу препятствиям. Есть, как мы говорим, что-то «за душой» у человека, лежащее вне пространства и времени. И это то самое, на что мы глядим и равняемся, с кем советуемся в глубине нашей и о ком каждый из нас может сказать: это ты, мой друг!

Поведение или метод в искусстве — это система сигналов своей личности, себя самого, своей собственной души, как на другую планету.

С другой стороны, душа человека вообще одна, и сигналы какой-то души — есть сигналы единства.

Как это выходит, что человек бросает всех своих близких, родных, друзей и всю свою душу открывает совсем незнакомому человеку с ясной верой в то, что с близким жизнь изживается, а начинается настоящая жизнь за пределами нашего повседневного опыта и связей?

Индивидуализм — есть подчеркнутая слабость.

Прощай, снежок, ты растаял, и больше мы с тобой никогда не увидимся. Придет зима, и придет с ней, конечно, снег, но это будет другой снег, и ты больше никогда не вернешься. Прощай навсегда!

И дым из трубы, и это облако, и все-все пройдет, и перед собственной смертью ты будешь один, — вот это и страшно, что все, все, связанное с тобой, пройдет, не будет даже твоей могилы, когда совсем ничего от тебя не останется, а ты все будешь повторять: я-я-я!

Капля и камень. Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель.

«Я! я! я!» — звенит каждая капля, умирая. Жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.

Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье — боль бессилия. И все же «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.

*

Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее нет ничего и не будет, а ты все-таки любишь через это все вокруг себя, и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно, один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки?

Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей,

а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные.

Я кричу! Но мой крик в золотой пустыне возвращается ко мне обратно, и я, как первобытный дикарь, древнейший человек, делаю из глины первый сосуд и заключаю в него для друга моего перебегающую жизненную силу.

И это все равно: там была вода и глина, теперь у меня дух мой и слово, и я из слова делаю форму.

Дым из трубы поднимается вверх, высокий, прямой и живой, а снег падает, и сколько бы ни падало снегу, дым все поднимается. Так вот и я себя в жизни чувствую, как дым.

Ничего тебе не сделать, ты пропадешь, если только не поставишь свою лодочку на волну великого движения, и твое личное «хочется» не определится в океане необходимости всего человека. Так ли я думаю?

Вокруг меня лес, и могучие стволы столетних деревьев, и цветы внизу, и папоротники, и мхи, и ручьи, и птицы сверху глядят на меня, и белка играет тяжелыми шишками. Все так понятно, все подтверждается и выговаривает: «Ты правильно мыслишь!»

Прихожу и становлюсь на работу среди людей и смотрю на их дело и на свое: все правильно.

Топи, топи, Михаил, все эти мысли в действии, держись простоты «Кладовой солнца», всем понятной. Пусть у тебя будет разговор со всем народом, с людьми, образованными и необразованными, старыми и малыми, русскими и нерусскими.

*

Точно, как вчера, погожий день вышел из тумана, а ночь была лунная.

Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая — в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности.

И вот в это чудесное утро благодарю за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками

и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека: за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу.

...И так во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу.

Горюны всего мира, не упрекайте меня!

Охота на дупелей. Как хорошо в предрассветный час полуодетому прямо с постели открыть дверь, выйти во тьму, захватить пригоршню пушистого, только что вылетевшего из облаков снега, потереть им лицо, шею и вернуться в теплый дом: какой у снега в этот утренний час бывает аромат!

Да, если дома тепло, и можно быть сытым, и есть хорошая лампа, то зима куда интереснее лета.

*

Некоторые приписывают мой хороший вид питанию и воздуху! «Вы прекрасно выглядите, наверное, по своему обыкновению, в лесу живете. Как охота?»

Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота самые лучшие условия для здоровья... Мой лес! Моя охота! Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли под песни слепней! И тоже — охота моя! Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами.

Можно ли за этим охотиться, можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать?

Прямо никто не поймет, конечно, но когда имеешь цель: убить куропатку, тогда под предлогом куропатки можно описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на меня.

И вид мой хороший («прекрасно выглядите») происходит не от воздуха болотных лесов и не от пита-

ния: оно самое обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок, и я имею возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, если на вопрос мой кукушке о том, сколько мне жить, она, не докончив свое «ку-ку», ответит мне «кук» и улетит.

Чтобы лес стал как книга, нужно сначала не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи. Это не очень легко, потому что хочется смотреть на вершины. Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало *тесно в себе* и очень больно от этого, и почувствовать малость свою, и возненавидеть претензии вместе с птицами летать по вершинам.

Тогда в глубокой уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь: вот хотя бы этот папоротник с такими сложными листьями, такой нежной зеленью, и самое главное, что он, достигнув теперь уж значительной высоты, до сих пор не может совсем выправить то колечко своей верхушки, которым он пробивал себе путь из-под листвы. Я увидел его тогда и обрадовался, вспомнив при этом пушкинского богатыря-младенца, как он понатужился, выбил дно из бочки и освободился.

После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз, захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся *выход из себя.*

*

В лесу не в полночь бывает самое темное время, а перед самым светом.

— Как темно! — скажет кто-нибудь.

И другой ему отвечает, поднимая голову:

— Темно? Значит, скоро будет светать.

Иду вперед силой веры своей в лучшее, а путь расчищаю сомнением.

...Так сомнения, неудачи, несчастье, уродства — все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека — это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения.

Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убежден, будто нашел для каждого несчастного одинокого человека радостный выход в люди, в свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения.

МАТЕРИНСТВО ХУДОЖНИКА

Есть особое материнское чувство жизни, рождающее образы, как живые существа. В свете этого чувства каждая мысль превращается в образ, и как бы коряво ни писала рука, и как бы ни брызгало перо на плохой бумаге — образ родится и будет жить.

И есть мастерство, заменяющее материнское чувство, посредством которого можно писать, как только захочется. Но все это не значит, что мастерство не нужно художнику: оно необходимо ему, но при условии подчинения материнскому чувству.

Наливной час. Рост художественности в человеке требует иногда того безучастия со стороны художника, как глядит беременная женщина, безучастная, бездумная: наливной час, когда человек спит, а природа сама для него работает.

Она ничего не думает, а дитя растет.

*

Мне вспомнилась моя старая мысль, где-то счастливо напечатанная, я сказал тогда: «Кто из нас думает больше о вечности, у того из-под рук выходят более прочные вещи». А сейчас, вероятно, приблизившись к старости, я начинаю подумывать, что не от вечности, а все от любви: высоко подняться может каждый из нас всевозможными средствами, но держаться долго на высоте можно только сильным излучением любви.

А что есть любовь? Об этом верно никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою понятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или

менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками.

Живыми выходят у Толстого образы потому, что он их по-матерински вынашивает, а не сбрасывает, как при заказах на скоростном соревновании. Толстовское непротивление вышло у автора как «обгон» своего великого чувства материнства художника.

Художница развернула новый большой холст...

— Идешь к свободе, — сказала она, — а попадешь в неволю, куда бо́льшую, чем раньше было.

— Знаю, — ответил я, — но ведь так все: девушка выйдет замуж и начинает рожать детей — неволя какая! А выходит все-таки лучше, чем если бы осталась вековухой. Вот и я когда-то взялся за перо — думал попасть в край непуганых птиц, а попал в тиски писателя, и все-таки рожаю и торжествую, рожая.

Гриб растет только до времени, пока его не найдут: после этого он делается предметом потребления. Так точно и писатель растет... Одну книгу возьмут, и опять из той же подземной грибницы, пользуясь теплым дождиком, надо расти, пока не придет и не откроет тебя потребитель и не срежет тебя под корешок. В молчании под сенью листьев и хвои совершается творчество.

Смотрел и всматривался в стадо молодых гусей, дивился, что ничем не заняты, а потом: как же ничем? Они растут и ждут.

И запомнил себе: пусть мои мысли тоже сами растут, и я буду ждать.

Зяблики рассыпа́лись, будто маленькие каскады воды, падающей с уступа на уступ все ниже и ниже.

На торфяном болоте поднялась утка, и вслед за ней чвакнул с плеском, выдрался из кустов и взлетел селезень.

Пара бекасов металась вверху, раскатываясь барашками, с поля доносились песни жаворонков.

С великим треском по тонкому льду, сохранившемуся в древесной тени, с плеском на лужах, вскочил и пошел взбуженный заяц. Я успел узнать — это была беременная зайчиха.

Но вот именно этот заяц подсказал наконец-то мне

самое главное, что было бесконечно значительнее всех этих звуков весны.

Когда стихли эти звуки от зайчихи, то открылась моему слуху вся сила огромного молчания, всеобщей тяжелой беременности среди незначительных звуков лесных и полевых самцов.

Самки сядут на яйца, самцы веселей будут петь Но чем больше будет веселых звуков в лесу, тем сильнее для понимающих будет выступать и значить сила молчания. Не тем ли и в поэзии сильно слово, что открывает нам силу молчания?

ЧУВСТВО МЫСЛИ

Поэзия — это предчувствие мысли.

Я живу достоверностью сердца, где таится самая сущность всего преходящего в бессловесном созерцании. Искусство мое состоит из чередования удачных и неудачных попыток заключить эту достоверность сердца в слова разума.

Какой-то молодой критик на ходу мне сказал, что в моей «Лесной капели» я дал вовсе не пейзаж, потому что пейзаж имеет в литературе не самостоятельное значение и всегда, даже у Тургенева, отделяется от сюжета. Но у Пришвина не отделяется, и это вовсе не пейзаж.

— А что же, если не пейзаж, не природа?

— Не знаю что...

— Так знайте же: это сердечная мысль.

Сердечная мысль есть величайшее богатство души, и для нее должна быть создана особая наука вроде политической экономии, обращенная к духу: наука о том, как нужно создавать, охранять и расходовать сердечную мысль и порождаемое ею родственное внимание к миру.

Инженерам душ: сила сердечной мысли — вот единственная сила, которой строятся души.

*

Поднимать свои чувства от сердца вверх к голове, там их рассматривать, прояснять, проявлять, дополнять,

так разделенные мертвой водой головы опять опускать, опять соединять в живой воде сердца и потом, подняв вверх, стальным пером черным по белому начертать узоры мыслей — вот в чем искусство писателя.

*

Начало непременно глупо, в том смысле глупо, что оно является преодолением логического разума: нужно мысль свою логически довести до последнего конца, потому что логически мыслить — значит стареть. И когда эта мысль дойдет до конца и умрет, то из этой старой шкуры змеи выползет молодая, живая, бессмысленная инициатива.

И в этом смысле всякое начало глупо. Часто в сказках даже и нарочито глупо: «Жил-был у бабушки серенький козлик...»

Стоит припомнить начало любого своего рассказа, чтобы в глупости его почувствовать выползание молодой змеи из старой шкуры.

*

Каждый великий поэт вершиной своего творчества соприкасается с душевным миром детей. Так, наверно, создавался и фольклор: народный поэт, не показывая лица своего, вершиной своего творчества соприкасался с вершинами народного духа.

Наивность при других хороших данных — почти сила, которой можно долго двигаться: наивный человек ведь слеп лишь на самое близкое, что знает даже дурак. И вот эта наивность, минуя близкое, всем видимое, может дать зрение на более далекое, во всяком случае такое, чего обыкновенно не видят.

Но если наивность прошла, то вернуть ее так же невозможно, как девственность.

Сильно талантливый человек не может быть очень «умным», потому что при одном уме — злость и холод, а талант греет, и ум на таланте как бы на теплой лежанке.

Пропотеешь на охоте и высохнешь, дождик польет, высохнешь, опять пропотеешь, и так густо, что вот кажется, через рубашку трава проросла, и по траве пау-

тина легла, и в строгое холодное утро паутина поднялась мельчайшими каплями росы и засверкала.

Тогда все книжное, начитанное, надуманное исчезает, и если приходит в голову мысль — верь ей! Это своя мысль, проросшая из своей головы, как мох из пенька.

*

Живи с теми же самыми людьми и вещами постоянно, и все равно, если ты поэт, ты должен увидеть их так, будто никогда не видел. Сила первого взгляда есть основная сила поэзии.

*

Просека длинная, как дума моя, и поздней осенью жизнь не мешает моей думе.

Грибов уже нет, и муравейник уснул...

Кончается чудесный сухой сентябрь, дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают.

Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот.

Все знают, что горе надо забывать, но мало кто понимает, что и всякий успех, счастье надо встречать, принимать и, сложив достижение в кладовую свою, как можно скорее тоже забывать.

И радость и горе надо забывать, а помнить надо только мысль в ее вечном движении.

Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки, откуда-то в душу мою, и от них оставались ранки. И уже когда жизнь пошла на убыль, ранки эти бесчисленные стали заживать.

Где была ранка — вырастает мысль.

*

Учиться надо на себя смотреть со стороны и в то же время чтобы свое горючее не остывало.

*

Когда садишься писать и не складывается в голове как надо, попробуй довериться перу и начинай писать что придется. И бывает, напишешь, доверяясь перу, такое, чего никогда не придумал бы.

Таков был Шаляпин: такого не выдумаешь.

Гений видит не то, что другие, потому что обращает внимание на невидимые для всех стороны предметов, но человек гениальный еще не вполне свободен: он находится в плену у своего гения («отдаться своему гению»)...

Совершенно гениального человека я знаю одного: Шаляпина, он «безмысленен», как глыба.

Я первый раз видел Шаляпина не в театре. Он был в этот раз нравственно подавлен одной неприятной историей и сидел без всяких украшений, даже без воротничка, белой глыбой над стаканом вина. Кроме Горького и Шаляпина, тут в кабинете было человек десять каких-то... Разговор был ничтожный.

Вдруг Шаляпин, словно во сне, сказал:

— Не будь этого актерства, жил бы я в Казани, гонял бы голубей.

И пошел и пошел о голубях, а Горький ему подсказывает, напоминает. И так часа два было о голубях в ресторане, потом у Шаляпина в доме чуть не до рассвета — все о Казани, о попах, о купцах, безо всяких общих выводов, зато с такой любовью, веселостью.

Горький спросил меня после, какое мое впечатление от Шаляпина. Я ответил, что бога видел, нашего какого-то, может быть, полевого или лесного, но подлинного русского бога видел. А Горький от моих слов даже прослезился и сказал: «Подождите, он был еще не в ударе, мы еще вам покажем!»

Так у меня сложилось в этот вечер, что Шаляпин для Горького не то чтобы великий народный артист, надежда и утешение, а сама родина, тело ее, бог телесный, видимый... Народник какой-нибудь принимает родину от мужика, славянофил — от церкви, Мережковский — от Пушкина, а Горький — от Шаляпина, не того знаменитого певца, а от человека-бога Шаляпина, этой белой глыбы без всяких выводов, бездумной огромной глыбы бесконечного подземного пласта драгоценной залежи в степях Скифии.

Талант не делается, с талантом рождаются, и это есть то же самое, что у животных называют «инстинктом». Наверно, каждый рождается с каким-то талантом. Когда я напал на свой талант, на эту способность все

постигать, минуя ученье, я обратился к солнцу, как к источнику жизни, и прославил природу.

*

Страшен, кто обошел свои природные страсти холодным умом и огонь души запер в стены рассудка.

ВНИМАНИЕ

Как материя и энергия сводятся в конце концов к единому источнику жизни, так и все виды талантов сводятся к единому источнику творческого внимания.

Особое замечательное свойство внимания, что оно подчинено воле, что им можно управлять, им можно пользоваться в делах добра, равно как и зла.

Внимание само по себе есть пассивное состояние? Нет, именно активное, и это подчеркивают, когда говорят: он *обратил* внимание или он *принял* во внимание.

Вот почему внимание есть основная сила творчества...

*

Набегающие мысли как набегающий прибой: придут и уйдут. И твоя забота удержать у себя прибой и не дать уйти ему в море.

Вошел в мокрый лес. Капля с высокой елки упала на папоротники, окружавшие плотно дерево. От капли папоротник дрогнул, и я на это обратил внимание. А после того и ствол старого дерева с такими морщинами, как будто по нему плуг пахал, и живые папоротники, такие чуткие, что от одной капли склоняются и шепчут что-то друг другу, и вокруг плотный ковер заячьей капусты — все расположилось в порядке, образующем картину.

И передо мной стал старый вопрос: что это создало передо мной картину в лесу, капля, упавшая на папоротник, обратила мое творческое внимание или благодаря порядку в душе моей все расположилось в порядке, образующем картину? Я думаю, что в основе было счастье порядка в душе в это утро, а упавшая капля обратила мое внимание, и внутренний порядок вызвал картину, то есть расположение внешних предметов в соответствии с внутренним порядком.

Внимание есть питательный орган души — всякой души одинаково, великой и маленькой. Разница только в том, что при находке великий человек вozденет руки с благодарностью, а маленький человек щелкнет пальцами, присвистнет и побежит за добычей.

*

Грибы — это школа внимания. Доходит до того, что кажется, будто от силы внимания и рождаются грибы.

Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет.

Вернуться к молчанию в том смысле, что говорить для себя, а молчать от внимания к другому. Просить молчания — значит просить внимания к человеку.

Разговор выявляет свое первенство, а внимание рождает друзей. Вот почему разговор — серебро, а молчание — золото.

Надо оставить дома заботы, исполниться внутренним желанием радости, не торопясь идти, размышляя, внимать. Тогда все отвечает твоему вниманию — какой-то голубой колокольчик кивает, какая-то моховая подушка под сосной приглашает присесть, белка, заигрывая, пустит сверху прямо в тебя еловую шишку.

Нужно смотреть в природу внимательно и мыслить по-человечески. И вот, когда в мыслях заблудишься, к тебе в поправку, в помощь, показываются чудесные существа и, улыбаясь, сверкая росой и красками, радуясь, возвращают тебя на верный путь.

Я этому верю, я это знаю наверное, что так бывает, и потому позволяю себе думать о всем, что только захочется, и даже обо всем недозволенном.

Я мыслю, как мне только захочется, уверенный в том, что природа поправит меня и покажет, как надо мыслить всему человеку.

ИСКУССТВО КАК ПОВЕДЕНИЕ

Трудность писателя не в том, чтобы набрать материалу, а сохранить при этом набирании свою личность.

Мне вспомнился при этом один старик, засыпанный при взрыве какого-то дома. Он очнулся под развалина-

ми и, нащупав уцелевший термос с чаем, стал пить по глотку, экономя до последней возможности целебную жидкость. Через четыре дня его откопали, и он остался живым.

Так и писатель теперь засыпан материалами, как кирпичами, и не собирать ему надо под материалами, а сохранять под их тяжестью свою живую душу.

Всю жизнь своего сознания имел смутную потребность в постоянном источнике неизменного радостного, бодрого и умного питания духа. С этим я в свое время занимался самообразованием и того же я ждал себе от писательства. И я нашел в поэзии действительно источник радости.

Но это источник непостоянный, то покажется, то спрячется, в зависимости от каких-то внешних причин. Поэт — зависимый человек и свободен лишь, когда «божественный глагол до уха чуткого коснется». А то, чего я ищу — постоянного источника радости, — находится на пути *подвига.*

И тема моя «искусство как поведение» есть попытка сделать поэзию подвигом, превратить ее в «святое ремесло».

*

Рано встал и росистым утром под звонкую песнь соловья собирал в себя сладость бытия. Вот как отчетливо теперь вижу происхождение тревоги своей и слабости: это бывает, когда забываешь *собраться...*

Способность собирать себя самого и есть вот именно обретение свободы и, конечно, силы. Для этого нечего жалеть времени, потому что собранный в себе человек меньше подвергается случайностям, отнимающим время.

Голова наполнена смутными мыслями, глаз увидел предмет, и то, что было смутно в себе, вдруг отчетливо разобралось на предмете, и в сердце радость: «Так вот оно что!»

Тогда опишешь этот предмет, и окажется он в вашем описании для других как бы вновь открытым, выкопанным из-под пепла забвения.

Но если вы просто будете подходить к предметам *без себя самого,* то будете описывать всем известное и скучное.

*

Спрашивать писателя о «тайнах творчества», мне кажется, все равно, что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу, дело козы — давать молоко.

Так и о творчестве — надо спрашивать жизнь, нужно самому жить, а не спрашивать художника, влюбленного в жизнь, «каким способом мне тоже влюбиться?».

Надо выйти из себя и отдаться тому огню, в котором сгорает жизнь.

Наблюдать же можно со всех сторон одинаково, откуда ни подойди, потому что жизнь круглая и горит, как солнце, везде одинаково.

*

Мне кажется, величайшую радость жизни, какая только есть на свете, испытывает женщина, встречая своего младенца после мук рождения. Я думаю — эта радость включает в себя ту радость, какую частично испытываем и все мы в своем счастье. Так вот и хочется мысль, найденную для своего обихода в искусстве о поведении, распространить на всех.

Но я могу быть цельным только на восходе солнца, когда все еще спит, а другой утром спит и цельным бывает глубокой ночью. И мне скажут, что Сальери был в поведении, но у него ничего не выходило в сравнении с Моцартом — человеком без поведения.

В том-то и дело, что поведение в моем смысле не есть школьное поведение, измеряемое отметками. Мое поведение измеряется прочностью создаваемых вещей, и с этой точки зрения Моцарт вел себя как следует, как творец цельной личности, и не подменял ее рассудочным действием.

Так вот я хотел бы сказать и о себе, что моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, и отсюда все мое поведение: пишу — значит люблю.

*

Вот что меня немного смущает в моей печали и моей радости. Если печаль придет, я чувствую не предмет печали, а будто около сердца у меня натягивают, подвигая колки туже и туже, особую струну печали. И вот она уже поет свою песню... А что приходит в

голову под эту песню, то как снопы в молотилку: все обращается в горе — любовь моя, слава, Россия.

И наоборот, если натянуты струны радости, то, если погода и плохая, сделаю себе на бумаге хорошую, если в природе хорошо, я иду бродить, и на каждом шагу мне чудеса открываются.

Утром я встаю и чувствую: поет струна радости.

— Встал с правой ноги! — говорит Ирина [соседка] за дверью.

Или чувствую струну печали.

— Встал с левой ноги! — понимает Ирина.

И так в продолжение дня это бытие определяет мое сознание.

Но я не хочу, нет, нет! Я ищу в себе такое сознание, определяющее мое бытие, я хочу сам распоряжаться струнами бытия, я хочу, чтобы искусство мое стало моим поведением, а не прихотью моего бытия.

Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте.

Вот как нежно, провеяв крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды, и просит, как маленький ребенок: звезды, месяц, белый свет, станьте на место улетевшего белого голубя! И такое же в этот заутренний час было прикосновение понимания моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле.

А потом я увидел ясно черным по белому все немудрые проделки с людьми Кащея и задумался над самим собой: как же мне-то все-таки удалось сбросить с себя Кащееву цепь?

Мелькнул в памяти один поэт: он свои действительно драгоценные стихи понял не как дар жизни, а свою собственную жизнь заменил этими стихами. Так он забыл свой священный родник.

В конце концов его погубило «положение» поэта.

Но, с другой-то стороны, как же быть? Если творчество есть сила освобождения от цепей, то это же самое

творчество может и сковать цепь: как сохранить силу творчества до решимости схватиться с самой смертью?

Раздумывая об этом, приходят к мысли, что сила творчества сохраняется теми же самыми запасами, какими сохраняется на земле вечное детство жизни во всех его видах. И тут опять простота: иной, сознательно облегчив бремя жизни сокращением детей, погибает, другой, размножаясь, безгранично счастлив в своем муравейнике.

Весь секрет в обеспечении себе такой простоты, такой нивы, которую сладко пахать, и другой этому не завидует: у него под ногой тоже нива, в руке такая же соха, такая же веревочка к лошади, все то же, да вот я иду бороздой и песни пою, а он идет и ругается.

Писать можно, чувствуя себя образованным и отчеканенным человеком, как Анатоль Франс пишет; или же как русские пишут, будто поднимают какой-то вопрос для обсуждения с другом.

*

Беллетристику как таковую нельзя перечитывать, а можно повторять лишь поэзию и мудрость. Но читается беллетристика и пишется легче всего.

Беллетристика — это поэзия легкого поведения. Настоящее искусство диктуется внутренним глубоким поведением, и это поведение состоит в устремленности человека к бессмертию.

Река питается скрытыми родниками: все ею пользуются, а за рекой родники. Так и у писателя пишется. А пишется тем, что у него за душой. И все мы потихоньку спрашиваем: а что у него за душой?

Очень часто: писатель блестящий, а за душой ничего.

Все знают, что́ за душой у Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, и все мы знаем тоже поэта — стоит его назвать сейчас, и все скажут в один голос: «Пишет очень легко и забавно, только у него нет ничего за душой».

Обтяпал двадцать кустов черной смородины, и когда устал, то почувствовал обман мечты, завлекающей делать сад. Будь у меня земля в то время, когда зарож-

далась эта мечта, и выйди я тогда на эту работу, я был бы отличным садовником. Но сада у меня не было, я стал работать над словом и вырастил сад из слов такой большой, что в нем тысячи гуляют и миллионы пройдут в нем.

Теперь вся эта работа тяпкой в сравнении с тем, как я работаю над словами возле той же мечты, представляется ничтожной. Дивный пример какого-то *поведения*.

Взял бы и сказал людям и дал бы им простое средство в руки, а вот пойди и скажи! Нужно целую вселенную в себе самом открыть, чтобы сказать эти простые слова. Чувствуешь про себя мысль, знаешь, а сказать не можешь.

И такая вся природа: все знает, а сказать должен человек.

СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ

Посмотрите на птиц небесных: вы думаете, легко им жить?

Летят — шишки под крыльями, повеселятся денек весной — и в гнездо, сиди, не шевелись, а потом вывели — таскай весь день червей. Выкормили — опять в дорогу, опять шишки под крыльями. И попить и поесть ей не радость, кругом враги: клюнет и оглянется, клюнет и оглянется.

А после всего этого посмотришь на птицу — и нет краше ее ничего на земле, и нет ничего свободнее: свобода, говорят, как птица.

Свобода — просто избитое слово, оно стало похоже на огромный хомут... не всякое животное может пролезть через этот хомут, и воз остается на месте.

В истинной свободе этот хомут по шее всякому животному и воз по силам, так что не слышишь — везешь воз или не везешь. И эта свобода есть лишь другое название любви... Нет, свобода — это еще не любовь. Свобода — это путь любви. Или: свобода — это свет любви на кремнистом пути жизни.

*

Моя свободная с виду охотничья жизнь для многих молодых служит соблазном, и я часто получаю письма в таком роде:

«Научите меня так устроиться, чтобы тоже, как вы, постоянно ездить, охотиться, писать сказки, чтобы такая свободная жизнь признавалась за большое, хорошее дело».

Мой ответ на эти письма:

«Есть такой час в жизни почти каждого человека, когда ему предоставляется возможность выбрать себе по шее хомут. Если такой час в собственной жизни вы пропустили, то прощайтесь навсегда со свободой, если же он у вас впереди, ждите его с трепетом и непременно воспользуйтесь. Наденете хомут сами на себя — и будете свободны, пропустите свой дорогой час — и на вас наденут хомут какой придется».

Если воздух давить — он твердеет, и нам известно вещество — твердый воздух. Так, если и человека заставить рассчитывать свое время и дорожить свободной минутой, он в эту минуту свободную будет давать совсем новое, чего в мире еще не было.

У воздуха — твердость, у человека — свобода. Воздух под давлением становится твердым, а человек, понявший необходимость ограничения, становится свободным.

*

Нет большей тайны жизни, как то, что из навоза вырастают цветы.

Без навоза не вырастишь розы, но поэт все-таки будет славить розу, а не навоз, то есть удобрение. Надо показывать самую розу и оставить немного навозу, перегнившего, осоломленного, чтобы показать рядом с красотой добро, рядом со свободой и необходимость, из которой она выбралась.

...Итак, исход этому моменту — трагический.

А есть в душе еще момент восстания на эту систему борьбы, осуждающую каждого из нас отдавать свою жизнь в заем будущему.

— Не хочу быть удобрением, хочу жить, радоваться, благодарить за жизнь и тем самым, что я живу, радуюсь, благодарю, я без всяких усилий создаю для будущего больше, чем стал бы приносить ее непосредственно в жертву будущему.

Вот я, как художник слова, это чувствую — живу и даю жизнь другим, и мое тайное убеждение такое.

что если бы у человека превозмогало чувство благодарности за жизнь и радость, как превозмогает оно у рожающей женщины, и если бы... Но это невозможно, и *этим невозможным* для всех поэты живут...

*

Можно восхищаться выходной древесиной: какая чудесная и сколько ее вышло из леса! Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для наших печей.

Вот и поэзия подобна лесу: сложена в строфы, как древесина в кубометры. Но она может быть и поэзией, которая живет в нас и образует нашу душу.

Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к М. Горькому. А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам, отстаивающим искусство для искусства.

Само по себе искусство для искусства — нелепость, как нелепость — искусство на пользу.

Искусство есть движение, современное жизни, с постоянным качанием руля то вправо — за людей, им на пользу, то влево — за себя. Само искусство без всякой мысли о непосредственной пользе.

В мое время (декадентское) писатели открыли секрет писания, что надо писать о себе. В наше время, наоборот, пишут не о себе. То и другое неверно: писание о себе приводит к пороку, писание о другом — к добродетели вне искусства, к пропаганде.

В искусстве же слова необходимо познать себя и это самое представить как узнанное в другом.

Наши пишут теперь о другом, не зная себя, а в мое время писали о себе, не видя другого. Я тем спасся от декадентства, что стал писать о природе.

*

Разве не силен мороз? Но и этой силе приходит конец, и поутру при восходе солнца, звеня тонкими льдинками в белых цветах, смеясь, разбегаются ручьи в разные стороны.

Как прекрасны эти белые цветы на тонком льду, под которым бурлит, и бубнит, и звенит, и цедит свою воду ручей. Я часто думаю о морозе, разглядывая эти белые цветы — эти как будто никому не нужные в

природе белые знаки над бурлящей водой. Бесполезные знаки, зачем они?

Но вот приходит человек, склонился и разбирает, рисует, догадывается и бесполезное и ненужное опять пускает в природу, как ее же величайшую силу искусства и красоты, перед которой само солнце кажется лишь круглой красной печкой земли...

Последний момент творчества совершается всегда без труда, и этот момент, собственно, и есть творчество, это: дух веет, где хочет. Трудом тут не возьмешь одним, но нельзя ни на что рассчитывать и без труда.

Если талант у тебя и ты делаешь все без труда — это значит, множество людей работало для твоего освобождения. Пользуйся свободой, не угашай духа, не зарывай талант в землю, но помни, что ты произошел от тех, кто в поте лица добывал свой хлеб на земле, и ты несешь в своем таланте их поручение.

Есть целый мир, как великое данное, получаемое мной без труда. Мой личный труд есть только средство добиться права на обладание этим наследством: одному это легче дается, другому труднее. Есть, наверное, счастливцы вроде Моцарта, кому это право дается одним вдохновением, другой, как осел, идет в гору с тяжестью и до снежной вершины никогда не дойдет.

Альпинист и осел. Альпинист поднимается в гору, и с каждым шагом вперед под ним раскрывается новая картина, каждое усилие вперед тут же и вознаграждается. И рядом же по другой тропе поднимается осел, навьюченный палаткой со съестными припасами альпиниста. Альпинист учится у осла, как надо ступать, как экономить свои силы. И это именно осел освободил его, осел несет его бремя, а альпинист восхищается видами и создает поэтические образы гор. Конечно, благодаря ослу альпинист может сочинять стихи, но в то же время альпинист знает еще, что ослу стихов не сочинить, он же сам, если возьмется за ослиное дело, то, может быть, не так много, как теперь, а что-нибудь и сочинит. И это передается ослу, несущему бремя: так-то, конечно, так, благодаря ослиному

труду поэт легко и приятно поднимается в гору, но все-таки есть задняя мысль у осла за ушами, что, сколько ни нагружай на него, осла, тяжестей, хоть до смерти перегрузи, стихов он никогда не напишет.

Эта очень злая мысль у осла за ушами, и не может у него расшириться душа навстречу красоте, и никакие стихи, никакие пейзажи не обрадуют его так, чтобы он забыл свою заднюю мысль.

Осел презрительно называется ослом не за ум: у него довольно ума, вообще — осел умное животное. Нет, того человека презрительно называют ослом, кто несет свое жизненное бремя не свободно, а имеет за своими ослиными ушами какую-то злую, заднюю мысль с непременной претензией за свой ослиный труд получить признание как за творчество.

Без ослиного труда не обойтись и Моцарту, но Моцарт прячет свой ослиный труд, как ничтожный в сравнении с тем благом, которое получено им даром. Возможно, что в этом «даром» скрывается труд миллионов, но не миллионы, а Моцарт остается в истории.

Итак, какой же смысл этой притчи? Я думаю, тот простой смысл, что ослиное бремя необходимо для человека, как смерть, но человек, свободно берущий на себя бремя, должен брать его бескорыстно и не рассчитывать, что он за ослиный подвиг рано или поздно получит способность жить без труда и сочинять стихи.

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

Трудовой процесс, если он свободен, кончается творчеством.

*

И теперь, как сорок лет назад, каждый рассказ свой отправляя в редакцию, в глубине себя одеваюсь в рубашку смирения. Но они прекрасны, эти рубища! Они состоят из крови и нервов настоящего артиста... И когда я нахожу в себе эти сомнения — я артист.

Перед тем как хорошо написать, рушатся леса трудных придумок и открывается совершенно простой путь, и все дается на этом пути так легко, что кажется, будто вовсе напрасно перед этим трудился.

Когда рассказ плохой, говорят: «Надуманно, по́том пахнет». А когда хотят похвалить, то: «Как будто само сделалось».

Вот тут и выводи в искусстве трудодни!

В творчестве всякий «каторжный труд», всякий «невыносимый долг» становится сладким и легким. В творческом труде человек только и отдыхает.

*

У молодого писателя все сводится к теме — будь тема ясна, написал бы скоро напором души. У старого же мастера тема нависла, как туча, а написать трудно, и знаешь, как надо, а вот слишком много нависло, и духа не хватает обнять это все и написать.

Вот почему почти всегда великие художники жизнь кончали моралью.

Человек, который замечает свои поступки и про себя их обсуждает, — это не всякий человек. А человек, который живет и все за собой записывает, — это редкость, это писатель. Так жить, чтобы оставаться нормальным и быть с виду как все и в то же время все за собой замечать и записывать, — до крайности трудно, гораздо труднее, чем высоко над землей ходить по канату.

Вот почему труд настоящего писателя рано или поздно, иногда и после смерти, находит высокое призвание.

*

Никогда не останавливался перед чем-нибудь только из-за того, что другие за это брались и среди них были люди, может быть, и способней тебя. Это неверно! Твой кончик счастья виден только для тебя, и за него потянуть можно только тебе одному.

Вот отчего хороший грибник не боится народа в лесу, он верит, что твой гриб от тебя никуда не уйдет и никто твоего гриба не заметит. И хороший охотник не боится чужой стрельбы, напротив, «стреляют, — думает он, — значит, там-то и дичь». Так идет счастливец на гам и стрельбу, и оттуда на него прямо и зверь; недаром же говорят: на ловца и зверь бежит.

Всякая мысль, с которой ты входишь в лес, даже грибы собирать, есть твой план. Но чтобы лес понять, ты должен свой план забыть.

Если же ты будешь о плане думать и тем насиловать лес, то образы тебе не покажутся.

Образы не выносят прямого насилия и по существу своему автономны, как золотая рыбка автономна, хотя и состоит на службе у старухи.

Поэзия не подчиняется планированию. Об этом сказано у Пушкина в «Сказке о золотой рыбке».

СТИЛЬ И ФОРМА

Позвали меня однажды в один литературный кружок, и я, казалось, при общем внимании и понимании часа два трудился рассказывать о своих собственных путях, показывая, с чего настоящие писатели берут свое начало.

Я был так уверен, что молодые люди меня хорошо поняли, и осмелился сказать такие слова:

— А вот так-то писать романы, чтобы только «мастерить», этому каждого я могу научить в два месяца.

Послышались голоса:

— И напечатают?

Я ответил:

— Мало ли печатают вещей...

В ответ послышалось:

— Научите, научите!

Молодых людей тургеневского времени соблазнял очередной идол: так называемый *стиль*. Сам Тургенев, великий стилист, смеялся над этим идолопоклонством в искусстве. Вот в наше время надо тоже зорко следить, чтобы голое умение не заняло места этого поверженного идола. Надо уберечь детей наших от соблазна «мастерить» произведения искусства и печь их, как печет повар блины, — сотнями на одной сковородке.

Кажется, вот тебе все тут: рассказ, как вкусный блин, сошел со сковороды, вот она, горячая сковорода, пеки блин другой. Но тут, в деле искусства слова, оказывается, что на каждый новый блин требуется новая сковорода.

Может быть, тут и таится загадка таланта, стиля, вдохновения, всех родов мастерства: почему каждое

новое произведение искусства требует для себя новой формы, почему настоящий актер трепещет, выходя на сцену в старой роли, почему художник не может в точности скопировать свою картину, почему Рафаэль и Рембрандт существуют в одном экземпляре, почему Лев Толстой не может в точности переписать свою рукопись...

*

В искусстве слова все являются учениками друг друга, но каждый идет своим собственным путем.

Поиск собаки — это все равно что стиль у писателя. Несомненно, что, как человек сам с собой, так и писатель родится со своим слогом.

Но необходимо, однако, изломать этот природный стиль совершенно, чтобы потом он возродился, преображенный культурой, и сделался собственным стилем, а не просто слогом, потому что стиль предполагает усвоенную, ставшую своей культуру.

*

Творчество — это страсть, умирающая в форме.

Даже простая расстановка вещей, наведенный порядок дает некоторое спокойствие, а создаваемая форма — это счастье. Значит, можно сказать, что творчество — это удовлетворение страсти формой.

Лев Толстой мечтал писать так же просто и ясно, чтобы строчки его на бумаге были похожи на борозды пахаря. Ему этого так хотелось, что при разочаровании от своих попыток писать он брал соху и пахал.

*

Стилист. Когда в конце весны все великолепные птицы отпоют всему миру от сотворения его известные и милые песни, то начинает петь всеми этими голосами самая маленькая серая птичка подкрапивник: поет и скворцом, и соловьем, и зябликом, и овсянкой, и щеглом. Люди идут за грибами, за ягодами или сено косить, а он где-нибудь под крапивой вот заливается, вот старается, но никто не слушает его пения после тех весенних великолепных птиц.

Может быть, подкрапивник хочет соединить все ве-

сенние песни в одну, как делает это человек? Дурачок не понимает, что человеческая песня сплавилась из всех песен мира под действием той же огненной силы, которая плавила миры солнц и планет. Маленький стилист под крапивой схватывает от настоящих певцов только форму песни, не имея понятия и предчувствия о внутреннем непостижимом велении природы, исполнителями которого на все времена и сроки стали великолепные певцы.

Так и с нашими поэтами бывает: один пропоет на весь мир один раз, а тысячи перепевают то же самое на свой лад у себя под крапивой.

*

Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы.

*

Совершенная форма и есть для художника то самое, что все другие граждане всевозможных профессий сознают как свой гражданский долг.

Попытки иных художников в осуществлении формы без гражданского долга справедливо осуждены как формализм.

Формализм — это зло признанное, но форма — это добро. Между тем у нас часто сознательно и бессознательно писатели, прикрываясь борьбой с формализмом, сметают форму. Поэтому, защищая форму, я требую от писателя прежде всего языка.

Формализм — это не только в искусстве, это везде, где средства выставляются за цель. Это даже и там, где литературный старатель описывает шагающий экскаватор вместо человека, для которого он шагает.

Мы все понимаем и чувствуем это на каждом шагу, что всякая форма *рождается,* и даже непременно рождается она в труде, в туге и прямо в мучениях.

Мы тоже знаем, что форму можно заимствовать и облекать в нее любое содержание.

Мы еще знаем, что подобный «формализм» является вреднейшим суррогатом творчества, известным под названием «халтуры», что халтурщики — это не только воры, а еще и воры с претензией на творцов.

И все-таки, зная это, мы стремимся все больше и больше «открывать» методы творчества и давать их в руки ворам.

РЕАЛИЗМ

Реализм — это значит вещественность, и если это относится к слову, то, значит, у реалиста слово не пустое, а наполнено веществом правды. Писатель-реалист — это значит, правдивый писатель.

Правда правдой, но нельзя написать сказку тоже и без вымысла, потому что пусть слово и наполнено веществом правды, а все-таки само-то слово, как сосуд, как форма правды, есть достояние человеческого ума или вымысел. Почему же, однако, и самому вымыслу нельзя быть правдивым?

Так, значит, и будем на этом стоять, что реализм в искусстве слова предполагает сочетание правды, как общего основания человеческих отношений, и вымысла, как личного понимания жизни самим художником слова.

Правда без выдумки — как самолет без горючего. Правда лежит. Когда же нальют горючего, то правда летит, пересекая меридианы и полюсы нашей планеты. Никакой правды не бывает без выдумки! Напротив! Выдумка спасает правду, для правды только и существует выдумка.

Каждый факт являет собой как бы сморщенную оболочку аэростата, в которую художник вдувает свою силу, и факт, оставаясь фактом, летит.

*

Метод писания, выработанный мною, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и невидимой жизни моей собственной души. Встречаясь с достойным писания сюжетом, вдруг получаешь как бы веру, а не находя, страдаешь неверием. Искусство и есть способность изображать предмет своей веры и любви.

*

Писатель тот, кто умеет следить за собственной личной своей жизнью, — это первое, этого довольно, чтобы сделаться писателем; но, чтобы сделаться писателем-художником, нужно еще это свое увидеть отраженным в мире природы и человечества.

Интимный пейзаж боится свидетеля, и потому так трудно дать гармонию человеческого образа с природой...

Мои записи о природе часто наводят меня на мысль, что поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа, и вот почему получилось у меня, что, записывая мои наблюдения в природе, я записываю о жизни самого человека.

Так часто бывает, что сам едешь в поезде, и из окна кажется, будто мчится природа. Когда же разберешься хорошенько, то оказывается — природа стоит, а мчимся мы сами в своем поезде.

И нет ли того у всех художников природы, что их проникновенный взгляд в природу, их интимный пейзаж есть не что иное, как попытка проникнуть глубоко в душу человека, в ее неудержимое движение. Во всяком интимном пейзаже движется сам человек.

*

Конечно, и во мне всякий есть человек, но я выбираю из всего себя лучшее, делаю из него человека возможного и называю это — реализм, а не то реализм, как некоторые думают, чтобы вывертывать все из себя без разбору и находить в окружающем мире людей ему подтверждение.

Истинного реалиста можно так узнать, перечитывая его какую-нибудь вещь: если он не реалист, а придумщик, то непременно откроется читателю сюжетная канва, по которой он расписывал. Если же он действительно реалист, то, сколько ни читай, никогда не найдешь канвы: или искусно выдернута, или художник сам поверил в правду своего изображения, забылся от себя совершенно.

Вовсе не надо для реалиста, чтобы в действительности было точно так, как он говорит. Нужно, чтобы он

верил в действительность того, о чем он говорит, и обладал способностью уверить в этом читателя. У Гоголя нет действительности, но он всех в ней уверил. И вот он — реалист.

Если хочешь смеяться до слез, до колик, до упаду, то над чем же больше смеяться, как не над самим собой, потому что исподняя, смешная сторона всех поступков тут налицо...

Но мы не смеемся над самим собой — это невозможно. Есть один выход из этого: свое смешное увидеть в другом, показывать на это, глядеть и хохотать. Первым мастером такого смеха был у нас Гоголь.

*

Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно сделаться отличным писателем.

Реализм в искусстве — это есть, иначе говоря, путь к правде: искусство на пути к правде.

Реализм — это, вернее всего, русская школа, тождественная с общим устремлением истории нашей морали в ее движении к правде.

Может быть, и ложь-то бывает особенно велика из-за общего направления к правде. Может быть, и реализм Гоголя является обманом самой правды. Недаром же о Гоголе некоторые говорят, будто всех людей своих он выдумал и заставил всех нас в них поверить.

Но есть какая-то истина в этом движении русского искусства к осуществлению правды, что-то вроде решения богов: «Сотворим человека!» И человек был сотворен.

Два раскрытия полюса жизни: Аксаков и Гоголь. Удивительно, что оба тяготели друг к другу. Один писал гениально о том, что было, другой гениально о том, чего не было.

А кончилось в настоящее время торжеством того, чего не было, и гибелью того, что было (Гоголь присутствует в революции, а Аксаков, как Гомер, остается где-то в золотом веке русского прошлого).

Есть материализм потребительский: человек потребляет материю для своего счастья. И есть материализм, когда дух человеческий, как бы страшась своей свободы, хватается за материю, как утопающий хватается за соломинку.

Тогда в этом стремлении удержаться все предметы, схватываемые духом, становятся такими, как будто ты сам только что родился и увидел их первым взглядом.

Вот таким первым глазом Гоголь смотрел на вещи и так создавал свой реализм, похожий на луч рентгена, проникающий сквозь твердые вещи.

Мало того, чтобы хотеть и действовать, нужно еще ясно видеть то, чего хочешь. Если же видишь неясно, то будет погоня за призраком (Дон-Кихот).

Материальные ценности легче видеть, чем духовные, но на них надо учиться видеть *точно.*

В жаркий парной день войдешь в хвойный лес, как под крышу великого дома, и бродишь, бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает: он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы — сморчки — уже прошли. Ландыши? Еще не готовы.

— Не потерял ли ты что-нибудь?

— Да, — отвечаю, — я мысль свою в себе потерял и теперь вот чувствую — сейчас найду, вот тут, в заячьей капусте найду...

*

У Л. Толстого Наташа Ростова обнажена, лишена всякого покрова — и как это хорошо!.. Яснеет задача современного искусства обнажить человека совершенно, лишить его всех покровов религиозно-этических и романтических.

Помнить, что этой же *правдой* (вот она!) вышел в люди Шекспир. И мне кажется, что милость к человеку надо искать в природе в смысле: «Не хочешь быть человеком среди человеков, так поглядись в то страшное зеркало: там ты увидишь, какое богатство, какое могущество находится в твоем распоряжении».

Вся природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека,

владеющая словом, вышла *за пределы природы* и теперь больше и дальше ее.

Только оглянувшись назад в свое прошлое, человек в зеркале своем видит свою собственную природу.

НАУКА И ИСКУССТВО

Мысль человека подобна воде, размывающей первозданную породу скалы: не будь воды — скала была бы бесплодной, не будь скалы — вода бы осталась без дела, и только взаимодействие воды и скал намывает плодородную почву.

Вода живая — это вода поднимается на небо и, собираясь пузырь к пузырьку, образует облака. Вода мертвая — вода падающая — рабочая вода. И то же в стихии человеческой: наука — мертвая вода — все разбирает на составные части, искусство составляет и оживляет.

*

Если бы иначе было, то как бы понимали неграмотных людей университетски образованные? А в «чем-то», несмотря на разницу образования, люди все-таки понимают друг друга. И это «что-то» существует вне науки, образования, воспитания.

Нашли орех, расколотый надвое, как будто его по линеечке пилой срезали, и ученые люди думали: какой зверь мог так ровно разделить орех? Белка не могла, от белки скорлупа рваная, соня орешковая такая маленькая, тем более не могла захватить орех целиком в рот и распилить. Нечего говорить о мышах-полевках и землеройках величиной почти в наперсток. Известный зверь ни один не мог распилить орех на две половинки, а может быть, есть какой-нибудь неизвестный? Нет, все звери в лесу нам известны. Тогда пришел простой человек и сказал: «Леший грыз». А когда все засмеялись над его словами, он всех ученых окинул насмешливым взглядом и сказал: «А если неизвестных зверей в лесу нет и в лешего не верите, то ведь нетрудно и догадаться, отчего раскололся орех». — «Отчего?» — «Нажало спелое зерно изнутри. Очень просто: орех *сам* раскололся».

*

Когда не находят причины чему-нибудь и не хотят видеть чудо, ссылаются на случай. Я же все такие случаи принимаю как чудеса.

Смотрел — дивился формам сосен и елей, засыпанных снегом. Сколько я посвятил времени когда-то их фотографированию из-за того, чтобы установить «факт», что вот как бывает. Я будто фотографировал чудеса. Чудо же состояло в *самородном явлении формы*.

Наука и искусство (поэзия) вытекают из одного родника и только потом уже расходятся по разным берегам или поступают на разную службу: наука кормит людей, поэзия сватает.

Я чувствую себя упавшим семечком с дерева в этот поток, где наука и поэзия еще не расходятся на два рукава. Наука делается кухаркой, поэзия — свахою всего человечества.

*

Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете «изучать» незабудку?

...И когда я понял себя, что я могу быть сам с собой, тогда тоже все вокруг меня стало как целое и без науки.

Раньше, при науке, было мне, что все в отдельности и бесконечном пути, и оттого утомительно, потому что вперед знаешь, что до конца никогда никто не дойдет.

Теперь каждое явление, будь то появление воробья или блеск росы на траве... все это черты целого, и во всякой черте видно все, и оно *кругло* и *понятно*, а не лестницей.

Разве я против знания? Нет! Я только говорю, что каждому надо иметь срок возраста жизни и право на знание.

...Встанет из пирамиды образованный египтянин и, рассмотрев наше искусство, все его узнает в египетском рисунке какого-нибудь спущенного хвоста птицы, охраняющей жизнь бывшего фараона. Но тот же егип-

тянин будет поражен, как ребенок, стеклышком Цейса, позволяющим видеть мельчайший мир и отдаленнейшую звезду.

ЧТО ЕСТЬ ХУДОЖЕСТВО

Искусство как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми. Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли, и разных земель, и разные земли между собой, города, даже мелочи жизни становятся такими, будто их делало само время.

В наше время упрямые попытки превратить искусство в публикацию («художественная публикация») исходят из той же потребности создать родство между широкими массами.

*

В слове есть скрытая сила, как в воде скрытая теплота, как в спящей почке дерева содержится возможность при благоприятных условиях сделаться самой деревом.

Если будет вода и в ней ни одной рыбки — я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка — я не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми — не лес, и жизнь без таящегося в ней слова — все это только материал для кино.

Если ученый находит причину явления, то тем самым он открывает новый вопрос о причине самой причины данного явления. И тот же ученый предоставляет новому ученому работать над дальнейшим, и так без конца.

А в искусстве мы как бы снимаем с открытой причины ее покрывало и даем самый образ, имеющий свойство показываться и одинаково всем, и по-разному для каждого.

Почему это равняется настоящему открытию, если даже общеизвестную мысль, о чем люди говорят повседневно, удается высказать образами? Не потому ли это бывает иногда, что люди, повторяя мысль, утрачива-

ют смысл ее и вновь узнают, когда мысль является в образе?

*

На искусство в своем происхождении — поэзию, а также на чистую науку я смотрю так, что творчество их происходит от облегченного в человеческих условиях ритма, которым сопровождается работа в природе.

Там этот ритм — условие вращения тяжелых миров, у нас — ритмический ход образов и мыслей. Если сделать соответственные записи движения в природе, то можно добиться слышания этих видов природного ритма.

По-моему, гений человека не огонь похитил с неба, а музыку и направил ее вначале к облегчению труда, а потом и самый труд, на который распространяется ритм, сделал через это наслаждением.

Мы живем в природе и между людьми для согласия. Возможно, мне скажут: «А для какого согласия?» Я отвечу: «Для музыкального преображения мира».

ИСКУШЕНИЕ ХУДОЖНИКА

Молча в недрах народа, как в недрах земли с семенами и саженцами, происходит переработка брошенных в революцию идей, и что взращивается, что отбрасывается.

Писатель должен очень бояться своих сочинений на заданную тему, жизнь заставит всех обратить на себя внимание.

Правда колет глаза, сказать по правде очень трудно и в то же время обойти ее очень легко при одном условии, что ты-то ее обойдешь, но в будущем когда-нибудь непременно за тебя поплатится невинный.

Жертва — это ответ невинного за ошибку другого, и потому живи и не ошибайся.

Человек должен быть непременно твердым, а то злые любят мягких, добрых и делают их своими костылями. Так и надо помнить, что настоящее зло — хромое и ходит всегда на костылях добродетели.

Самое нехорошее в литературе, что писатель откуда-то берет себе право смотреть на жизнь как на свои материалы и *пользоваться* ими, то есть он делает то же самое, что и охотник за шкурками бобров: сдирает шкурку, а самое животное бросает.

Есть вещи в государственном управлении, к которым нельзя приспособиться писателю, потому что эти вещи есть «временные меры». Приспособление писателя к современности есть требование времени, но если писатель приспособляется и к «временным мерам», то начинают протестовать даже сами администраторы.

Вчера вечером слушал соловьев и наслаждался не переживанием детства, а так, как оно сейчас: за черной пилой леса золотая заря, над зарей облака тяжелые, синие, и по синему красные борозды.

Пели соловьи в той стороне, где заря за рекой, и на горе надо мной, и внизу, в овражном ольшанике, и я слушал и выбирал, в какой стороне соловьи лучше поют.

Когда же выбрал сторону, стал выбирать среди соловьев, какой лучше поет, и когда нашел лучшего, то стал его спрашивать, как бы мне тоже так научиться петь лучше всех.

И соловей мне ответил:

— Хочется петь — и пой, а научиться этому нельзя. — Помолчав, он прибавил: — Да и не надо. Что хорошего будет, если все научатся и запоют.

Чтобы настоящим быть художником, надо преодолеть в себе злобную зависть к лучшему и заменить преклонением перед совершенно прекрасным.

Зачем мне завидовать лучшему, если лучшее есть маяк на моем пути, и зачем мне падать перед совершенно прекрасным, если я в нем в какой-то мере, пусть даже в самой малой, но участвую: тем самым, что я восхищаюсь, я участвую.

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но

песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку.

Что такое творчество? Борьба со злом в первую очередь, но именно не борьба как отрицание, а борьба как переключение направления действующей силы зла, вследствие чего зло и превращается в добро.

Между угнетенным деревом в лесной тесноте и счастливым деревом на опушке есть еще дерево-победитель: оно в борьбе за свет сбрасывает сучья, гонит свой ствол голый, как свечу, вверх, пробивает затеняющий полог и достигает небесного света.

Так вот и я стремлюсь преодолеть угнетенность и не завидовать семенникам на лесной опушке.

*

Вынашиваю мысль о священном порядке в душе творца, каким является в какой-то мере каждый работник, мастер своего дела. Этот священный порядок повелевает мастеру поставить все предметы на свои места, а также и определиться самому в служении и отделаться от прислуживания.

Требуется достоинство, и больше ничего.

Художественный талант — это, как всякая способность и даже как всякая сила людей, возбуждает между собой борьбу роста личностей. Каждый истинный художник не боится этого роста, если он правильный, и думает про себя:

«Ладно, если так растет художник, то и я подрасту».

А неправильный рост подавляет и разрушает искусство.

Вот за этим ростом искусства наблюдают особые люди, критики, как сторожа правды.

Во всех производствах эксперты выбираются, конечно, из мастеров, например, если возникнет спорный вопрос в слесарном деле, то слесарь же является судьей.

Только в литературе судит писателей не мастер литературного дела, а просто *критик*.

*

Первую половину жизни своей до 30 лет я посвятил внешнему усвоению элементов культуры, или, как я теперь называю, — чужого ума.

Вторую половину, с того момента, как я взялся за перо, я вступил в борьбу с чужим умом с целью превратить его в личное достояние при условии быть самим собой.

*

Никто не знает секрета художника, когда он, затевая великое дело, в полном уединении во всех подвалах своих откроет сундуки и начнет все выкладывать. Какое богатство! Но это богатство только для себя, как во сне, а хочется проснуться с этим добром среди людей, чтобы все добру этому радовались. Но бывает, художник спустится в подвал, а там нет ничего и никакого даже секрета. Такой бедный человек!

А вы спрашиваете, как художник о себе думает? Да никак, и некогда думать: если подвалы полны, то художник весь отдается делу устройства секрета своего так, чтобы из всего богатства что-нибудь дошло до людей. Если же подвал пуст, что же тут о себе думать: в пустые стаканы наливают вино.

Большая мысль, дробясь, блестит, как электричество в коротком замыкании. Вот почему являются *блестящие* умы. Дробясь еще сильнее, мысль переходит к умам практическим. И так, все мельчая и мельчая, мысль становится хитростью.

А мысль действительная проходит в молчании и тишине.

*

Когда уж все и всюду в печати расхваливают — не веришь: сегодня хвалят, завтра забудут, а ты попался на удочку и лежи, как рыба на сухом берегу. Очень часто и большие ценители ошибаются, приняв искусственность за искусство.

Но когда к доброй оценке этого высокого ценителя присоединится восторг простеца — тогда почти безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь.

*

За что я люблю грибы собирать, это за то больше, что их нельзя выдумать. Вот идешь по лесу, глядишь

на землю, и в голове нет никаких мыслей, кроме как о грибах. По привычке писать и подхватывать мысли тут тоже кажется: вот сейчас хорошенько подумаю — и гриб вырастет. Но сколько ни думай — лес не бумага, от мысли гриб не появится. И тут начинаешь мириться: «нет у тебя ничего, ни гриба, ни мысли, верь, надейся, ищи».

И так постепенно впадаешь в приятное состояние бездумья с нарастающей надеждой.

...Осторожно палочкой поднимаешь тяжелую ветку, чтобы стряхнуть росу, и, когда подлезешь сам туда и оглядишь частые стволы с прогалочками, вдруг как солнечный луч пронзает темный лес, так радость потрясает все тело: десятки в росе стоят, и все одни только белые. И в десять раз сильней это бывает у писателя, чем у простого человека, любителя грибов: ты знаешь наверное, что это не чужие мысли, которые ты притянул и присвоил себе и сам обманулся, приняв их за свои собственные мысли, а грибы настоящие, нерукотворные грибы, которые жарить можно, и всем показывать, и говорить, и удивлять всех: белые грибы показались!

*

О скепсисе. Отрицатель должен иметь при себе наличие того совершенства, во имя которого он делает отрицание. Не имеющий в наличии такого идеала отрицатель просто *ворует*, потому что оставляет в душах ничем не заполненную пустоту.

Редактор N. — это один из тех бесчисленных современных молодцов в литературе, похожих на детей, умеющих разбирать часы, — разобрать могут, а собрать еще нет. Придет или не придет такая установка, чтобы учиться не разбирать, а собирать? Конечно, придет, но едва ли я захвачу.

Отвращение к учительству. Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться.

Лучший вид свободы изображен в «Троице» Рублева: умная беседа о жертве с последующим согласным решением. Лично я ненавижу резкие споры с умственной истерией и насилием темпераментов: это война. А свобода — в совете.

Что это за «подлинная жизнь»? Это жизнь каждого человека в связи с его близкими.

Так ли?

Человек в одиночку — это преступник — сверхчеловек или в сторону интеллекта (вроде Раскольникова), или в сторону бестии (бестиального инстинкта).

Мой человек — это самое то, что интеллигенция (со времен Щедрина) называла презрительно «обывателем».

На самом же деле это и есть сам-человек, хотя бы вот Евгений из «Медного всадника».

Голодный повар — как это может быть? А вот бывает же: поэт похож на голодного повара — он, создающий из жизни обед для других, сам остается голодным. И что ужасно, как будто оно в отношении писателя так и должно быть: сытым писателя так же трудно представить, как голодным повара.

Хемингуэй — это фронтовая душа, то есть такое состояние духа, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не остается, а между тем, к удивлению себя самого, ум работает гораздо яснее даже, чем в гармонии с сердцем.

Это у него умные записи последнего сердечного стона.

Нужно ли это? Наверно, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку...

ЧУВСТВО СОВРЕМЕННОСТИ

Чувство современности содержится в творчестве, и оно-то больше всего и радует автора, обещая ему непременное внимание и сочувствие друга. Особенно трудно дается автору изображение природы и вместе с тем открытие современности в несовременных вещах.

Тайная современность рассказа о несовременных вещах является, может быть, пробным камнем истинного творчества.

*

Красота направлена к вечности, но художник должен знать время, когда с ней нужно выходить на люди: когда у них свадьба, когда похороны.

Художник должен чувствовать вечность и в то же самое время быть современным. Без чувства вечности невозможны прочные вещи, без чувства современности художник останется непризнанным.

По-моему, каждый настоящий талант содержит в себе чувство современности, и как птица на перелете верно направляется в огромном пространстве с Новой Земли в Центральную Африку, так и писатель движется во времени, точно как птица в пространстве. И нет писателя вне современности, хотя бы он писал о египетских пирамидах или о листике осины, трепещущем на своем стебельке... Я называю эту способность чувством, а не мыслью, потому что сам действительно не могу разобраться в этом движении моем, как сороконожка не может понять, какой ногой вперед сейчас ей надо ступать.

*

От себя уйти невозможно, а еще говорят, будто писатель может уйти куда-то от современной темы.

...Во мне живет чувство нового времени. Мало того! Я могу надеяться, что это великое чувство жизни, замаскированное охотой, я оставлю в своих книгах.

Есть в незримой среде, окружающей каждого, тон времени, и кто слышит его, как будто получает крылья и может лететь и лететь.

Но это не все, что нужно человеку. Человеку нужно слышать тон времени и идти по своей тропе.

*

Ранним утром в предрассветный час, когда я в полной тишине ставлю сам самовар, пью чай и потом прямо от чая сажусь за пишущую машинку, я чувствую полное слияние бытия моего с сознанием, и о чем бы я ни писал, все равно написанное выходит из бытия моего, да, о чем бы ни писал, все написанное мною современно.

Нет более раннего утра, чем предрассветный час,

и я думаю, что я самый современный писатель: никто-никто раньше меня не встанет и в этот ранний час никто, как я, — разве певчая птичка! — так не чувствует святость бытия в момент перехода его в сознание.

Мой современник — это не тот, кто устраивается потребителем всего нового, а кто сам участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил.

НЕБЫВАЛОЕ

Человек живет и рождает новое, и от него остается навсегда то небывалое, что он рождает словом, делом, помышлением, поклоном даже, или пожатием руки, или только улыбкой посылаемой.

Человек неведомый послал улыбку кому-то, и от этой улыбки родилось небывалое.

Человек — это мастер культурной формы вещей. На низшей ступени лестницы этих мастеров стоят те, кто ничего не вносит своего, а возвращает талант свой в том виде, в каком он его получил. На высших ступенях располагаются те, кто всю душу свою вкладывает в творчество небывалого.

*

Человек — это источник небывалого в природе.

Атомы были, но атомная энергия в руках человека действует как небывалое. Наташа Ростова была, но под пером Толстого она живет как небывалое, потому что ею руководит душа единственного, неповторимого человека — Льва Толстого.

Художник — это тот, кто душу свою вкладывает в творчество небывалого.

*

Как художник, я страшный разрушитель последних основ быта (это мой секрет, впрочем): я разрушаю пространство и говорю: «В некотором царстве», я раз-

рушаю время и говорю: «При царе Горохе». Совершив такую ужасную операцию, я начинаю работать, как обыкновенный крестьянин-середняк, и учитывать хозяйственные ценности, как красный купец.

Этим обыкновенным своим поведением я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства.

— Освежились, очень освежились! — говорят они, прочитав мою сказку.

И платят мне гонорар.

Чем я силен? Только тем, что ценное людям слово покупаю ценой собственной жизни.

*

В производстве нельзя без заместителей, но затем и создано и существует искусство, что человек тут сам.

В искусстве нет заместителей: тем искусство и отличается от всего.

В народе говорят, что не только пересадить нельзя боровик, но и шевельнуть, прикоснуться, и даже и посмотреть его рост: как посмотрел, так он и перестанет расти. И артист, как боровик, живет только естественно, прилюбилось место — и сел, и пересадить его невозможно.

Все живые отношения должны быть непременно и личными, даже дипломаты и те встречаются, чтобы посмотреть друг на друга. Только бюрократы личных отношений избегают и заменяют их бумажными: в этом и есть вред бюрократии.

То место, где я стою, — единственное, тут я все занимаю, и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, последний кусок хлеба готов отдать ближнему, но места своего уступить никому не могу, и если возьмут его силой, то на месте этом для себя ничего не найдут, и не поймут, из-за чего я на нем бился, за что стоял.

Конечно, наше время есть и начало чего-то, и конец. Хочется войти в начало, но и конца не хочется переживать: пусть оно кончается без меня, я же войду в начало.

Мало того! Мне кажется, я рождаюсь, не имея возможности об этом сказать кому-нибудь, и оттого мне хочется на старости, как ребенку, плакать и жаловаться.

Огромное большинство ошибочных суждений о писателях (педагоги больше всех ошибаются) зависит от того, что о поэзии судят с точки зрения ее потребителя, а не созидателя.

Двигаться за недоступным — вот сущность поэта.

СКАЗКА

К сказкам, поэзии все относятся, как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю?

*

Не о хлебе едином жив человек, ему еще нужны сказки, и так было всегда, от самых первых людей на земле: в шелесте листьев или в столкновении волн с каменными берегами, в мерцании звезд люди сливаются, и в минуту, когда сливаются с этим, сами начинают шептать.

Внутри сказки, все мы понимаем, таится правда, но если сказку сломаешь, как игрушку дети ломают, то правды не найдешь.

И было, и есть, и будет всегда благополучием некоторая длительность устойчивости человека, идущего по канату; всегда, везде и всюду этот момент устойчивости расцвечивается сказками, и эти сказки, по существу, и являются реальностью, а никак не то жалкое состояние равновесия.

Так вот полезно людям иногда поглядеть на веревку, по которой придется идти.

Этот взгляд себе под ноги, если только не свалишься, вызывает к созданию новой, более увлекательной сказки.

*

С давних пор занимает меня постоянно мысль о том удивительном человеческом легкомыслии: как они, видя всюду неизбежность своего конца, живут, не обращая на это ни малейшего внимания, в каком-то нелепом чаянии, что люди смертны, все умрут, а я как-нибудь проскочу... Вот эта-то мысль и приводит меня теперь к реализму легенды, что именно легенда есть связь распадающихся времен (легенда как сила творчества), именно то самое, «чем люди живы». Толстой называл это «любовь», но нет, это не любовь... а как бы сверхсила жизни, и человек, обладающий ею, «сверхчеловек».

Легенда как связь распадающихся времен — вот единственно реальная в свете сила.

Сказка — это связь приходящих с уходящими.

Сохраненное в себе дитя для детей — вот мировой капитал человечества, сила искусства от простого сказителя и до Шекспира.

Влюбленность — это сказка. А роды — это правда. Ребенок — это правда любви.

Но что ребенок этот — единственный и будущий гений — это сказка матери и самая могучая: сердце матери есть поприще, где сама сказка хочет быть правдой.

*

Сказки мои — это могильные холмы, в которых я зарывал сокровища своей личности.

Только одно к этому еще запомните, деточки, что жизнь для игры и сказки трудней и больней.

Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными.

Две девочки вошли в мой гараж.

— Здравствуйте, дедушка!

— Здравствуйте, девочки, как вы поживаете?

— Хорошо.

— Что же хорошего?

— Ничего.

— А сказали — хорошо.

— Конечно, хорошо, нам ничего больше не нужно!

Лицемерно вздыхают о детстве, что оно «прошло». Но спросишь их — зачем они дали ему «пройти»? Все хорошее должно в человеке оставаться даже после смерти для пользования всех под охраной живых: так я охраняю детство своей души, а после меня его должны охранять другие.

*

Спасение сказки. Удивление покидает мир. Даже воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны. И можно вперед сказать, что перелет на другие планеты не даст того счастья, той радости, о которой сейчас грезится.

Удивление связано с детством человека. Современный взрослый человек рано расстается со своим ребенком: он с двадцати лет взрослый и больше ничему не удивляется. Сказка питается детством, и детство здоровьем, и здоровье дается землею и солнцем. Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка.

Невозможно? Нет ничего невозможного. Во всяком случае, возникает вопрос: почему современный человек не отказывается от возможности перелететь на другую планету и поднимают даже вопрос о физическом бессмертии в будущем, но почему же тогда невозможно вернуть человечеству удивление и сказку?

*

В жизни мы разделены друг от друга и от природы местом и временем, но сказитель, преодолев время и место («в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе»), сближает все части жизни одну с другой, так что показывается в общем как бы одно лицо и одно дело творчества, преображения материи. При таком понимании сказка может быть реальнее самой жизни. (Дон-Кихот и Санчо — самый яркий пример такого сближения.)

Не до сказок теперь! Не до сказок, я знаю, но она явится, как наш след по земле... Нашим следом Охотник идет, и он потом расскажет о нас.

То, что я хочу вложить в душу героя моего мальчика Зуйка * сказку, это есть праведная радость жизни, законное разрешение трудового процесса и душевной борьбы удовлетворением. Только злой, дурной человек не имеет в жизни минуты для расширения души, обнимающей Целое (сказки).

В сказке благополучный конец есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшей ценности жизни. Сказка — это выход из трагедии.

— Не забыть, не простить — вот тема «Мирской чаши» **.

— Надо забыть, это надо забыть, — сказала моя собеседница.

— Ты говоришь против роста сознания...

Такой был разговор. А я сейчас думаю, что в каком-то смысле надо и забыть, потому что дети со своей игрой и радостью жизни вырастают в забвении.

И разве зеленые листики помнят о прошлогодних листьях, ставших теперь удобрением? Чтобы им *быть*, надо *забыть*.

И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть, и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня, в надежде на что-то новое, небывалое?

Детская вера в людей — это светлый героический путь. А неверие в человеке — есть несчастье, есть болезнь роковая. Люди... ну а дети? Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю, и тут я все брал на себя — не люди плохи, а я!

И тогда... какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте, и тогда, как бы *прощенный* красотой, я с любовью обращался к людям, я верил им, и они мне помогали.

*

Когда говорят о чем-нибудь: «Оно вполне естественно», это значит, другими словами: «В этом нет ничего удивительного».

---

* В романе «Осударева дорога».

** Повесть М. М. Пришвина, напечатана под заглавием «Повесть времени». В нашей книге сокращенный ее вариант «Милочка».

Так большинство людей осваивает явления природы, возникновение электрических поездов, радио и самолетов и ничему на свете не удивляется.

Только если произойдет какое-нибудь личное потрясающее событие, такой человек оглянется вокруг себя первым младенческим глазом, удивится, и тут может случиться по-разному: одни люди, презирая естественное, обратятся к сверхъестественному, другие будут дивиться естественному и все, что в нем совершается, будут считать чудесным.

Я принадлежу к числу таких удивленных простаков и хочу героя своего, величайшего простака, вывести из этого и дать ему подвиг «открывать людям глаза» и тем открыть людям силу бесконечно бо́льшую, чем открыл Прометей в силе огня.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Благодарил свою судьбу, что вошел со своей поэзией в прозу, потому что поэзия может двигать не только прозу, но самую серую жизнь делать солнечной. Этот великий подвиг и несут наши поэты-прозаики, подобные Чехову.

Чувствую себя в этом отношении очень малым, но что путь мой правильный и воистину русский — народный, это несомненный факт. (Свидетельство почти ежедневное моих читателей.)

*

Вчера мы услышали песенку, поглядели на дерево, а там поползень, эта деловая, вечно занятая птичка, сидел на сучке неподвижно и пел.

Да! Подумать только — поползень пел!

Сегодня поползень на том же сучке сидел с небольшим сухим сучком в носу: вчера пел, а сегодня уже вьет гнездо. Но я был счастлив, что подслушал вчера его песенку.

«Значит, — подумал я, — даже самая суровая, самая строгая правда жизни таит в себе песню или сказку», — и как захотелось тут, чтобы рассказать или спеть ее пал жребий на меня!

Мечта есть вестник прекрасного мира, и этот мир находится в самой серой действительности, преодоленной в себе самом и преображенной.

Дело исследователя — расставить людей и вещи, сдвинутые случаем, на свои места... Художник должен войти внутрь самой жизни, как бы в творческий зародыш в глубине яйца, а не расписывать по белой известковой скорлупе красками.

Нужно посмотреть на вещь своим глазом и как будто встретиться с нею в первый раз: пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир.

Это узнает художник, и первое слово его — сказка.

В метро я спускался по эскалатору, вспоминая то время, когда я увидал это метро в первый раз; тогда я видел метро и думал о метро. Теперь я думаю о другом, а метро — это не входит в сознание. И мне было так, что в собственном смысле живут люди только те, кто живет в удивлении и не могут наглядеться на мир... остальные же люди живут в бессознательном повторении. И вот это бессознательное повторение, возведенное в принцип, и есть так называемая «цивилизация».

Какая-то страшная эпидемия охватила род человеческий... Болезнь состоит в повальной зависимости людей от *вещей*. Спасение же рода человеческого, его выздоровление начнется *удивленностью*.

*

Поэзия — это чем люди живут и чего они хотят, но не знают, не ведают, и что надо им показать, как слепым.

Повесть моя зарастает, и я думаю: не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду?

Это «превосходство» я отношу не к таланту своему, а к особой моей вере в жизнь, вере, может быть, простака, в то, что в *жизни* содержится *все*.

Если бы не эта вера, я бы мог сделаться поэтом и романистом, но эта вера приковала меня исключительно к своим личным переживаниям: я работал по своему дарованию как художник, а по вере и честности — как ученый. Очень возможно, что эти записи в том виде, как они есть, ценней, чем если бы взять их как материал для поэмы: никто не может создать такой поэмы, которая могла бы убедить в ценности жизни человеческой, как эти записи.

*

Слова мудрые часто называют простыми, потому что такие слова у многих простых людей возбуждают собственную мысль. Услышав эти слова, говорит простец: «Вот и я тоже так думал всегда».

Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий.

Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков, мудрец их имеет в виду, а решает только частности.

Думать надо обо всем, а писать хорошо можно только о самом простом, чем вся жизнь наполнена, этого простого надо искать и на это простое все думы променять. Жалеть нечего мысли, они сами собой потом скажутся и запрячутся в образы так, что не всякий до них доберется. Кажется, эти образы складываются, уважая и призывая каждый человеческий ум, как большой, так и маленький: большому — так, маленькому — иначе. Если образ правдив, он всем понятен, и тем он и правдив, что для всех.

*

Соломон. Две сватьи судиться пришли. Одна сватья, мать мужа, стояла за сына, другая — за дочь свою. Судья разбирал целый день и не мог.

— Устал, — говорит, — и разобрать не могу, подавайте в другой суд: я не могу. И, скорее всего, никакой судья вас не рассудит, лучше помиритесь.

Сватьи подумали, подумали и помирились.

— Ну вот то-то, — сказал обрадованный судья, — вышло вроде как бы и я недаром работал.

Обе сватьи благодарили судью.

Цветок. Никогда не забуду, как этот разносчик смотрел на девочку. Что-то из короба своего он продал матери и потом девочке протянул конфетку (даром). Девочка взяла и ужасно застыдилась, покраснела, опустила глаза. А торговец, подарив конфетку, глядел на девочку, на ее румянец и ее смущение и с таким глубоким наслаждением, как она ела эту кон-

фетку, что я по гроб жизни не забуду этого чудесного цветка, выросшего на человеческой жалости.

Как писатель я отличаюсь от многих писателей тем, что завоевал себе свободу в отношении к материалам: мне совсем не нужно ни книг, ни быта — все это приходит само собой в помощь чему-то главному.

Быт и книги в моем понимании — это *ответы*, а ценное — это рождающиеся в себе *вопросы*.

...Сознание, что никакая книга, никакой мудрец, никакая среда не прибавит тебе ничего, если внутри тебя не поставлен вопрос; убеждение, что на всяком месте можешь найти ты ответ.

Так мало-помалу я стал вместо библиотеки посещать поле и лес, и оказалось, что там читать можно так же, как и в библиотеке.

*

Мост от поэзии в жизнь — это благоговейный ритм, и отсюда возникает удивление. Но бойся, поэт, делать себе из этого правило и ему подчиняться: ты слушайся только данного тебе музыкального ритма и старайся в согласии с ним расположить свою жизнь.

Взгляните на жизнь бессловесных, прислушайтесь к перекличке журавлей, улетающих в теплые страны: по одному нечленораздельному звуку их вожака вся стая повертывается — какая сила в том звуке, каким он кажется нам прекрасным! Так неужели же мне становиться на колени перед журавлями и просить: «Журавли, раскройте мне тайну своего творчества!»

Зачем спрашивать мне, если и так видно: для вожака звук сам собой родился из необходимости действовать. Зато и знобит от восторга, когда слышишь этот повелительный звук.

*

Не очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к жизни, как будто долго, долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была поэзия, а на том жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался на ту сторону, и там оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия, или, вернее, что, конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь, но поэзию

человеку можно сгустить в жизнь, то есть что сущность поэзии и жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха.

Отсюда вспомнился «Портрет» Гоголя: художник сгустил зло, и оно стало жить. Но ведь так художник может сгустить и добро! Гоголь и это попробовал сделать и не мог.

А я в какой-то, может быть, микроскопической дозе это делаю, это содержится в моем творчестве, и это есть в природе русского человека, в его наивном жизнеощущении, что «добро перемогает зло».

ГЛУБЖЕ ИСКУССТВА

Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту в добро.

*

В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде: может быть бессильная красота (эстетизм), но правда бессильная не бывает.

Были люди сильные и смелые, и великие артисты были, и великие художники, но суть русского человека — не в красоте, не в силе, а в правде. Если же весь даже люд, вся видимость пропитается ложью, то для основного человека культуры это не будет основой, и он знает, что эта ложь есть дело врага и непременно пройдет.

Не в красоте, а только в правде великие художники черпали силу для своих великих произведений, и это наивно-младенческое преклонение перед правдой, бесконечное смирение художника перед величием правды создало в нашей литературе наш реализм; да, в этом и есть сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой.

В добро или во зло было творчество, пойдет созданное на жизнь или на смерть — остается неизвестным до последнего звена в творчестве: нравственного синтеза, образующего поведение. До сих пор наука в отношении нравственного синтеза слова своего не сказала. Но искусство... сколько великих примеров!

*

Делай правильно — и красота сама придет.

Красота избегает тех, кто за ней гоняется: человек любит свое что-нибудь, трудится, и из-за любви, бывает, появится красота. Она вырастает даром, как рожь или как счастье. Мы не можем сделать красоту, а посеять и удобрить землю для этого мы можем.

Некоторые думают, будто можно делать силой красоту: невозможно, как нельзя «сделать» живого человека.

Красота на добро и не смотрит, но люди от нее делаются добрее.

Красота не всегда бывает добрая, но добро без красоты — это скорее всего и есть именно зло.

*

Смотрю на лесную дорожку, любуюсь, как зеленая щетка травы скрывает старую листву и заключает ее в себе, как удобрение.

И так во мне самом, в моей душе, как в сосуде, радость вином поднимается, и разливается это мое вино по всему человеку, скрывая в себе всякое зло.

Мать-природа, когда поливала наши огурцы, верно, не думала о том, что завтра на восходе ее водица на листьях блеснет росой и восхитит всех, кто выглянет на свет божий. Она делала просто добро и никак не предусматривала красоту: из ее добра сама собой красота выходила. Да и мы тоже так работаем — красота выходит сама собой, если у нас делается добро.

Не красота спасет мир, а добро. А кто гонится за красотой, тому-то и открывается вид на поле, где бог с дьяволом борется, а ты себя чувствуешь, как корреспондент газетный на поле сражения.

Так что ты думай просто о добре, и если ты поэт, то природа откроет тебе красоту в своем материнском прикосновении к тварям, потому что поэзия и есть материнское прикосновение.

Писать нужно так, чтобы забывался весь труд мастерства, чем больше забудешься, тем выйдет *очаровательней* (то есть и читатель забудется); а самое уже

лучшее пишется так, чтобы и сама красота мира забылась, тайно присутствуя, и всему душа — красота бы исчезла из сознания, как и мастерство, и все произведение писалось бы только из побуждения любви к людям и миру.

Добро — это цветок, выросший на удобрении.

Добро, любовь, красота не составляют в душе человека особой области, а венчают путь каждого из нас, если мы шли правильно.

Стал зарисовывать в лесу и удивился себе, зачем я столько лет таскал за собой фотоаппарат. Но, подумав о слове своем, понял, что, может быть, и слово мое тоже переходное искусство, и как-то можно легче и лучше выразить то, что я хочу выразить своим тяжелым искусством.

И может быть, всякое искусство является только ступенькой по лестнице: за верхней ступенькой искусство вовсе не нужно.

*

...Если бы все написанное мною значило для всех, как написанное Толстым, то все равно это не было бы тем ответом на какой-то великий вопрос, таящийся в душе каждого мыслящего, на который должно ответить живое существо.

Пишу оттого, что не могу удержать в голове и сложить, соединяя, проходящие отблески жизни какой-то единой, большой. С пером в руке, как с костылем...

Сложив все удачное, мне кажется, я могу ощущать свою долю мира, отданного мною на пользу людей.

Не это ли только одно и остается потом от писателя? Но что это Шекспир? Тоже мир душевный или игра?

Боже мой, ничего я не знаю и всем осеняюсь...

Когда я из тепла выхожу ночью в засыпанный снегом лес, слышу, как даже деревья громко трескаются от мороза, как на тропу мою со скрипом от тяжести спускает свою перегруженную ветвь любимая моя сосна, я, так мало сумевший дать людям из своих внутрен-

них богатств, теперь смотрю на все эти богатства неподвижных при луне белых фигур и понимаю их всех, как мои же мечты за всю жизнь бесчисленные, те, которые я не сумел довести до людей.

Были на свете и Лютер, и Толстой, и Шекспир, и Гёте, и мало ли кто! И все они всю свою жизнь по внутренней необходимости, как лошади за молотильными водилами, ходили по кругу за своей мыслью-водилом.

Это были великие люди, а я — какой я великий! А тоже за тем же водилом иду и знаю хорошо, что только за то и называют меня большим писателем, что я за тем же большим водилом иду.

Красота светит всем, но, не каждому: не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает — не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает. Русская литература, конечно, в красоте вырастает, как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни вне красоты. Что это? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи.

1921 год. Что такое идея? Идея — это усиление человеческой воли. Исключительное внимание на чем-нибудь ограничивает натуру, дает стремление вперед и — крик. Это атака с криком.

Что остается делать после неудачных атак? Остается прислушаться к голосу природы и делать то же самое дело в стыдливом молчании.

Вот откуда выходят и Руссо, и Толстой, и славянофилы.

Крупные русские писатели не пером пишут, а плугом пашут по бумаге, пробивая ее, вывертывая на белом черную землю. Вот почему легкое писание, беллетристика, русскому кажется пошлостью, и русский писатель кончал свой путь непременно той или другой формой учительства и объявлял дело своей прошлой жизни «художественной болтовней».

И если иные и не кончают учительством, а остаются художниками до конца, то это художество не совсем свободно, в нем какой-то безумный загад смотреть и радоваться солнышку, когда голова будет от-

рублена. Не знаю, кого бы назвать из таких писателей?

Вероятно, если ничего не переменится, я сам буду такой...

И Толстой, и Гоголь, и Байрон, и, наверно, многие другие гениальные люди к концу жизни относились к своему творчеству, как не к самому главному делу своей жизни. Для всех них творчество было боевым путем к новому рождению в новой материи, к преодолению смерти. Этот порыв к вечности, преодолевающей наше обычное чувство времени, и является тем, что мы называем искусством.

*

Истинное художественное творчество должно знать свое место и не становиться на место действия самой жизни, не становиться тем, что делает одна религия (дело жизни, как у Ницше, Гоголя, Толстого). Дело совершенно безнадежное для художника ставить на разрешение проблемы морально-общественного характера, потому что все они разрешаются только жизнью, а жизнь есть некая тайна, стоящая в иной плоскости, чем искусство.

Художник должен быть скромен, потому что свет его, как лунный, только исходит от солнца, но сам он — не солнце.

Сознание, что делаешь *свое* дело, — вот счастье и награда художника, и это есть добро, а не свое дело — несчастье, зло.

Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит оттого, что посредством художества кажется нельзя сказать «*всего*». Вот в этом и ошибка, потому что «всего» сказать невозможно никакими средствами, и если бы кто-нибудь сумел сказать «все», то жизнь человека на земле бы *окончилась*...

Претензия на учительство — это склероз великого искусства. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь, то есть что другой непременно придет,

и если ты не докончишь свою мысль, то он докончит, и все тебе дорогое объявится в другом.

Этого чувства обыкновенно не хватает людям, и, держась за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры.

Вот источник претензии на учительство у художника.

*

Получил письмо, в котором называют меня очень добрым человеком, пытающимся все примирить. Интересно, что этот упрек в «доброте» исходит из того же источника, что и у тех, кто упрекает меня в «бесчеловечности». На самом деле я не так-то «добр» и не так-то бесчеловечен. Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей вовсе не был оскорблен, или преодолел свое оскорбление, вызывающее злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам, поместивший с первых шагов занятие свое искусством слова в ту часть своего существа, которая осталась неоскорбленной.

Впрочем, я тогда не думал о себе, мне думалось, что вся поэзия вытекает из этой части человеческого существа, и я взялся за нее, как за якорь личного спасения. Вот отчего в книгах я оптимист и совсем неисправимый... Если бы я ошибался, то, вероятно, давно бы попал в дом умалишенных, но выходит напротив: у меня появляются друзья все больше и больше... Я даже теперь настолько убедился в реальности своего поведения, что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека. «Красота спасет мир», — сказал Достоевский.

Сегодня я думал о своем серьезном занятии тем, что для всех служит забавой, отдыхом, потехой. Останусь ли я для потомства обычным русским чудаком, каким-то веселым отшельником, или это мое до смешного малое дело выведет мысль мою на широкий путь, и я останусь пионером-предтечей нового пути постижения «мира в себе»?

Что, если вдруг окажется, что накопленные чело-

вечеством материалы знания столь велики, что их охватить никакому уму невозможно; что в этих накопленных полубогатствах полуума заключается главная причина нашей современной растерянности, разброда и что людям от всего этого аналитического опыта надо отойти для простейших *синтетических* исследований; что на этом пути и надо ожидать гениального человека, который охватит весь окончательный опыт человечества?..

ТИП И ЛИЧНОСТЬ

На днях я ощутил правду в слове, в этом слове, которым каждый из нас, не думая, делится и обходится с другим. Итак, все счастье, вся красота и добро на земле зависят от нашего любовного внимания к каждому.

В лес вы идете за дровами, за грибами, за ягодами, или только послушать, о чем шепчутся деревья, птицы поют, и поглядеть, как звери выходят на тропы? Вы отвечаете, что идете в лес для него самого; хотите лес понять, каким он есть сам по себе.

А человек — разве это еще не больше, не таинственней леса? Так идите же к человеку тоже не за чем-нибудь, а к нему самому.

*

Быт — затертое понятие, надо его освежить, раскрыв его содержание как культуру личных отношений.

1922 год. О, не мысль мне дорога, нет! Мне дорога стала после многих страданий частица меня самого, тот остаток жизни: десяток, сотня, а может быть, тысяча и не одна грядущих дней, и ночей, и времен года. Я дорожу ими и вижу в них все: и дух, и материю, и народ, и литературу, и своих ребят, — все, точно так же, как в дни голода видел все в куске черного хлеба.

Я обыватель! Я бытую и понимаю свое бытие как культуру личных отношений к людям и вещам. Непременно к вещам, потому что человек, считающий грехом сорить на полу и топтать ногами частицы солнечной энергии, заключенной в крошках хлеба, несомнен-

но, и к людям относится лучше, чем сорящий на пол, небрежный...

Поэтическое чувство исключительно редко выражается в слове. Поэтом можно быть в разных делах. Встречаются нередко люди: он был поэтом в своем деле и не знал этого, но лишь после, когда расстался с любимым делом, вспоминает о нем как поэт. Так что можно жить поэзией, не сочиняя стихов и рассказов.

Русские цари были заняты завоеваниями, расширением границ русской земли. Им некогда было думать о самом человеке. Русская литература взяла на себя это дело: напоминать о человеке. И через это стала великой литературой.

*

Человека встречаешь и спрашиваешь себя, на кого он похож. И только уверившись, что существенное в этом человеке не его подобие с другими, а отличие от всех, начинаешь с интересом узнавать его и понимать в своеобразии. При чем же тут «тип»?

Типы у Гоголя — это издевательство величайшего личника над самым существом типа: человек, становящийся типом, тем самым становится *мертвой душой*. А у Достоевского типичны только второстепенные фигуры, все главные роли никем не повторимы.

В толпе на метро мелькнуло лицо, совершенно знакомое в деталях: губы, борода, щеки, нос, глаза — все это я видел и знал хорошо, но в целом сложенное из столь знакомых частей лицо оказалось лицом незнакомого человека. «Да как же так!» — говорил я себе, всматриваясь больше, больше, уверяясь в том, что как ни знакомо было лицо, но для знакомства чего-то не хватало. Вот это нехватающее в типах людей «что-то» и определяет самую душу человека или его личность. А в «типе» души нет.

*

До последней крайности надо беречься пользоваться философическими понятиями и держаться языка, которым мы перешептываемся обо всем с близким другом, понимая всегда, что этим языком мы можем ска-

зать больше, чем тысячи лет пробовали сказать что-то философы и не сказали.

В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный путь.

Читал эпилог «Войны и мира» и вспоминал, что после чтения всякой философии остается некоторое смущение. Потихоньку от философа спрашиваешь себя: не в том ли цель философии, чтобы простую, ясную мысль, действующую полезно в голове каждого умного человека, вытащить, как пружинку из часов, и показать в бесполезном состоянии? Это можно видеть по «Войне и миру». Автор в эпилоге взял и вытащил всем напоказ пружинку, приводившую в движение художника, и читатель дивится, как могла такая жалкая пружинка приводить в движение такую чудесную жизнь.

Вот к чему и сказал мудрец: бойся философии, то есть бойся думать без участия сердца, и хорошо сказано, что «бойся» — это значит: думать надо, — думай, но бойся.

Если я по природе своей ученый, поэт и философ, а занимаюсь чем-нибудь практическим, просто для своего существования, то куда же девается моя наука, поэзия, философия? Думаю, что они входят в состав того простого, что я делаю и чем каждому из нас жизнь дорога. В этом смысле мы все поэты и философы и все сходимся в этом чем-то. Так вот, бывало, один обращается к другому с такими словами:

— Друг, скажи по правде.

И друг отвечает:

— По правде говорю тебе.

И вот эта правда понимания друг друга и есть наука простого человека, его философия и его поэзия.

Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным. Это до того у нас повсюду у земли, что никто на это счастье не обращает внимания и думает, что так это и надо.

А мне надо было в молодости побыть за границей, на одном немецком языке посидеть несколько лет, чтобы понять и оценить эти соки земли.

Вот идет человек, бригадир стекольного завода.

Прошлый раз впервые он увидел меня на лесной дороге с убитым чернышом. Он порадовался моей удаче, похвалил петуха, спросил, кто я, сказал, кто он, и мы разошлись, и больше ничего между нами не было. И вот он сейчас издали увидал меня, и не может сдержать радостную улыбку, и потом говорит со мной, как будто мы с детства знали друг друга.

...Что взять с нас, простецов... Может случиться, что у многодумных только пустые слова, а у простеца одно словечко, да туго-натуго налитое собственной кровью, и этим словечком решается все дело борьбы в жизни.

Знаю, что все звезды со временем будут открыты, приблизятся к нам и станут не только сказками. Но никогда не откроется для всех ночной час спящего человека.

Шел старик по улице с большим, тяжелым мешком за спиной. Он изредка лишь вскидывал на прохожих глаза, и видно было, что в глазах этих живет ум, только не сейчас: сейчас весь ум этого старика был в мешке.

Он. Дождь и хлопья мокрого снега. Седой старик в лаптях, в юбке из грязных мешков, с корзиной в руке стучит под окном и собирает ради Христа. И как подумаешь только, что «я» у этого нищего такой же единственный и исключительный орган восприятия мира, то есть я хочу сказать, что с его фактической и невольной точки зрения его бытие важнее всего в мире, а я, например, я — М. Пришвин, со своими рассказами, просто даже неведомое существо. Какой там я! — даже сам Пушкин... Ему просто и некогда о нас знать. Итак, этот «он» идет и месит грязь... Он, по всей вероятности, не только не мечтает, как я, о всяких волшебных возможностях, а даже ему жизнь есть тяжелое бремя. И он, если бы не веровал в бога, с наслаждением лег бы под забором в грязь и к завтраму умер. И тем не менее, на одной точке земли он исключает меня, и на каких-то весах мы совершенно равны, — его «я» и мое.

Да, вот он и заворачивает ко мне, он просится в мой дом...

*

Хороших людей гораздо больше, чем нам об этом говорят и чем мы сами об этом думаем тайно: мы боимся это сказать себе вслух, как боимся оставлять неприкрытым для общих глаз свое тело.

Чехов — поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека, ему не хватает героических порывов, подобно Горькому. Но ведь кто из нас не пробовал героический путь! Всем хочется быть героями. Попробуют и останутся ни с чем. Бывало, в юности едешь домой героем: чего-чего о себе не надумаешь и везешь показать домой. А когда приехал, всего-то тебя рассмотрят, и тебе самому станет стыдно за свой надуманный героизм, за свою позу. Среди родных, просто любящих людей ты проверяешь себя и сбрасываешь все лишнее.

Вот Чехов и был у нас таким раздевальщиком «героев», читая Чехова, становится стыдно позировать. Чехов своим искусством давал нам образцы поведения, он был в числе десяти, двенадцати писателей, давших нам русскую литературу на поведение. И это было согласно простому народу, который в наше время верил, что книги не пишутся, а падают с неба.

Вот почему теперь, в наше героическое время, и выдвигают Чехова как великого писателя.

В наше время героических требований к личности Чехов, яркий представитель нашего русского родного дома, каждому претенденту на героя может служить проверкой: действительно ли ты цвет или пустоцвет.

Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву и после морозов до снежных метелей стоят зеленые. Они чудесны.

Так и люди есть — перенесли все на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше. Есть такие люди...

Простота жизни и мыслящее затишье с готовностью внимания ко всякому проходящему — вот я бы чего хотел сейчас для себя. И мне думается, к этому скоро прибегнут многие.

Есть красота, и есть служение красоте, и есть потребительское отношение к красоте: эстетизм. И очень похожий на эстетизм есть оптимизм, как, тоже вовсе не оправдываемая личным творчеством добра, вера в то, что все в мире идет к лучшему.

Бывают, однако, бедняки, жизнь которых — вечный подневольный труд, вечное бремя на службе, в семье. И вот если и они объявляют, что все в мире идет к лучшему, — им можно верить: единственно они могут быть подлинными оптимистами.

Разочарование в «счастье» происходит потому, что множество людей свои творческие возможности топит в привязанности к людям и так обманывается. Таким образом, большинство людей — это пленники «счастья», вначале фанатики, потом мизантропы.

Те немногие хорошие люди удивительны тем, что встречают тебя впервые, как будто давным-давно знали тебя как хорошего близкого человека.

Они видят общее всем людям присущее в них доброе начало и посредством особого свойственного им родственного внимания мгновенно как бы *создают* из тебя человека, и ты делаешься хорош сам по себе.

Они смотрят куда-то выше, но не мимо частностей, и тем увлекают с собой.

Поэт не свободен в своей поэзии — его держит жизнь, он не свободен и в жизни — его держит поэзия.

...Из всего этого возникает вопрос: обязательно ли для жизни и творчества страдание личное, трагедия, или же эту трагедию, признавая как чисто личный путь, необязательный для других, надо таить в себе, как некоторые певцы и танцоры веселят людей, скрывая смертельную болезнь?

К людям приходить надо с ценностями сверхличными, то есть сделай и покажи: пусть Реомюр станет реомюром. Такой подвиг есть необходимость в деле ученого и почему-то величайшая редкость у художника.

МЫ С ТОБОЙ

— Люди живут не по сказкам, но непременно, если, пережив, оглянуться на прошлое, то покажется, будто

жизнь складывалась сказкой. Вот я свою сказку уже начинаю замечать.

— Но зачем это тебе нужно?

— Я не знаю зачем: это чувство себя самого, моя жизнь.

— Твоя личная жизнь, но кому это интересно?

— Это интересно всем, потому что из нас самих состоят «все». А ты как, разве не через себя самого узнаешь людей, общество?

Но зачем все о себе и себе... неопытному человеку может показаться, будто я действительно о себе это пишу, о себе, какой есть, — нет, нет! это «я» мое — часть великого мирового «Я», оно может свободно превращаться в того или другого человека, облекаться той или иной плотью.

...Я существую, да я словом своим по силам своим жизнь изменяю, творю, значит, я существую. И вместе с этим все больше и больше овладевает мною мысль о каком-то хорошем месте моем в будущем сознании людей.

Когда это будет, и где, и как — я не могу сказать, но в том я уверен, что место свое найду, и эта вера моя есть требование моего человеческого смысла.

Видел когда-то и Рублева и Рафаэля, и ничего не понимал, а теперь сижу в глуши, ничего не вижу и все понимаю.

И я такой, рассчитанный на долгую жизнь, а другой (Лермонтов) рожден, чтобы вспыхнуть сразу весь. Как бы вам хотелось родиться, на долгую или на короткую жизнь? Хотите сразу сгореть, как Лермонтов, или жить, как я, долго-долго под хмурыми тучами и с каждым годом чувствовать, что тучи мало-помалу расходятся и вот-вот покажется солнце?..

*

Есть мысли, которые можно вызывать, а есть, которые сами приходят. Вот когда мысль приходит сама, человек теряется, как будто это волна пришла и за первой волной — целое море.

Тогда чувствуешь, что рядом с тобой плечо о плечо идет другой человек, и он тоже с тобой все пони-

мает и все разделяет. И ты, чувствуя, что ты не один, а двое сходятся в одной мысли, укрепляешься в ней и начинаешь верить себе.

И так создается действительность.

...В этом и есть очарование творчества: кажется, будто ты не один делал, а кто-то тебе помогал.

Настоящее писательство, впрочем, всегда вне себя, и всегда не от «я», а от «мы» («Мы с тобой»).

Искусство — это радостная способность избавляться от себя на какое-то время.

Чувствую, конечно, только через «я», но у меня есть вера, что ты где-нибудь существуешь, понимаешь меня, и я со своей поэзией, как по мосту, перехожу к тебе, подаю свою руку, передаю себя тебе в продолжение.

Реальная жизнь общества состоит во взаимодействии «я» и «ты».

Ты голоден — я тебя накормлю, ты одинок, я тебя полюблю — вот действительные реальные основы общественности.

*

Есть вещи и явления, названные кем-то и когда-то и потерявшие в движении времени смысл своего имени. И вот весь труд писателя, бывает, сводится к борьбе за настоящее имя тому, что все знают и называют именем, потерявшим всякий современный смысл.

В таком-то значении я и требую от настоящего писателя, чтобы он был современным, а из имен, требующих раскрытия в отношении современности, это прежде всех слов — *любовь*.

Тайну творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из нас влюблен, то, бывало, и все люди на свете хороши. Так и в творчестве есть мысль — не мысль, а что-то единое сердца, ума и воли.

Если ты нашел в глубине себя мысль, то везде она, эта мысль: смотри в лес — и там листики и птички посвоему о ней говорят, смотри на большую улицу — и люди шепчут между собой о том же, и даже если усердно будешь смотреть в телескоп, то и там, и везде, и во всем как в тебе.

Сущность творчества, его самый глубокий секрет в том, чтобы находить в себе и для всех эту мысль.

Да, так и можно сказать, что всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких людей. Часто эти близкие живут на таких отдаленных окраинах места и времени, что без помощи книги, картины или звука никогда бы не могли друг друга узнать.

Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому.

Нам почему-то кажется, если это птицы, то они много летают, если это лани или тигры, то непрерывно бегают, прыгают. На самом деле птицы больше сидят, чем летают, тигры очень ленивые, лани пасутся и только шевелят губами.

Так и люди тоже. Мы думаем, что жизнь людей наполняется любовью, а когда спросим себя и других — кто сколько любил, и оказывается — вот так мало! Вот как мы тоже ленивы!

Когда теплый луч нагреет кору и на белую бересту сядет большая сонная черная муха и полетит дальше;

когда надутые почки создадут такую шоколадного цвета густоту кроны, что птица сядет и скроется;

когда в густоте коричневой на тонких веточках изредка некоторые почки раскроются, как удивленные птички с зелеными крылышками;

когда появится сережка, как вилочка о двух и о трех рожках;

когда вдруг в хороший день сережки станут золотыми, и вся береза стоит золотая, и когда, наконец, пойдешь в березовую рощу, и тебя обнимет всего зеленая прозрачная сень...

— тогда по жизни одной любимой березки поймешь жизнь всей весны и всего человека в его первой любви, определяющей всю его жизнь.

*

Было во время дождя: катились навстречу друг другу по телеграфной проволоке две капли. Они бы встретились и одной большой каплей упали на зем-

лю, но какая-то птица, пролетая, задела проволоку, и капли упали на землю до встречи друг с другом.

Вот и все о каплях, и их судьба для нас исчезает в сырой земле. Но по себе мы, люди, знаем, что нарушенное движение двух навстречу друг другу и там, в этой темной земле, продолжается.

И так много волнующих книг написано о возможности встречи двух стремящихся одно к другому существ, что довольно бегущих по проволоке двух дождевых капель, чтобы заняться новой возможностью встреч в судьбе человеческой.

Сегодня, друг мой, в Москве на Тверской я увидел, как два пожилых гражданина встретились и вдруг узнали один другого, наверно, не встречаясь полвека, один воскликнул: «Сережа!», другой: «Миша!» — и обнялись.

Я завидовал им: «Вот наговорятся-то!..»

Вот и я так думаю иногда о себе: и мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца...

Такой я не один, и, значит, лирика моя в романе имеет всемирное значение жажды затерянного человека найти родную душу для встречи.

Неведомый друг! как глубоко он скрывается, как невозможно трудна наша встреча! Писать именно и надо об этом...

Кончились люди. Луна. Звезды. Огромные деревья. И я, томящийся по другу, которому надо о всем этом сказать.

О, как опошлено французское «ищите женщину»! А между тем это истина. Все музы опошлены, но священный огонь продолжает гореть и в наше время, как горел он с незапамятных времен истории человека на земле. Вот и мое писательство все от начала до конца есть робкая, очень стыдливая песнь какого-то существа, поющего в весеннем хоре природы единственное слово: «Приди!»

Мутный едет Дон-Кихот на коне за своей прекрасной дамой, он стар, и никогда ему к ней не доехать.

Прыгает от женщины к женщине Дон-Жуан, прекрасный тем, что он то умирает, то воскресает, не-

устанно стремясь к погибели и презирая ее... Прекрасная дама и ему не достанется.

Но прекрасная дама приходит неузнанной, не ведомой никому подругой в таинственной чудесной жизни.

ФАЦЕЛИЯ

Давным-давно это было, но быльем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое «чеховское» время мы, два агронома, люди между собой почти незнакомые, ехали в тележке в старый Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там, мне думалось, в этой медоносной синей траве, теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарахтенья тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния и, только чтобы послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь.

Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым заветренным простонародным лицом наблюдал меня и разглядывал с удивлением.

— Зачем мы остановились? — спросил он.

— Да вот, — ответил я, — пчел мне захотелось послушать.

Агроном тронул лошадь. Теперь я, в свою очередь, вгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него, еще — и понял, что этот до крайности практичный человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня роскошную силу цветов этой фацелии.

Его молчание мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение

к природе, быть может, просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает поэтом.

Чтобы окончательно вернуть этого тучного красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому времени очень серьезный практический вопрос.

— По-моему, — сказал я, — без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня.

— А была ли у вас, — спросил он, — когда-нибудь своя Фацелия?

— Как так? — изумился я.

— Ну да, — повторил он, — была ли она?

Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе...

— И приходила? — продолжал он свой допрос.

— Да, приходила...

— Куда же делась-то?

Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел, в смысле: нет ее, исчезла. Потом, подумав, сказал о фацелии:

— Как будто ночевали синие птицы и оставили свои синие перья.

Он помолчал, глубоко вгляделся в меня и заключил по-своему:

— Ну, значит, больше она уже не придет.

И, оглядев синее поле фацелии, сказал:

— От синей птицы этой лежат только синие перышки.

Мне показалось, будто он силился, силился и, наконец, завалил над моей могилой плиту: я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и *она никогда* не придет.

Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутоватые, залитые жиром глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подъехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки, и мы поехали по-прежнему.

Через некоторое время я решился опять высказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную

мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян ввести в севооборот клевер.

— А ночки-то были? — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова.

— Конечно, были, — ответил я, как настоящий мужчина.

Он опять задумался и — такой мучитель! — опять спросил:

— Что же, одна только ночка была?

Мне надоело, я чуть-чуть рассердился, овладел собой и на вопрос, одна или две, ответил словами Пушкина:

— «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи».

На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят, вот и там, и там... И все это нам, людям, не просто почки, а мгновения: пропустим — не вернутся. И только из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди, осмелеет, протянет руку и успеет схватить.

Ночью мысль какая-то неясная была в душе, я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал.

Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звездами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась — нет! И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что не виновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него темными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я и видел эту реку, что под темными тучами не могла перекликаться со всеми, но все равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала. А в темноте под тучами рыба, чуя тепло в природе, плескалась гораздо сильней и громче вчерашнего, когда звезды сияли и сильно морозило.

Какое чудесное утро: и роса, и грибы, и птицы... Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, тре-

петная осина шепчет: «Нет опоры в поэзии: роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах... Нет опоры...» И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями.

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла. Она любила меня, но ей казалось, этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск, и ничего: по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу.

А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно, чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы как я: попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

Дочь Фацелии. Я потерял ее вовсе из виду, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее

черты, что не мог бы по лицу узнать ее. И только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, это я бы, конечно, узнал.

И случилось однажды: я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая, из тех, у кого были только крупные деньги: в кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять пять рублей: ей нужно было всего лишь два рубля. У меня было мелких только два рубля, и я охотно предложил взять от меня эти два рубля...

Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство ложного стыда и хотела стать выше условных мелочей. К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые две северные звездочки, как у Фацелии. В одно мгновение это я успел через глаза заглянуть внутрь ее души и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь «ее»...

Но денег от меня после такого заглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей, незнакомой, подарить.

Подумаешь, деньги-то какие, всего два рубля! Я протянул руку с деньгами.

— Нет! — сказала она. — Так взять я от вас не могу.

А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было, я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще...

Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил:

— Возьмите же...

— Нет! — повторила она.

И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась тою самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала:

— Мы сделаем так: вы у меня возьмете пять рублей и мне дадите два. Хотите?

С восторгом я взял у нее пять рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила.

Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она утешала старого хозяина и утешает меня, вовсе и не думая ничего о нас! Я смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я вместе с ней процвету.

Горе, скопляясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости.

Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмешь одну почку, разогрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным запахом черемухи: вспоминаешь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими, черно-лаковыми, и ел их горстями прямо с косточками, и почему-то от этого никогда ничего, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый, и такая тишина, что ждешь чего-то напряженно: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло: кажется, начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются, осинка молодая стала на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу, черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками. И так, если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся, а у них аромат: сейчас каждая порода окружена своим ароматом.

Когда начало темнеть, стали в темноте исчезать почки, но капли на них светились, и даже когда ничего нельзя было понять в темной тесноте кустарников, капли светились, одни только капли да небо: капли брали у неба свой свет и светили нам в темном лесу.

Мне казалось, будто я весь собрался в одну смолистую почку и хочу раскрыться навстречу единственному неведомому другу, такому прекрасному, что при одном только ожидании его все преграды движению моему рассыпаются ничтожною пылью.

Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с ка-

ким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: «А ну-ка, попробую, что будет?» — куркукнула.

— Раз! — сказал я, по старой привычке загадывая, сколько лет еще остается мне жить.

— Два!

И только она выговорила свое «ку» из третьего раза, и только собрался я сказать свое «три»...

— Кук! — выговорила она и улетела.

Свое три я так и не сказал. Маловато вышло мне жить, но это не обидно, я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг «кук»... Все кончится!

Так стоит ли собираться?

«Не стоит!» — подумал я.

Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».

Солнышко на восходе показалось и мягко закрылось, пошел дождь, такой теплый и живительный для растения, как нам любовь.

Да, этот теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, так нежно касается коры, прямо тут же под каплями изменяющей цвет, что чувствуешь: эта теплая небесная вода для растений то же самое, что для нас любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода — любовь — внизу обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви — воды — рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь — любовь — продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой самой любви, от которой оно повалилось, теперь раскрываются почки и пахнут смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все, цвести и давать жизнь другим...

Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям — вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас бывает земная любовь и небесная...

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада, — сказал я, — надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

Цветут сначала ландыши, потом шиповник: всему есть свое время цвести. Но бывает, целый месяц пройдет с тех пор, как отцветут ландыши, а где-нибудь в самой черной лесной глуши цветет себе один и благоухает. И так очень редко, но бывает и с человеком. Бывает, где-то в затишье, в тени жизненной незнаемый человек; о нем думают: «отжил» — и мимо пройдут. А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветет.

Радость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «любит — не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не любит, любит только себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать».

Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением ра-

достью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое «люблю».

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит, «люблю»?

— Это значит, — сказал он, — что если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь, как осел...

И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают...

— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть как все хорошие люди.

ЛЮБОВЬ

В «Фацелии» намечена, но не совсем раскрыта тема первенства жизни перед искусством: я говорю о жизни, преображенной деятельностью человека, такой совершенной, что искусство является перед ней только средством, пройденным путем (как ожидание друга и самый друг).

Искусство рождается в бездомье. Я писал письма и повести, адресованные к далекому неведомому другу, но, когда друг пришел, искусство мое уступило жизни. Я говорю, конечно, не о домашнем уюте, а о жизни, которая значит больше искусства.

— Есть ли такая жизнь?

— А как же? Если бы не было такой жизни, то откуда бы взяться и самому искусству?

Когда встретилось мое небывалое с ее небывалым, то получилось как в алгебре, когда при умножении минуса на минус почему-то получается плюс. Этот наш плюс и есть та реальность, которой живут «все хорошие люди».

Вот где корень «Фацелии» — стремление к любви как у всех.

*

«Сущность жизни, — сказала она, — есть любовь, а борьба только средство: борьба за любовь. Но пусть останется так: на первом месте в словесном выражении будет стоять борьба, а в невыразимом молчании будет любовь».

Если душа болит, разве же не ясно, как быть? Надо положить душу свою за друга — и будешь здоров.

Принесли спелую ягоду земляники и с полностью сохранившимся под ягодой белым венчиком цветка: и плод и цвет вместе. Рядом с этой спелой ягодой на другой веточке была другая совсем еще зелененькая ягодка и тоже с белым цветком.

Мы все осмотрели удивительное явление природы и все, плохо зная ботанику, не знали, что и сказать.

— Значит, природа такая, — сказал простой человек, — и плод поспевает, и цвет остается.

А подруга моя указала на меня:

— Вот это он!

...Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя...

Ночью думал о двух любвях. Одна как у животных: получил и отпихнул ногой или швырнул, как Стенька швырнул в Волгу свою княжну, как огромное большинство мужчин, не исключая самого Льва Толстого, представляют себе любовь к женщине.

И другая любовь, в которой приходит свое утверждение никому не ведомым каким-то прекрасным чертам любимого человека, любовь как признание, как выход одинокому в «люди».

Мы измеряем любовь [людей] по делам их, направленным к счастью нового человека.

В таком понимании любовь называется браком. Скорее всего творчество определяется таким же гармоническим соотношением мужских и женских элементов души человека, как и в браке, и рождением долговременных произведений искусства, и их влиянием на потомство.

Поэтическое дарование имеет судьбу ту же самую, что и любовь: всеобщее дарование. И любовь иных приводит к браку и рождению детей чудесных, и та же любовь является беспутством.

Так и поэзия приводит к браку личности с обществом или только к беспутству.

Любовь — это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем.

Как любовь у животных — и что мы сделали с этой любовью, так и простые полевые цветы — и над чем потрудился, постарался человек! Вся эта наша сложная любовь, как она представлена в романах, там, если вникнуть, записана она тоже в цветах.

Может быть, не разумом, главное, отличается человек от животного, а стыдом... Вот именно с тех пор, как человек почувствовал стыд, русло реки природы сместилось и осталось в старице; человек в своем движении вырыл новое русло и потек, все прибывая, а природа течет по старице, все убывая. На свои берега человек сам переносит и устраивает по-своему все, что когда-то он взял у старой природы.

Сад цветет, и каждый нагружается в нем ароматом. Так и человек бывает как цветущий сад: любит все, и каждый в его любовь входит.

Начало любви—во внимании, потом в избрании, потом в достижении, потому что любовь без дела мертва.

Но мне кажется, любовь, вытекающая из цветущего сада, как ручей, — ручей любви, претерпев необходимые испытания, должен прийти в океан, который так же, как и сад цветущий, существует и для всех, и для каждого.

*

Нет нам, людям, в природе дороже и ближе примера весной, когда слышно, как лопаются набухшие почки. Тогда мы думаем о себе: «Мы-то, люди, каждый в отдельности, разве не похожи на почку в то время, как она вздувается, — эту чешуйку, заключающую в себе будущее дерево? Разве не чувствуем мы ее в себе, как отделяющее нас тело от всего великого мира природы?»

Чувством собственного разделено наше тело от мира природы, и мы стремимся так закрепить его, всю жизнь мы тратим на то, чтобы наша почка не лопнула. Но как ни бьются люди над собой, чтобы заморить заключенную в себе жизнь, приходит весна, почки лопаются, зеленое содержимое выходит на свет, и мы же, заскорузлые собственники заключенной природы, называемой телом, приходим в восторг и это великое чувство свободной жизни называем любовью.

ДВИЖЕНИЕ ЛЮБВИ

Сомневаться в глубине себя надо во всем, не говоря уже о достоинствах любимого человека.

Ежедневно я борюсь в себе с твоими недостатками, отбрасывая их как несущественное, и очищаю от них твою душу, которую вижу.

Точно так же и природа: мое чувство природы опирается на дело, я пишу — это все равно что возделываю сад, и у меня вырастают деревья, и плоды их достаются не мне.

И я это именно счастьем своим считаю, что плоды моего сада всем достаются, и эту творческую силу я называю любовью.

*

Гигиена любви состоит в том, чтобы не смотреть на друга никогда со стороны и никогда не судить о нем вместе с кем-то другим.

Если думать о ней, глядя ей прямо в лицо, а не как-нибудь со стороны или «по поводу», то поэзия ко мне прямо ручьем бежит. Тогда кажется, будто любовь и поэзия — два названия одного и того же источника.

Но это не совсем верно: поэзия не может заменить всю любовь и только вытекает из нее, как из озера.

Я будто живую воду достаю из глубокого колодца ее души, и от этого в лице я нахожу, открываю какое-то соответствие этой глубине.

От этого тоже лицо ее в моих глазах вечно меняется, вечно волнуется, как отраженная в глубокой воде звезда.

*

Бывает, я заблужусь в своих чувствах и начинаю открывать у нее несовершенства. Но вдруг она покажется сама в своей правде, и все мое неверное рассеивается, как сон: она как бы поражает меня в моей слабости.

Посмотрит на тебя, улыбнется и всего осветит так ярко, что деться лукавому некуда, и все лукавое уползает за спину, и ты лицом к лицу стоишь избавленный, могучий, ясный.

И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось, я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет и вся душа моя как глубокой осенью разоренная земля: скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, и по снежку — следы кошек.

Сила молчанья. Всю ночь мы проспорили. Утром в лесу спор зашел до того, что я стал защищать художество, как создание лучшей реальности. И так пошло́: я защищал художника — она нападала на человека.

Так в споре мы подошли к реке. Тут на берегу стояла старая седая кобыла, возле нее на траве валялись два гнедых жеребенка, ее дети: годовалый и новорожденный. Мы видели, как кобыла, наклонясь, коснулась губами своего жеребенка.

Так в молчанье у лошадей совершилось то самое, о чем люди говорили и не могли договориться всю ночь и все утро... Молчанье при достижении полноты.

Неоскорбляемое место. В основе любви есть неоскорбляемое место полной уверенности и бесстрашия. Если случится в этом с моей стороны посягательство, то у меня есть средство борьбы против себя: я отдаю всего себя в полное распоряжение друга

и через это узнаю, в чем я прав, в чем виноват. Если же увижу, что друг мой посягнул на святыню мою, я проверю его, как себя.

И если случится самое страшное и последнее: друг мой станет равнодушным к тому, чем я горю, то я возьму палку свою дорожную и выйду из дома, и святыня моя останется все равно нетронутой.

Движение любви. Возможно, что для других она вовсе не такая, какой я ее знаю. И я совсем не такой, каким меня она любит. Мы, конечно, вкладываем друг в друга каждый свой идеал. Впрочем, так и все начинают любить — с идеального плана.

У большинства в дальнейшем это любовное строительство не сходится с планом: назади остается идеал, называемый поэтическим, впереди «проза» с большей или меньшей надеждой на детей, что, может быть, дети возьмутся строить тот идеал.

*

Происхождение искусства (разговор).

— Почему мы с тобой при встрече с другими людьми непременно играем, изображаем себя?

— Но, может быть, и все так? Назови кого-нибудь, кто с людьми остается всегда таким, каким он бывает с собой...

— Но ведь хорошего в этом мало, чтобы показаться именно таким, какой он есть, что, правда, в этом хорошего? Мы же, вероятно, собой недовольны и хотим сделать из себя нечто более интересное, чем мы есть, стать выше себя. Ты как думаешь?

— Я думаю, что, может быть, это происходит и от страха оказаться при людях в голом виде, от сознания *невозможности* перед всеми раскрыть свою личность...

— Но ведь это и есть глубочайшая причина, почему мы все играем и даем легенду вместо самих нас. В этой невозможности раскрыть перед всеми свою личность, может быть, и таится происхождение всего нашего искусства.

*

Воображаемый конец романа. Они были так обязаны друг другу, так обрадовались своей встрече, что старались отдать все хранимое в душе богатство свое как бы в каком-то соревновании; ты дал,

а я больше, и опять то же с другой стороны, и до тех пор, пока ни у того, ни у другого из своих запасов ничего не осталось. В таких случаях люди, отдавшие все свое другому, считают этого другого своей собственностью и этим друг друга мучат всю оставшуюся жизнь.

Но эти двое, прекрасные и свободные люди, узнав однажды, что отдали друг другу все, и больше меняться им нечем, и выше расти в этом обмене им некуда, обнялись, крепко расцеловались и без слез и без слов разошлись.

Будьте же благословенны, прекрасные люди!

УТВЕРЖДЕНИЕ

Сегодня мы пришли в бор, я положил голову свою ей на колени и уснул. А когда проснулся, то она сидела в той же позе, когда я засыпал, глядела на меня, и я узнал в этих глазах не жену, а мать.

Сегодня мне стало вдруг очень понятно, это существо — больше моего охвата, и больше всего, и лучше всего, мне известного, это существо — мать.

Когда вопросы жизни представятся в существе своем, а не в свете обманчивого водительства разума, то спасение остается только в смирении; всмотрись и увидишь: все лучшее в жизни и одна опора — материнская грудь. И все это есть в существе того, что мы называем любовью.

То ли самец какой-то, видя что-нибудь страшное, о себе подумал: «Может быть, и мне скоро так придется», — и пожалел соперника своего? То ли самка, потеряв своего ребенка, пожалела чужого? Но скорее всего на путь жалости первая вышла самка, и она влияла на жестокость своего льва, образуя в нем царственное милосердие.

Так начинается в мире природы человек, и мало-помалу он отдаляется от своих предков и начинает сознательную борьбу за любовь.

Да, любовь, конечно, есть единая сила, но дело человека состоит в том, чтобы лишить любовь перехода ее в собственность и порождаемую ею смерть.

Все уже сказано, все сделано, мир любви нам открыт, и каждому из нас в отдельности уже не нужно его открывать. Посмотрите же: мир любви в наших руках, здесь он — в этой минуте настоящего!

Женщина по природе своей жалостлива, и каждый несчастный находит в ней утешение. Все сводится к материнству, из этого источника пьют, а потом бахвалятся: каждую можно взять! Сколько из этого обмана слез пролилось!

— Жалость, мой друг, это молоко, питающее духовную жизнь людей. Но бывает, у женщин скопляется много этого молока. Это бывает во всей природе, я это видел: однажды самка с переполненным выменем вошла в ручей, чтобы освежить горячее бремя своего вымени. Увидав это, с берега приползла к ней змея, обвилась вокруг нее и ртом своим высасывала молоко. Да, мой друг, сколько есть у нас женщин, питающих жалостью своей змей.

— Надо подумать, ведь жалость есть любовь?

— Нет! Жалость содержится в любви, как хитрость в уме, но как нельзя хитрость выдать за ум, так нельзя и жалость назвать любовью.

*

Тема жизни, которую теперь развивает история, это, конечно, освобождение женщины от власти мужчины. Эта власть была основана только на том, что мужчина, как более сильный и способный, работал на стороне, а женщина — дома. Благодаря этому закрепилось у всех сознание, что такое разделение труда, на стороне и дома, соответствует природе вещей. И оно, может быть, и правда соответствует в какой-то мере. Беда выходила только из-за того, что эта «природа вещей» была принята как закон жизни для всех и на все времена. Так создалось рабство женщины и ее тайная порочная власть.

Голод в Ленинграде вскрыл большую выносливость женщин, война взяла себе для уничтожения все преимущества мужчин (мышцы, смелость, широта и т. п.).

Материнство, как сила, создающая мост от настоящего к будущему, осталось единственной движущей си-

лой. Новое время характерно величием материнства, это победа женщины.

Соберитесь в себе до конца в лесной тишине, и тогда, может быть, усмотрите, как, напрягаясь лбом своим белым и мокрым, сыроежка поднимает над собой земляной потолок с мохом, хвоинками, веточками и ягодками брусники. Ждите, вглядывайтесь, и вы непременно, глядя на гриб, вспомните, как у нас, у людей, в тяжкое время, когда гибли герои на полях, на горах, в воде и в воздухе, женщина незаметно для глаза выходила из-под земли и поднимала над собой крышу тюрьмы своей и брала жизнь в свои руки...

*

Женщина знает, что любить — это стоит всей жизни, и оттого боится и бежит. Не стоит догонять ее — так ее не возьмешь: новая женщина цену себе знает.
Если же нужно взять ее, то докажи, что за тебя стоит отдать свою жизнь.

Чем дальше от человека в природу, тем сильнее размножение. Чего стоят рыбы с их икрой, осинки с их пухом! А человек, чем дальше совершенствуется в существе человеческом, тем труднее ему множиться, и, наконец, он рождается в своем идеале.

Когда это еще знал Рафаэль — вон когда! — а я только теперь. И это узнать можно только в редчайшем, труднейшем для мужчин опыте любви.

*

Рождение личности. Материнство — это сила особенная, которую мы, мужчины, по себе непосредственно вовсе не можем узнать и понять. Какая это сила и сколько ее напрасно тратится, можно видеть по такой матери трехсот детей (в детском доме эвакуированных ленинградских детей. — *В. П.*). И сколько же тратится этой великой силы напрасно в обыкновенной семье, и какая это растрата, какая отсталость семьи!

Есть женщины, сознающие это, им тесны рамки семьи, они страшатся семьи, как тюрьмы, и вырываются из оков родового начала, стремясь осуществить свою исключительную силу материнства вне рода.

Из этой способности расширения души внутрь себя до без конца произошли искусство, и знание, и, главное, самое главное, личность человеческая.

Человек растет, конечно, как и все в природе, костями, телом, и в то же время, как бы отступая от жизни роста, спрашивает постоянно сам себя: «Ну что же это со мной произошло?» И, осмыслив происшедшее, надбавляет к жизни роста своего рост мысли: мыслью растет. Но и этот рост еще не совсем человеческий — щенок тоже растет, расширяя рост своего собачьего сознания.

Человек, собственно, начинается там, где в природе останавливается жизнь роста: тут начинается рост духовный, чисто человеческий, и продолжает у достойных расти до последней минуты. И в духе этого человека растут люди после него.

ПОНИМАНИЕ

Любовь — как понимание или как путь к единомыслию. Тут в любви все оттенки понимания, начиная от физического касания, подобного тому, как *понимает* весной на разливе вода землю и от этого остается *пойма*. Когда уходит вода — остается илистая земля, некрасивая сначала, и как быстро понятая водой земля, эта пойма, начинает украшаться, расти и цвести!

Так мы видим ежегодно в природе, как в зеркале, наш собственный человеческий путь понимания, единомыслия и возрождения.

Думал о любви, что она, конечно, одна и, если распадется на чувственную и платоническую, то это как распадается самая жизнь человека на духовную и физическую: и это есть, в сущности, смерть.

*

Та «любовь», о которой пишут Л. Толстой, Розанов и другие, доставая мысль о ней из собственного опыта любви, печальная любовь: эта любовь в доказательство того, что объединение мужчин и женщин на чувстве рода, называемое любовью, недостаточно для современного человека.

П у т ь Ш е к с п и р а. Вчера читал «Ромео» Шекспира и понимал, что Шекспир жил в атмосфере вечного философского хаоса, выходом из которого было его поэтическое творчество. Борьба родовых враждебных сил, законченная трагической любовью, — это и есть та философия рода, о которой пишу я сейчас. Еще удивительно изображение «простого человека» (кормилица), какое-то на все времена *данное*.

Читал — и у меня было то же удивление, как от «Песни Песней»: единство любви плотской и духовной (любовь одна). Впечатление достигается выражением откровенности желаний невиннейшей Джульетты, показывается воистину святая плоть *(вот исток реализма!)*.

*

Думал о царе Соломоне, как о величайшем писателе. Вот, подумал я, написал он для всех нас «Песнь Песней», а сам остался ни с чем, и после великой его песни в мире все стало ему суетой: «Суета сует и все суета».

— А что, великий мудрец, — говорил я Соломону, — нужно ли было тебе эту песнь отдавать людям? Ты отдал в ней все свое лучшее, и после того все вокруг тебя в мире стало суетой. Если бы ты был настоящий мудрец, ты, может быть, сохранил бы себе самому эту свою песнь, и под старость мир не стал бы тебе суетой.

— Конечно, Михаил, — ответил мне Соломон, — ты отчасти и прав: есть вещи, о которых лучше бы помолчать, — так жилось бы себе много покойней. Но есть вещи, о которых необходимо сказать людям, даже предвидя впереди суету для себя. Моя «Песнь Песней» принадлежит к таким вещам, и я должен был ею спасать любовь на земле, обретая себе суету.

*

Чистая красота достигается художником...

Весь женский вопрос уже давно изображен великими художниками. Создавая образ Венеры Милосской, мастер перепробовал все дозы мужского и женского, пока не удалось найти ему чудное гармоническое сочетание: женщина вся осталась, но она действует, а не только отдается. Просветляет, а не затемняет дневное сознание.

Когда люди живут в любви, то не замечают наступления старости, и если даже заметят морщину, то не придают ей значения: не в этом дело. Итак, если б люди любили друг друга, то вовсе бы и не занимались косметикой.

Народный рассказ. Жена позвала Иришу и попросила ее рассказать о Максиме и Дарье.

— Скажи, Ириша, — спросила она, — откуда взялись у вас эти нищие?

— Это наши *штатные* нищие: лет уже тридцать они ходят по нашей округе, побираются, ночуют. Деревень тридцать они обходят, знают дома, где им подают, где не подают.

Так вот было в прошлое лето, идет Дарья одна, разутая, раздетая, и плачет горько.

— Чего ты плачешь?

— Умер Максим, — ответила она.

А наши ее утешают:

— Не горюй, Дарья, тебя все знают, тебе и без Максима подадут.

— Милые мои, — ответила Дарья, — да разве я об этом плачу, о себе? Я о нем плачу, что его нет больше со мной. Бывало, сядем на лужку возле ручья, щепочек наберем, котелок нальем, согреем воду. А Максим кусочки выложит из торбы, корочки себе, а мякиш мне. А когда ночевать где-нибудь на печке, меня положит к стенке, чтоб не упала, а сам на край ляжет. А когда по деревне идем, меня пустит вперед, а сам с палкой сзади отгоняет собак и мальчишек-озорников. По миру ходим — а на душе рай.

Этот рассказ — пример живой русской души.

Новая достоверность. Самое удивительное из наших отношений выходило, что воспитанное неверие мое в реальность любви, поэзии жизни и всего такого, что считается недействительным, а только присущим людям как возрастное переживание, оказалось ложным. На самом деле существует гораздо бо́льшая реальность, чем обычная общая достоверность.

Это уверенность в существовании того, для выражения чего невозможно стало обходиться изношенными условными понятиями, превращающими в пустоту и

обычные произносимые всеми слова о правде, боге, и особенно то, что дается нам в слове «мистика».

Без слов, без мистики, а в действительности: есть нечто на земле драгоценное, из-за чего стоит жить, работать и быть веселым и радостным.

*

Каждый несоблазненный юноша, каждый неразвращенный и не забитый нуждой мужчина содержит в себе свою сказку о любимой женщине, о возможности невозможного счастья.

И когда, бывает, женщина является, то вот и встает вопрос:

— Не она ли это явилась, та, которую я ждал?

Потом следуют ответы чередой:

— Она!

— Как будто она!

— Нет, не она!

А то бывает очень редко, человек, сам не веря себе, говорит:

— Неужели она?

И каждый день, уверяясь днем в поступках и непринужденном общении, восклицает: «Да, это она!»

А ночью, прикасаясь, принимает в себе восторженно-чудодейственный ток жизни и уверяется в явлении чуда: сказка стала действительностью — это она, несомненно она!

Так изредка бывает в жизни осуществление поэзии.

*

Заря и вода. Вечерняя заря спустилась в воду, и кто был на берегу и глядел туда, видел, как она там, в глубине, гасла и засыпала. Утром заря встала и с неба спрашивала воду, и вода отвечала заре: что спросит заря, о том и ответит вода.

Дух спрашивает — материя отвечает, и все вместе, вопрос и ответ, составляет движение человеческого сознания.

Так и все в мире: листик зеленый, свободно покачиваясь на тонкой веточке, спрашивает, корни впиваются, и земля отвечает. И ребенок, хватаясь за грудь матери, спрашивает — и ему отвечает мать. И отец всей нашей жизни — солнце лучами своими спрашивает — и земля раскрывается.

Надо понять человека, чтобы суметь ему подарить. Пониманием любовь начинается и подарком разрешается: он дарит ей, она это дарит всем.

Книга рождается тоже так: от личного к общему, и в поэтических явлениях в деле их рождения женщина участвует так же, как и в физическом рождении.

*

Мы с ней как две птицы, летая, измучились и сели на крест отдохнуть: одна птица села по правую сторону, другая — по левую.

В жизни так можно намучиться, что и крест покажется отдыхом.

Человеку свойственно бежать от креста, как бежит от смерти все живое. И ты, мой друг, тоже, конечно, улепетывай, удирай от смерти, пока есть куда драть, и, отбежав, отдохни и порадуйся, даже попляши или песенку спой. Итак, нечего тебе лезть на рожон, пока души твоей не коснется любовь.

Вот этого, правда, надо ждать, и надо искать, и бороться за это — за любовь.

И когда придет любовь настоящая, то с ней и крест придет легкий и радостный.

*

Поэзия не есть простое воспроизведение действительности, а суд над нею. Вот почему требуется время, чтобы переживание, или впечатление, или так называемая «действительность» стали предметом поэзии: нужно время поэту — судье, чтобы во всем разобраться, одно осудить, другое оправдать, все рассудить и создать достоверность.

ВЫХОД

Как будто отчалили и уже издали смотрим на прежние берега.

Как назвать то радостное чувство, когда кажется, будто изменяется речка, выплывая в океан, — свобода? любовь? Хочется весь мир обнять, и если не все хороши, то глаза встречаются только с теми, кто хорош, и оттого кажется, что все хороши. Редко у кого не быва-

ло такой радости в жизни, но редко кто справился с этим богатством: один промотал его, другой не поверил, а чаще всего быстро нахватал из этого великого богатства, набил себе карманы и потом сел на всю жизнь стеречь свои сокровища, стал их собственником или рабом.

*

Любовь как большая вода: приходит к ней жаждущий, напьется или ведром зачерпнет и унесет в свою меру. А вода бежит дальше.

Нет другой такой силы, закрывающей нам глаза на добро человеческих достижений, как сила привычки. Вот отчего и радуются путешественники: в походе привычки отпадают, как листья от мороза, и голая веточка нашей души образует новую почку впрок до весны. Эта почка и радует нас, как будто жизнь опять начинается.

В борьбе за себя каждый из нас, как шелковичный червяк, опутывается паутинкой, и такие коконы у людей называются привычками. Дело поэта разорвать свой кокон и, вылетев бабочкой, возгласить сидящим в привычках, что время пришло, пора всем вылетать.

*

У каждого из нас есть свое место, и в нем-то каждому из нас надо определиться. Если найдешь его и станешь на него, то и самому будет хорошо, и людям будет так, будто для того ты и стоишь на этом месте и только для них-то все и делаешь.

Есть такое место, где стоит мастер и кует людям железные кольца на ноги, цепи на руки так, что люди радостно их надевают и называют свои кандалы привычками — заменой счастья.

И есть еще одно место, где мастер затем и стоит, чтобы разбивать у людей их привычки-цепи и создавать настоящее счастье.

Как белка орех разгрызает, добывая зерно, так и художник останавливает мгновение и случай превращает в закон.

А разве не то ли самое делает художник любви,

вскрывающий любовь в существе человеческом, закрытом, как в орехе зерно, скорлупой?

— Михаил, будь счастлив тем, что твой ландыш простоял за каким-то листком и вся толпа прошла мимо него. И только под самый конец только одна женщина за тем листиком открыла тебя и не сорвала, а сама наклонилась к тебе.

*

П о п р я м о м у л у ч у. Весеннее солнце пришло, и понятней становится вся ликующая радость земли. Вспомнишь какую-нибудь мелочь: острие первой зеленой травинки, выходящее на поверхность воды, или роскошное семя осины, упавшее в виде гусеницы на сухую былинку, — все такое великое в мельчайших подробностях, — все это узнаешь, и прямо находишь в душе своей, и собираешь, и собираешь...

И вот из всего соберется там на небе солнце, а в себе внутри та, которую ждал всю жизнь. И тут вот бы какой-нибудь маленький мост от солнышка к ней, но этого мостика нет... нет! И в этой беде — весь человек!

Но бывает, и это было со мной: вдруг в душе загорелось, как все загорается жизнью от солнца, все зацвело, и я сказал своей подруге: «Идем!» И она мне ответила: «Идем!» Я взял ее руку, и мы с нею пошли прямо на солнце, не думая ни о каких мостках.

— Брось весеннюю тревогу, ты можешь успокоиться: ты своего достиг, свою весну ты догнал.

— Нет, мой друг, истинная человеческая тревога только тогда и начинается, когда ты догнал весну и достиг своего. Ведь пока ты один, с тебя и спросу нет: ты один, что с тебя взять?

Налог на холостяков... нет, налог должен быть прежде всего на тех двух счастливых, что живут для себя и нет у них третьего, для кого они живут...

Бывает так, ты пишешь что-нибудь, представляя, что это пишется другу. И пусть он, этот друг, приходит к вам. Вы, конечно, не пишете: друг здесь, вы ему все говорите — больше! Вы сговорились, вы и друг ваш —

одно. И что же? Тут бы и кончаться творчеству, а оно не кончается, напротив, соединенные в одно существо, вы вдвоем, как единый человек, опять одинокий, опять ищете другого...

Есть люди, у кого много детей было, и они все хотят их рожать, и еще и еще.. Так мы хотим друга, такого большого, чтобы он обнял собою всю природу, всю жизнь.

Она сказала, что совершенно одна.

— Я тоже, — сказал я.

— Нет, у тебя читатели.

— Хорошо, — ответил я, — если меня не будет, я завещаю тебе моих читателей, и ты не будешь одна.

На этом мы и согласились...

Очень много сейчас встречается любящих пар, но это никого не трогает: это любовь для себя. Значит. мы чем-то встревожены большим, чем любовь друг к другу в семье. Что же это большее и сказал ли о нем кто-нибудь? Я бы ответил:

— Это «что-то» делается, но о нем еще никто не сказал, и мы это «что-то» смутно чувствуем, делая жизнь...

Музыка обещает не оставлять нас по пути к вечности, но когда мы туда соберемся, то ее не слушаем. Да и она сама только проводит нас и вернется.

Только друг настоящий, согласный, несущий на своих руках все, что мы оставляем, может оставаться у нас на глазах до последнего укола.

Зрелость. Только теперь стал видеть себя. Я думаю об этом так, что, пожалуй, нужно очень долго расти вверх, чтобы получить способность видеть себя не в себе, а отдельно на стороне, как будто человек созрел и вышел из себя.

ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ

Мир всегда одинаков и стоит, отвернувшись от нас. Наше счастье — заглянуть миру в лицо.

В детстве, до моей памяти об этом, я постоянно жил в удивлении и созерцании вещей мира, какими они

в действительности существуют, а не как меня потом сбили с этого и представили не так, как оно есть.

Последняя правда, что мир существует таким прекрасным, каким видели его детьми и влюбленными. Все остальное делают болезни и бедность.

Мудрость человека состоит в искусстве пользоваться одной маленькой паузой жизни, на какое-то мгновение надо уметь представить себе, что и без тебя идет та же самая жизнь.

После того, взглянув в такую-то жизнь без себя, надо вернуться к себе и, затаив паузу, делать свое обычное дело в обществе.

— Где же ты был? — спрашивают мудреца. А он чуть-чуть улыбается и ничего не говорит. Он был там, где жизнь течет без его участия, сама по себе.

Да, забыться на мгновение и опять встретить жизнь, какой она была без тебя.

Вечерняя заря разгоралась, солнце освещало уже только верхушки деревьев, внизу быстро темнело, и готовая, полная, еще бледная луна приготовилась сменить солнечный свет.

Вот и погас на самом высоком пальчике самого высокого дерева солнечный луч.

Художник положил кисть.

— Чуть-чуть не кончил, — сказал он.

— Что же вы теперь будете делать? — спросили мы.

— Ничего, — ответил он, — придется ждать солнечного вечера, нужно одно только мгновение.

— Но такое мгновение в природе не повторяется: пришло и ушло.

— Конечно, не повторяется, но приходит подобное, я вспомню неповторимое и его удержу.

— Разве так можно?

— А как же! На что же бы тогда человеку и быть человеком, если бы у него не было памяти о неповторимом мгновении.

Чем краше день, тем настойчивее вызывает и дразнит нас природа: день-то хорош, а ты какой. И все отзываются — кто как.

Счастливей всех в этом художники.

Хорошо бывает забыться в лесу, в поле, на улице и вдруг вернуться к действительности.

Тогда в первый момент кажется, будто застал мир, как он живет без себя.

Но можно думать — это не жизнь врасплох застаешь, а самого себя узнаешь, каков ты есть, когда смотришь на мир своим собственным первым глазом, как первый человек, вступивший на новую землю.

Вот эта способность заставать мир без себя, или чувствовать иногда себя первым на новой земле, вероятно, и есть все, чем обогащает художник культуру.

Среди людей на улице идешь и сосредоточенно думаешь о своем, о себе. И вдруг что-то случится, и увидишь *их*. То же и в лесу: вдруг застанешь жизнь без себя, елки-березки *сами*; и вот это-то «сами» и надо считать высшим моментом творческого созидания.

*

Велика жизнь в существе своем, но мало наше сознание.

Жизнь, как воздух, ничего не стоит, но если ты сумеешь обратить на нее внимание людей, то не ее прославят за ее счастье, а тебя за то, что ты ее сумел показать.

Вот, наверно, отчего и кажется тебе это странным, что ты сам себя презираешь, когда же хватаешься за жизнь и прославляешь ее, то люди прославляют тебя.

Не вдали, а возле себя самого, под самыми твоими руками вся жизнь, и только сам ты слеп, не можешь на это, как на солнце, смотреть, отводишь глаза свои на далекое прекрасное. И ты уходишь туда только затем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни. Можно всю жизнь отдать на пропаганду этой мысли!

Родная земля. Было это в лесу, я глядел на вершину высокого дерева и, наверно, там был сам со своими мыслями очень высоко, где-то у звезд. И вдруг услыхал с большой своей высоты где-то глубоко внизу стук дятла, и мне нравилась эта родная земля, где попрежнему стучат наши родные дятлы...

Вот, наверно, потому мы так и ценим глубокие мысли, что, взлетая высоко, с радостью, как в свой родной дом, возвращаемся на землю. И оттого, наверно, и я, тоскуя на высоте, с такой радостью в глубине где-то услыхал стук нашего дятла.

«Кушай на здоровье!» — говорила мне мать. И, боже мой, как я уплетал и какое божественное здоровье получил я: такое здоровье, что в самой жизни земной нашел жизнь небесную.

Убежден, что человек сам в себе содержит вечность и вся земная жизнь для того существует, чтобы он догадался об этом и сам своими руками построил бы себе на земле лестницу в вечность.

Земной конец небесной лестницы спущен в какой-то бурьян, в крапиву. Тебе дано чувствовать сладость вечности, и тебе просто не хочется возиться в крапиве. Но ты знаешь, что этот личный путь начинается в тесном бурьяне общих интересов...

Есть для личности и другой путь: не ухода из мира по лестнице вечности, а путь возвращения. Спустись же к нам и помоги нам!

Посмотри, сколько примеров у нас на земле: вот к нам звезды спустились — это целое поле цветов; вот лесной ручей поет — это души тех, кто когда-то любил кого-нибудь на земле. Люди косят цветы, и они, прекрасные, падают, не чувствуя боли, и снова появляются для радости всех. А есть птички, туго обделанные разноцветными перышками, такие свободные. Есть у нас на земле и такие денечки, когда капля росы, не высыхающая весь день в пазухе листа, сверкает и радует. Я всегда смотрю на такую капельку с благоговением и знаю: есть люди такие...

И нет ничего в природе такого прекрасного, чего бы не было в самом человеке, — это поле битвы добра и зла, и человек только тем и человек, что борется и через борьбу свою становится победителем.

Та капля росы, с которой на один момент я соединил всего себя и вместе с собой весь мир, как целое, и есть вечность и бессмертие.

Пусть роса высохнет и я «поспею» — это не смерть, потому что и роса и я с ней уже тем самым, что видели бессмертный мир, просто поспели и кончились в целом.

И есть действие в ту сторону: эту вечность можно достигать творчеством.

Положить свои силы на достижение этого прекрасного мира и есть путь к бессмертию, а всякий другой путь есть путь к господству.

*

Наши писания в конце концов могут служить людям сами по себе, как побуждения, и этим нам надо довольствоваться, а не искать догм.

Явление потребности в этих отвлеченных догмах, например, о человеке, о разуме и т. п., словом, чтобы «учить», — вероятно, бывает от утомления живого человека в вечном сердечном движении: хочется закрепить иссякающие родники, остановить, преподнести их людям готовыми, методизировать, механизировать...

Вечер на тяге был глубокий, задумчивый, тихий и очень теплый. Я почувствовал ту большую радость жизни, когда все, кто мучится «здесь» и радуется жизни «там», ясно кажутся перестраховщиками нашей простой земной жизни: им в глубине души так страшно ставить карту своей жизни на «здесь», что они отказываются от «здесь», как постоянного состояния, чтобы надеяться на жизнь «там».

И мне верилось в этот вечер, что, напротив, вот именно и бессмертие, с каким рождается ребенок, и редкое мудрое долголетие, с каким умирает проживший правильно жизнь человек, и все такое прекрасное *здесь* отравляется каким-то обобщением, каким-то логическим процессом мышления и религиозных догадок, обнимаемых общим словом *там*.

*

Хозяин времени. Река в своих берегах. В лесу чуть зеленеют дорожки, везде, как глазки в полумраке вечера, глядят лужицы. В логу клок снега, как зайчик, сидит: это мое сердце бьется, а мне кажется, будто зайчик водит ушами. Все глядят на меня упорно, и я всех чувствую и, мало того! повеет чем-то знакомым, и уже спешишь сказать себе: «Скорей понимай! А то другой раз того уже не будет».

И оттого каждый зеленоватый ствол осины мне пахнет сильно листвой под ногами. То же и белый

зайчик мне говорит: «Гляди, замечай, а то скоро растаю, и больше зайчиков белых ты не увидишь: останутся в лесу одни только серые».

О том же самом поет мне и дрозд на неодетом дереве, в том смысле поет, что ведь это вечность проходит, а мне, человеку живому, надо успеть этой весной от нее захватить побольше себе и с таким богатством в руках выйти к добрым людям хозяином своего времени.

Вот какая великая мысль охватила меня, что время проходит, а я на перекрестке двух просек у лесного столба стою, как хозяин времени, и выбираю из него самое главное, и это остается со мной навсегда...

Но вот послышался знакомый звук от летящего на меня вальдшнепа. Я вскинул ружье, и все лужицы закрыли глаза, все зайчики ускакали, дрозд замолчал, все сундуки с моими загадками и богатствами захлопнулись... Не все же и вправду думать и думать!

Так, наверно, и каждый в творчестве, достигая совершенства, прощается со всеми ступеньками своего достижения и, достигая, в последнем движении отшвыривает от себя всю длинную лестницу мучительного приближения к счастью.

*

Лесной ручей. Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол елки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.

С мелко-широкого плеса вода устремляется в узкую

приглубь, и от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы сжала, а солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травам.

А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость и не жалоба, не отчаяние, вода этих человеческих чувств вовсе не знает, каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и даже если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли добежит...

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом; тут блестящие жучки-вертушки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются, — это перекличка всех приходящих и расходящих струй.

Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, но ручей нашел себе выход под деревом и быстриком, с трепетными тенями бьет и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней, и ходу ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь...

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время. И так длится борьба, и в этой длительности успевает зародиться жизнь и мое сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла и вовсе бы не было жизни-времени...

В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли он попадет в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-самое время, самая-самая жизнь.

Перекликаются струи, напрягаясь у сжатых берегов, выговаривают свое «рано ли, поздно ли». И так весь день и всю ночь журчит это «рано ли, поздно ли». И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без устали будет твердить: «Рано ли, поздно ли мы попадем в океан...»

Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут ее в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит «рано ли, поздно ли», и аромат смолы тополей и березовой почки — все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплому солнцу, и тогда пришла моя желанная минута и остановилась, и последним человеком от земли я первый вошел в цветущий мир.

Ручей мой пришел в океан.

ТВОРЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ

Маленький, я боялся своих лет, и мне казалось, что годы мои идут, а я еще ничего не достиг. Так и было мне до семидесяти лет: вечный упрек. Но после семидесяти мне стали все говорить: «Ах, какой вы молодец!» И я перестал, мне казалось, вовсе бояться убегающих лет. Я думал даже, чем больше мне будет лет, тем чаще будут говорить: «Какой вы молодец».

Но вот случилось, пришла нам помогать пожилая женщина тетя Феня, и мы начали с ней мыть мою машину: она мыла, а я по мытому сушил металл замшей и полировал.

Работал я хорошо, но пот все-таки выступил у меня на лбу, и старуха, наверно, этот пот заметила и спросила меня:

— А сколько вам лет?

Я поглядел на нее и вдруг испугался: я увидел в глазах простого человека всю беспощадность природы; я почувствовал, что тут уж не спастись музыкой души моей, поэзией, и если я старый гусь и не могу рядом с молодым лететь в теплые края, меня заклюют.

Я поглядел в глаза старухи и растерянно, смущенно повторил за ней:

— Вы спрашиваете, сколько мне лет?

— Да, хозяин, — ответила она, — сколько вам лет?

За короткую минуту, однако, я успел подавить в себе противный страх и сказал:

— Сколько лет? Вы сами видите: конь везет.

— Вижу, — ответила она, — конь везет хорошо, а все-таки, сколько лет-то коню?

— Конь везет, — повторил я, — а когда на коне едут, то в зубы ему не глядят.

— Это верно, — согласилась тетя Феня и, раздумчиво вглядевшись в мои годы, написанные на моем лице, закончила наш разговор: — Как все-таки людям жить-то хочется.

Сегодня мысль моя была о страхе смерти, что страх этот проходит, если только оказывается, что умирать приходится с другом своим вместе. Отсюда я заключаю, что смерть есть имя не преодоленному любовью одиночеству и что с одиночеством человек не родится, а постепенно, старея, в борьбе, наживает его, как болезнь. Так чувство одиночества и сопровождающий его страх смерти есть тоже болезнь (эгоизм), излечиваемая только любовью.

*

Жалость вообще есть чувство смерти близкого человека. Животное чувство смерти есть страх, человеческое — жалость.

...Только написал это и только поставил точку, упал портрет ее на моем столе.

— Ничего! — сказал я себе, поднимая портрет. — Я отвергаю в себе с неприязнью потяжку на власть суеверия. Но если бы так и случилось (она раньше ме-

ня), то и в этой тяжкой доле я на какие-то ступеньки стал бы выше, чем где теперь стою.

Сколько раз нужно было дворникам поскрести своими лопатами, пока наконец этот чудесный звук в тишине предрассветного часа не проник в мою душу?

Сколько солнечных лучей пало на землю, пока наконец один не проник в душу человека и зажег в ней любовь?

Сколько умирало людей, один, другой, тысячный, миллионный, пока наконец какой-то следующий так восхотел жить, что заговорил о необходимости человеку добиться бессмертия?

Если я обращаюсь к потоку своей собственной жизни, где я был и меня теперь там нет, и мне там моя собственная жизнь в отношении себя нынешнего представляется внешней, то удивительно мне неразбиваемое единство себя в книгах моих...

...Мы умираем, вступая в сознание единства организма, и жизнь показывается как, например, мастерская, где происходит отделка рабочих частей: жизнь — это наш точильный камень.

Разделение жизни на «здесь» и «там», по-моему, является ядом здоровой нравственности, источником порочного расщепления на дух и материю.

Порочное разделение на жизнь при себе и на жизнь после себя: с чего это началось и как на этом разделении вышел обман, и спекуляция жрецов, и восстание атеистов?

*

Смерти, конечно, все живое боится и бежит от нее. Но когда надо постоять за такое, что больше себя (есть это!), — человек, схваченный смертью, говорит: помирать собирайся — рожь сей! И сеет ее для тех, кто будет после него, и так подает руку другим, и по мостику своего жизнетворчества, как по кладям над смертью, потом перейдет в жизнь будущего.

У человека есть своя человеческая область, где он умирает и возрождается. Эта область — его человеческое творчество, или его собственный путь к бессмертию.

Если бы это знать на каждом месте и во всякое время, то нечего бы было нам бояться смерти. Есть две реальности — одна, что после нас остается, другая — к чему мы стремимся. Умирая, мы оставляем сделанное и недоделанное и остаемся с тем, к чему стремимся.

В этом смысле каждый художник много раз в жизни своей умирает и возрождается: произведение его остается, а другая реальность, стремление, вновь воплощается.

*

Человек семидесяти пяти лет, жизнь его на волоске, а он сажает сирень! И мало того, он не один, и, может быть, не было времени, когда бы так страстно хватались люди за растения: все, кто может, сажают сады.

Это значит, во-первых, что люди живут как бессмертные, презирая свое знание смерти; во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно сад.

*

Хозяин времени есть победитель смерти, которая и составляет сущность всего временного... Каждый художник во все времена был борцом против временного.

Талант не собственность, это похоже на квартиру в Москве: ты можешь ею пользоваться, и без особых причин у тебя ее не возьмут никогда, но продать свою квартиру ты не можешь. Точно так же и талант: настоящий талант не продается.

И сама жизнь человека тоже как и талант: вся в твоем распоряжении, но проданная жизнь — это не жизнь, и покончить с ней тоже не в твоей воле, не собственность она, и ты если покончишь с собой, будет считаться за преступление.

Последняя иллюзия собственности — это моя жизнь: наконец-то я почувствовал, что моя жизнь не есть моя собственность.

...Есть даже некоторая приятность при отпадании естественном всего лишнего. Так и дереву приятно, когда сваливается спелое яблоко, даже заметно, как обрадуется освобожденная веточка. Так и листья отпадают: дерево о них не жалеет.

В *осеннем саду*.

— Падают!

— Милый друг, ты не пугайся, — падают *спелые* яблочки...

Люди умирают не от старости, а от спелости.

Умереть — это значит отдаться до конца, как отдается на дело рождения женщина и через это становится матерью...

А смерть матери — это не смерть, а *успенье*.

Вот передо мной береза: все золото свое осеннее отдала елке, но и раздетая стоит на солнышке не печальная. И чего ей печалиться — она сделала все, для нее предназначенное.

Мы преодолеваем смерть личную, отдавая душу за друзей, и в этом есть назначение смерти.

*

Но люди, как ни мучились, как ни умирали, как ни издевались враги надо всем, что для них было свято люди оставались людьми и рождались с чувством бессмертия... И вдруг явилось это особое чувство, как будто глянул на всего, проходящего в мученьях и смерти человека со стороны и бесстрастно подумал: а как же иначе? Как иначе понять и назвать этот путь к бессмертию, как не Голгофой?

Вот она, Голгофа, перед глазами нашими, и человек спотыкаясь, несет свой крест, не забывая ни на мгновение мысль свою о бессмертии.

Мне вспоминается так далеко теперь от себя то благосостояние свое, когда я пришел к «счастью», основан ному на определенном признаке: нет ничего волнующего...

Как все это умерло, как все это далеко от меня!

Теперь моя радость, мое счастье держится лишь каким-то днем, даже часом. Там, за этим часом-днем, стоит и прямо виднеется враг — это моя смерть, враг, которого я должен сразить, и моя победа мне достанется лишь ценой гибели всех сладких иллюзий, которыми держится «жизнь» так называемая.

Самое удивительное в жизни, что не только человек, но и все животные и растения, обреченные на короткое, иногда до мгновения, существование, живут, не думая об этом, живут, как бессмертные боги, и это несомненный факт, а дальше идет разделение мнений: одни понимают жизнь как обман, другие — как личное свидетельство бессмертия.

Но если даже *для себя* смерти нет, то мы видим ее на стороне, и содрогаемся, и, провожая умершего, сходимся теснее между собой.

Так не в том ли смысл смерти, чтобы мы между собой сближались, соединялись в единого человека в полной уверенности, что когда все сольемся воедино, то тем самым исчезнет самый страх смерти, и тем самым кончается и умирает самая смерть.

*

Заря сгорает на небе, и ты сам, конечно, сгораешь в заре, и тысячи голосов на заре соединяются вместе, чтобы прославить жизнь и сгореть. Но один голосок или скорее шепоток не очень согласен гореть вместе со всеми.

Ты, мой друг, не слушай этого злого шепота, радуйся жизни, благодари за нее и сгорай, как и я, вместе со всею зарей!

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сознание каждого из нас в отдельности похоже на тоненький серпик новорожденного месяца с дополнительным к нему туманным окружением целого месяца.

Сам, как проволочка, тоненький, а мнит себя законченным кругом. И мы знаем, что это *мнение* у месяца не ложное.

Вот это смутное чувство целого человека как целого месяца сопутствует нам в жизни, и каждый из нас чувствует себя маленькой частицей какого-то неведомого ему целого.

Есть из нас немногие большие люди, сознающие себя без колебаний и догадок ничтожным явлением или только свидетельством целого огромного блестящего диска всего существа человека.

Хожу по земле, гляжу на людей и вижу у каждого вокруг лица, как у святого, нимб, то покажется, то исчезнет. И каждый, делая что-то хорошее для нас, не знает, что делает все в нимбе *всего человека,* и только чувствует перемену в себе, когда нимб исчезает или сияет вокруг него.

И это он называет совестью.

*

Свое дело я понимаю как дело связи между всем, что существует на свете. Вот стоит телеграфный столб и от ветра гудит, я люблю этот гул, и в гуле этом, мне кажется, я понимаю великое дело столба: он служит тоже делу связи. Но я не столб, я как электричество, которому служит столб. Нет! Еще больше, гораздо больше, чем электричество. Самая большая сила на земле — та сила связи, которая получается через слово художника. Я эту силу держу, как держит телеграфный столб железные провода с пробегающим по ним электричеством. Оттого, наверно, я и люблю этот гул.

Он сказал: «Наша душа», — и я внезапно почувствовал существование единой души всего мира, прикосновение к которой мы чувствуем, как свою личную душу.

Я шел, погруженный в свои думы, а мимо меня с шумом промчался лыжник. Как трудно нам с ним сойтись, не утратив каждому из себя самого ценнейшего: мне — моей мысли, ему — движения.

Сейчас у нас все пришло в движение, все «стали на лыжи», и потому нам, обремененным нашей пережитой жизнью, бывает подчас трудновато.

Ныне праздное одиночество позорно, но есть одиночество трудящихся людей и, вернее даже, труд одиночества: борьба за свою личность в интересах самого же коллектива.

Одиночество как форма труда.

Один остаешься... и сразу вырастаешь, и это порождает охоту писать.

Пишешь, будто сеешь, зная наверное, что жать будут другие.

*

Н а э с к а л а т о р е. Голова этой женщины была повернута в сторону, и я мог видеть только шею с определенно надутой от усилия поворота жилой. И вот, не видя лица, только по жилке на шее я узнал эту женщину в ее чем-то самом хорошем, самом трудном.

Вспомнилась даже мать моя, и отчего-то защемило в душе, и мне захотелось выйти куда-то, где много незнакомых людей, и сказать им об этом от всего сердца, что вот хорошее такое у всех у нас есть, что есть у нас всех общая доля.

И что если бы каждый из нас это помнил во всякое время и на всяком месте, то как бы всем на свете жилось хорошо!

Эскалатор работает как водопад или, вернее, человекопад. Все задумываются, как бы застывают в движении, которое себе ничего не стоит. Тогда каждое лицо, даже самое грубое, вызывает жалость к бедному человеку, обреченному быть жертвой непонятного ему созидания.

Посмотришь на такое лицо, и жалость охватывает, понимаю теперь почему: человек спешил и весь уходил в спех, а теперь за него машина спешит, и он остается сам с собой и еще не может с этим освоиться. И эта-то детская беспомощность человека и возбуждает жалость к нему.

Все мучения их в том, что они слепо доверяются времени и, как дети, надеются успеть, но время их обманывает и вдруг оставляет, и в роковой момент этот тела их разваливаются.

Жалко смотреть на них и хочется сказать каждому: не верьте времени, дети мои, не вверяйте себя ему, не спешите, не думайте, что время есть деньги, — время есть смерть, и вы будете только тогда людьми, если вступите со временем в смертельную борьбу: я или ты!

Бога ради, не тратьте себя.

Как гибнет любовь, когда один человек обращается другим в собственность, так и в отношении времени... Люди спешат и суетятся, потому что находятся в плену у времени.

*

Как подумаешь иногда усталый, каких маленьких людей собираюсь я описать, — оторопь берет: зачем, кому это нужно? — и бросишь. А потом соберешься, и думаешь, и опять за свое: большие люди, думаешь, сами расписываются на страницах истории, и у них имеется множество слуг, которые не дадут им исчезнуть. Но тихий, скромный человек так-таки и сходит на нет, такой хороший, милый мне человек, и вот нет никому до него дела.

Досада вызывает новые силы, и думаешь — а вот оттого и не дам я тебе от нас исчезнуть, живи, любимый человек, живи!

Вечером вчера вышел на улицу без всякого дела и поехал по метро в город. И вдруг мелькнуло мне знакомое чувство счастья своей личной свободы на мгновение: кажется, будто я владею мгновением жизни своей в толпе, как часто у меня бывает в лесу.

«А разве, — подумал я, — человеческая толпа не загадочна в жизни своей, как и лес?»

Мы, человечество, как отдельные корешки, питаемся одним общим стволом, и если я о чем-нибудь догадываюсь в себе, то это значит и для других корешков.

Вот почему, когда писатель говорит о себе, то говорит и о другом.

Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидал лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел и увидел небо.

Так и мое искусство, друзья, не больше лужицы, в которую из-за нашей спины смотрится невидимый нам весь человек с природой своей, небом, деревьями, водами, и я пишу вам только, чтобы вы обратили внимание.

Вдруг понял, что слово *общество* заменяет нам теперь то, что раньше называли *человеком*. То самое, над чем я тружусь уже несколько лет: назвать одним словом всего человека (весь человек в одном лице в противоположность сверхчеловеку).

Но только у нас теперь под словом «общество» по-

нимают организацию, между тем как всего человека я представляю себе как *организм*.

*

Умрешь и забудешь. Но бывает, о всех забыл и живешь — это что? Это значит — частью умер; для того, о чем ты забыл, — ты умер. И так мы живем, забываем, и умираем, и опять живем новые, не зная забытого.

Только немногие вспышки бывают у отдельных людей: вспыхнуть, чтобы не забывали, — и это остается, и складывается с другим, и скопляется богатство Незабываемого — культура человека.

Даже самое легкое дыхание ритма в душе поэта исходит от вечности, куда мы все друг за другом уходим. И врожденное всем нам чувство природы, культуры, связи — все это долетает до нас, живых, с той стороны, где собирается наша общая могила. Могила могил от начала веков!

Но это большая тайна, постигнуть которую можно только любовно-милостивым вниманием к жизни.

Что вы говорите мне о мертвецах! Есть разные мертвые, одни, которые из глубины пережитых тысячелетий и теперь властно определяют направление нашего современного лучшего, другие мертвецы, живущие с нами, обладающие часто бычьим здоровьем, пожирают наше творчество, прут нас всех живых упрямыми лбами в могилы...

*

Рожь подымается, ударил перепел. Боже мой! Это ведь тот самый, какой мне в детстве в Хрущеве кричал: у них же нет нашего «я и ты», — у них перепел весь один.

Семьдесят лет все «пить-полоть».

Как Бунин любил крик перепела! Он восхищался всегда моим рассказом о перепелах. Ремизов, бывало, по телефону всегда начинал со мной разговор перепелиным сигналом: «пить-полоть».

Шаляпин так искренне по-детски улыбался, когда я рассказывал о перепелах, и Максим Горький... Сколько нас прошло, а он сейчас все живет и бьет во ржи: «пить-полоть».

Мы поодиночке прошли, а он не один, он един — весь перепел, в себе самом и для всех нас проходящих.

И думаешь, слушая: вот бы и нам тоже так; нет нас проходящих — Горький, Шаляпин, Бунин, тот, другой, третий, а все это — один бессмертный человек с разными песнями.

Мост душ. Человек родится каждый для себя и даже первым криком своим заявляет право свое на весь мир. «Это я, — кричит он, — я, владыка мира, пришел!» Но когда начинает ребенок расти, его встречает другой такой же, с мандатом на владычество мира, и третий, и каждый. Так начинается борьба между всеми за каждого, пока, наконец, каждому не приходит необходимость в невозможной этой борьбе за господство кончиться.

И умирая, тогда видит мудрый, что не за себя он боролся, а за какого-то другого, кто лучше себя, и что каждый, сам того не зная, борется за другого, лучшего.

Так смерть у людей проходит, как мост их душ.

Человек шагает все вперед и вперед к своему единству, и на этом пути происходит одновременно и дробление существа человека.

Происходит одновременно образование личности, как агента связи между людьми, и индивидуума-собственника...

*

Личная жизнь — это значит сознательная жизнь. У нас же личную жизнь понимают как присвоение.

*

Смотрю сейчас на елку, и мне представляется в ней ее живое существо, идущее из тени к свету. Каждый сук по-своему и со своим лицом несет и отдает свою жизнь на образование ствола — этой математической прямой пути всех к солнцу. И великое солнце любит все ветви, все лапки, все иголочки. Но как будто оно любит всех-то равно, а каждую иголочку больше, и вот отчего ни одна даже иголка с другой не сложится: все разные, а ствол прямой поднимается к солнцу.

В этом все многомиллионные существа, составляющие дерево, счастливы, и в этом счастье поднимается

все дерево, и смысл этого счастья в том, что солнце любит всех равно, а каждое отдельное, даже иголочку — больше!

Вот бы и нам так устроиться в жизни — чего бы лучше! Но мы, если любим всех, то забываем о каждом, и если вспомним каждого — то забываем всех.

Тема нашего времени — это найти выход из любви к каждому любовью ко всем, и наоборот: как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?

О МЕРТВОЙ И ЖИВОЙ ВОДЕ

Две силы формируют мир, действуя одна в сходстве, другая в различии. То, что в сходстве идет, мы сознаем как законы. То, что в различии, — как личности.

Умирая, все идет в сходство, рождаясь — в различие.

И все это высказано в сказке о живой и мертвой воде.

*

Моя тема. Сделаем предположение, что в мире природы все неповторимо, и самодержавно, и незаменимо и что обобщение начинается человеком.

Одна из моих тем: то, что называется *грех,* есть пропуск жизненных единиц при *обобщении,* как при пахоте поля непропаханные частицы поля, *огрехи.*

С этой темой неповторяемости и незаменимости жизненных единиц я родился, как другие родятся с неудержимым стремлением обобщения и замены одной единицы другой.

У всякого принципа нет лица и внимания к лицам. Вот почему все принципиальное безжалостно.

Принцип есть средство, но не цель человека.

*

Высшая нравственность — это жертва своей личности в пользу коллектива. Высшая безнравственность — это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого (например, смерть Сократа, не говоря уже о Христе).

Природа вся личная: каждое семечко, каждый листик имеют свою отдельную судьбу. Человек отличается от природы способностью сделать обобщение и тем самым выйти из обычных персональных законов природы. Обобщение тем самым, конечно, должно быть и убийством, и не случайным, как в природе, а принципиальным. (Каин убил Авеля, конечно, принципиально.)

Истоки науки, искусства все персональны, но силой обобщения присоединяются к общему делу, становятся тоже *полезными* в том смысле, как атомная бомба одинаково «полезна» в сторону добра и зла.

*

Скачок авторов. Фауст под конец задумал устроить земной рай, и в высший момент восторга («прекрасное мгновение, остановись!») его мечта о канале превращается в факт могилы: творчество и действительность распадаются.

Однако, несмотря на положение Филемона и Бавкиды, Фауст находит себе высшее оправдание, точно такое же, как в «Медном всаднике» находит себе оправдание Петр: «Красуйся, град Петров!»

Тут и там проблема личности и общества разрешается в пользу общества, причем исключительно благодаря скачку авторов: Гёте скачет через Филемона и Бавкиду, Пушкин — через Евгения.

Медный всадник сказал бы Евгению: «Ты *мелко* мыслишь!»

Так образуется сила обобщения: путем уничтожения, убийства случайного.

Все хорошее в человеке почему-то наивно, и даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то просто додуматься... Серьезна и не наивна в человеке только мощь: могу — вот и все.

Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Наверно, надо быть очень богатым душой и мудрым...

Разум бывает прекрасен, когда показывается людям своими далекими границами, обнимающими огромный простор. Это — как выходишь из темного леса

на берег, и открывается море. Или как Пушкин, замученный мыслью о судьбе бедного Евгения, вдруг как будто на берег океана выходит и говорит: «Красуйся, град Петров, и стой!»

«Я» — это душа всего, это Евгений, который пережил свой страх и свой гнев на Медного всадника, и ему довольно смотреть на цветок через щелку забора, чтобы участвовать в этом *великом существенном*, перед чем Медный всадник кажется чем-то вовсе даже и не мешающим: медь и медь!

Несколько смешна только с душевной точки зрения фигурная чопорность Медного всадника: сущности нет — одна форма. А между тем сколько гонора вздыбилось... чуждое искусство! В *существе* нашей жизни ничего нет такого.

Евгений из «Медного всадника» — это сам-человек, мой «обыватель», а Петр — это всадник медной необходимости перемен.

Медного всадника и Евгения можно понимать как спор между горделивой формой и смиренной материей, за счет которой эта форма создается.

*

Когда я читаю о Рыцаре печального образа, как он с копьем наперевес мчится, я всегда вхожу в положение мельницы: ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон-Кихот. Если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно, что рыцарь поломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолоть свое зерно.

Я живо вхожу в положение мирной беззащитной мельницы, и всей душой в эту минуту ненавижу я рыцаря, наделенного всеми хорошими качествами, и только смешного, но не страшного.

А он страшен...

Друг мой, больше, больше укрепляйся в силе родственного внимания, обращенного к тварям земным, вглядывайся в каждую мелочь отдельно и различай одну от другой, узнавая личности в каждом мельчайшем даже существе, выходя из общего, показывай, со-

бирай миллионы их, и весь этот величайший собор живых выводи на борьбу против среднего должного.

Ссорьтесь, друзья, даже и деритесь, только не делайте выводов.

Мои выводы — образы, и самый большой вывод, самый большой образ — это мир как целое, и смысл весь в отношении к этому целому.

ЗАГАДКА ИСТОРИИ

Дождь в радуге — это единственный момент жизни воды, когда человек может понять, что и вода, как и люди, состоит из отдельных существ — капель, которые в своем дружном деле разрушения гор до того сливаются, что мы забываем о соединении существ и говорим, что просто льется вода. И люди [называют это] так: «история человечества».

Люди не любят объяснять явления общественной жизни глубокими причинами, но глубокие причины действуют, и вот отчего все выходит как-то не совсем по-нашему.

Мысль прикована к загадке истории: скоро, знаем мы все теперь, что очень скоро прочитаем разгадку, и с трепетом ждем.

1921 год. Обломов. В этом романе внутренне прославляется русская лень, а внешне она же порицается изображением мертво-деятельных людей (Ольга и Штольц).

Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское «неделание».

Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение *своего* существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом *для других,* может быть противопоставлена обломовскому покою.

В романе есть только чисто внешнее касание *огромного русского факта,* и потому только роман стал знаменит.

Антипод Обломова не Штольц, а Максималист, с которым Обломов действительно мог бы дружить, спорить по существу и как бы сливаться временами, как слито это в Илье Муромце: сидел-сидел, и вдруг пошел, и да ка́к пошел!.. Вне обломовщины и максимализма не было морального существования в России, разве только *приблизительное*... Устраиваться можно было только «под шумок», прикрываясь лучше всего просветительной деятельностью или европеизмом... Не могут все быть Обломовыми, не могут все быть Максималистами...

1923 год. Остановись на минуту, присядь записать свои мысли, свои чувства, и этот стул или пень, куда ты присел, уже есть твой дом: ты сидишь, ты — оседлый, а та мысль, те чувства, которые ты записал, уже *покоятся* на основании том самом, где ты присел, будь это стул или пень...

И вот почему источником искусства бывает прошлое: ведь каждого из нас судьба ведет в конце концов в свой дом.

Вот когда бегущий остановился, оглянулся — в этот момент он стал поэтом и судьба повела его в свой дом.

И пусть он будет славить революцию, движение — все это ему уже прошлое, сам он сидит на табуретке или на пне и сочиняет стихи.

*

Кончается Вторая Отечественная война. Так понимаю себя, что кончается время жизни моей, когда я питался верой в природу, «все во мне и я во всем». Этим ключом и открывал соответствие того, что во мне, с тем, что во всем. Этим открытием я потом и жил. Теперь же я знаю: все во мне! Но я знаю также, что там во всем чего-то и нет моего, и на это небывалое во всем мире устремлен мой интерес.

1945 год. — Откуда они ума набрались?

— Это, дорогая моя, не ум, а история; между нами есть умные и дураки, и так, что один чуть-чуть поумней, другой чуть-чуть поглупей, а в истории ум один и его люди получают не от природы, а входят в него.

Вот мы с тобой сейчас ничего не знаем в политике, живем глупенькие, а войдем в тот ум и какие еще будем умные-разумные.

Задача моя в романе* — найти оправдание современности в необходимости человека взять на себя грех и вину обобщения, чтобы взять власть над природой, и эту власть сделать добром, и воспользоваться им как удобрением почвы для выращивания из человечины личностей...

...Не в поэзии, не в искусстве дело, даже не в личности, а все — в народе, в нации, в социализме, в новой грядущей жизни всего человека.

Вот тропинка возле большой дороги. Валом валит по большаку народ, лошади, машины. А ты по тропинке спокойно иди себе, не торопясь. Пусть обгоняют — не ускоряй шага, не суйся туда, на большак, и не тужи, если все пройдут, а ты останешься, медленный, на своей тропе.

Возможно, к тебе кто-нибудь подойдет еще отставший, спросит тебя, и ты укажешь путь, куда все прошли. Учись же теперь держаться своего пути.

Шел по берегу реки до Крымского моста, и редко плывущие льдины, как все равно вчера зяблики в лесу, поднимали во мне знакомое остро радостное чувство природы, в котором душа освобождается от боли и становится большой, как мир, великой душой.

В темноте мне светила благовещенская зорька и громадные дома с огоньками по окнам.

В таком состоянии великодушия я ставил мысленно на место этих домов прежние береговые березки и елки (их нет, но я-то их помню!) и дивился трудной судьбе этих великанов — домов.

Так шел я по набережной, понимая и принимая к сердцу весь труд управления водой. Я сравнивал эту быстро бегущую воду весны с потоками нашего сознания и берега реки сравнивал с делом тех, кто управляет потоками и строит берега, чтобы сделать полезным движением потока.

«Какие великие дела берут на себя эти люди!» —

---

* Роман «Осударева дорога».

думал я. И в великой глубине своей предстала мне детская сказка о золотой рыбке.

— Так растите же, — говорил я береговым домам, — выше и выше! Золотая рыбка вам положила их вознести хоть до небес. Но только будьте мудры и скромны, не посягайте на свободу самой золотой рыбки.

Неизменного идеала, как и неизменного плана, быть не может, но, чтобы следить за его изменениями, надо не изменять ему, а самому изменяться. Двигаться вперед можно, только изменяясь вместе со своими идеалами.

Есть, однако, кто падает в прах, изменяя своему идеалу, и есть, кто мумифицируется в верности ему.

Идеал живет, изменяясь, и я в нем живу, и нет неподвижной идеи. Величайший долг человека — это изменяться (как идеал — так и я!), изменяясь же, не соблазняться временем: не за временем идти, а за Истиной, идущей во времени. (Истина — Правда.)

Когда человек берется за дело, то он непременно прячет свою мысль от другого, и так он охраняет свое первенство, как необходимое условие своего творчества.

Вероятнее всего, это живое первенство при падении человека каменеет и превращается в собственность.

Преступная собственность образуется в краже человеком у бога времени по формуле: «Время есть деньги». Тут начало греха, имеющего последствием войны

А вот и такое еще может быть понимание нынешнего могущества России: весь мир увидал по двум мировым войнам, на каком пустом месте (частная собственность!) воздвигнут карточный дворец современной общественной нравственности.

Большевики успевали и успевают потому, что некому и нечем им возразить и никто не может указать на святость ее основ.

*

Завет, преподанный Марксом, состоял в философии действия (изменения среды) — это самое главное. Требуется от человека усвоение лучшего в прошлом с целью посева его в будущее.

Роль человека — очистка семян истории.

Решение Ленина — взять власть, то есть то, что всякому интеллигенту было ненавистно, — есть решение гения.

Он шел против всех и в этом был прост, как ребенок.

Все время теперь думаю о простоте Ленина, о полном разрушении всякой позы и иллюзии (кстати, иллюзия и поза — нерусские слова, а хорошо!).

Слова Белинского, что Россия скажет миру новое слово, — это тема моей повести *. Моя родная страна скажет новое слово и им укажет путь всему миру.

А разве немец не так же думал, англичанин, француз? Путь веры в миссию своей страны кончается непременно войной. Значит, слова Белинского сами по себе еще ничего не значат, и нужен к этому плюс: коммунизм.

Значит, Белинский предчувствовал слово, но не знал его, а Ленин это слово сказал для всего мира, это *слово* — коммуна.

Русская интеллигенция взялась, конечно же, от самого народа и только простые народные хождения к святым местам и сектантские искания заменила хождением в народ и «в люди», исканием идейным в области культуры — хождением к местам культурных достижений человечества.

Ленин всю эту творческую тревогу интеллигенции и народа воплощал в себе, в нем собрались все начала и все концы искания и зарождения, но он единственный из всех сказал: «Довольно исканий и хождений, давайте делом займемся!» И всю скопленную тревогу превратил в дело.

В голову приходит мысль о том, что Толстой своим непротивлением все подготовил к тому, чтобы кто-то пришел и одним решительным ударом (как Ленин) рассек гордиев узел русского народного непротивления.

---

* Последняя повесть М. М. Пришвина «Корабельная чаща».

Входя в колею жизни, слабеющие люди и народы падающие получают веру в инертность человеческой природы и убеждают себя в этом ссылками из истории и на «суету сует» Соломона.

Нужен приход молодых народов, чтобы загорелась вера в небывалое.

— Не бывает? А мы попробуем!

*

Мне кажется, что если принципы нашего времени свести в единство, то желанный свет нашего времени — это радость матери в первый момент после освобождения от мук рождения, как будто свет только сейчас и начинается. Это и есть жизнерадостность.

Я думаю, что вот такого рода жизнерадостность и есть основная черта нашего русского народа: радость рождения, и очень может быть, что эта жизнерадостность внутренняя народа стоит к его страданиям в том же отношении, как радость матери к перенесенным мукам.

А ребенок, рождаясь, тоже кричит и смолкает, только встречаясь с грудью матери.

Мы знаем, что чувствует рождающая мать, но мы ничего не можем знать, что чувствует рождаемый.

Итак, коммунисты — это акушеры, призванные к операции при тяжелых родах. Россия — это мать рождающая, а я — «рождаемое»... Что это, символ? Да! Но это не символ «символического искусства», а символ веры русского человека.

Сущность материнства — это концентрация материи в себе: все «на пользу».

На этом зиждется мораль коммунизма, вернее, мораль рождения, возникновения.

Материализм есть дело твоего отношения ко всему телу человечества, как к своему собственному.

Человек, умирая, какое-то слово сказал. И умер человек, и то слово его было услышано. И с этим словом стал жить другой человек из года в год, вспоминая его и к смыслу его прибавляя свой новый смысл.

И когда состарился этот человек, то, умирая, сказал это слово, полное смысла, и третий человек услы-

шал это слово и стал жить по этому слову, наполняя его новым смыслом.

Вот и я пришел к этому слову и начал жить им, как будто только родился с ним. Слова этого я не назову, пока не наполню его своим смыслом.

Правда — это общая совесть людей, а вымысел — это за что я стою, это новое, небывалое.

Вы думаете о правде, как о неподвижной скале или как о корове молочной? Живая правда живет и пробивает, как все живое, себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама.

Дон-Кихот вбил себе правду в голову, как гвоздь, а правда — как зеленый росток среди весеннего хлама: страшно смотреть, какая борьба! А пройдет время, и все станет зеленым: правда победит, и наступит век правды.

Слово правды делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобой одним.

Нечего, нечего загадывать, выкладывать кирпичные домики будущего, будущее само о себе позаботится. Надо чувствовать и ловить в себе прафеномен нашей русской нравственной жизни, и я думаю, что его можно назвать: это друг, в этом все. Только друг! И тем самым определяется и недруг.

Друг наш придет не за страх о своем роду-племени, а по решению нашей совести, не за страх придет, а за совесть.

Слово не рождается, а образуется в деле из маленьких слов: подай, помоги, передай!

И так, образуясь, слово венчает в конце всякое дело, полезное для рода человеческого, и открывает нам смысл вещей, из-за чего на свете все делается.

Правда истинная — а разве есть еще какая-нибудь правда? А как же! Вот гуси на перелете летят, одни машут крыльями, а другие дают направление: «га-га».

Вот это «га-га» у гусей и есть их правда гусиная. А у человека своя правда, единственная правда, истинная: летит вперед и путь нам указывает человеческий.

Ты думаешь, правда складывается и лежит кладом. кто нашел клад — богат и перешагнул? Нет! Истинная правда не лежит, а летит.

Чувствую всем народным своим существом, что когда-то где-то в нашей стране родилось или пришло небывалое слово, и мы теперь перешли от слова к делу жизни, и поэты наши должны дать не поэзию слова, как раньше, а поэзию дела.

Правда любит селиться в деле: не всякое дело есть правда, но правда живет всегда в деле, и если даже явится правда в красоте, то такая красота всегда бывает действенной.

*

Все и каждый. Есть книги для всех, и есть книги для каждого. Для всех учебники, хрестоматии, для каждого книга — это зеркало, в которое он смотрится и сам себя узнает и познает в истине.

Книга для всех учит нас, как нам надо за правду стоять. Книга для каждого освещает наше личное движение к истине.

Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек движется.

Правды надо держаться — истину надо искать.

Истина и Правда. Деловое искусство есть пропаганда или искусство, подчиненное правде-делу. Правда века людьми еще не вполне усвоена и потому не стала еще истиной, которая не мешает свободе искусства. Так что оставаться свободным в искусстве можно только на основе истины, контролирующей время правды, так как правда расположена во времени, а истина от него не зависит. И еще «так что»: правда есть истина, ограниченная временем.

На злое дело — подскажи только — и всякий способен. На доброе — редкий. Зло сделать много легче добра. И все-таки живем и собираемся жить в будущем лучше в том уповании, что добро побеждает зло.

У каждого зверя, у каждой птицы, и у паука, и у растения всюду и у всех есть место своего рождения — свой дом. Однако птицы улетают из своих гнезд, и маленькие звери покидают свои логовища, и пауки улетают

на своей паутине. Много мужества, много героизма требуется от каждого паучка и пчелы, чтобы расширить ареал своего рода. Готовность умереть за других ценнее даже, чем самое рождение новых существ. И оттого и у животных, и у растений, и у всех живых существ на земле, и у самого человека готовность умереть за общее дело считают Большим делом, а рождение даже таких существ, как человек, считается Малым делом.

Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого.

*

...Нет, социализм такая же правильная оболочка жизни, как известковая оболочка яйца. Социализм — это бесконечно близкое соприкосновение с жизнью, но совершенно такое же, как известковая оболочка соприкасается с содержанием яйца.

Если курица сидит на яйце, то все существа, заключенные в яйце, начиная с самого эмбриона и кончая последним электроном белка, являются между собой современниками и держатся друг возле друга в скорлупе яйца до тех пор, пока курица не отсидит свое необходимое время.

Так и у нас у всех это есть: мы все между собой современники, и каждый из нас участвует по-своему в зарождении, и вынашивании, и, наконец, в явлении на свет чего-то нового.

*

Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может наделать беду обществу и общество может погубить личность: и тут вся игра, стоящая целой жизни.

Правда, стоит заниматься этой игрой. И оттого занимаются и существуют политики, и дипломаты, и цари.

Люфт между обществом и личностью — это «бог правду видит, да не скоро скажет». И это «не скоро» равняется целой жизни.

Где же люди? Не ищите их далеко, они здесь: они отдали свое лучшее, и их так много, что имена не упо-

мнишь. Имена здесь сливаются в народ, как сливаются капли в падун.

На тонкой ниточке состоит связь моя с Родиной: эта ниточка — мое личное словесное творчество... И тут все: пока я пишу, я — сын своей Родины. И потому нечего раздумывать, нечего расстраиваться, а побольше и получше писать.

*

В поисках образа героя*. Вся жизнь человека, его науки, искусства, техника — есть сказка о правде, и вся правда и вся новая мысль открывается в том, как бы нам сделать всем сказку, чтобы человеку на земле получше жилось.

Кончается сказка — начинается дело.

— Где же теперь будет сказка?

— В наших делах: наши дела будут сказкой.

Почему бы в образе моего героя не дать, пусть утопический, идеал разрешения свободы и необходимости?

Живой человек — это человек, находчивый в правде. Это вместе с тем значит, что такому человеку не нужно в решительный момент действия лезть на полку справляться по книгам и не нужно идти к начальнику просить выдать мандат на спасение утопающего человека.

Мой герой, когда с негодяем вступает в борьбу, то это все равно, что с самим собой начинает борьбу. Его задача — скрутить негодяя и заставить его делать то самое, чему он служит. Он везде милостив к своему врагу после победы, потому что враг как бы уже соединился с ним.

Правдотворчество дает бесстрашие самому себе, а со стороны становится страшно за правдолюбца: кажется, вот-вот он погибнет. Правдолюбец плывет в обществе, как корабль, рассекая лоно вод на две волны: на одной стороне друзья героя, на другой стороне — враги его... Вера в правду, ощущение ее и правдотворчество мгновенно показывают фальшь слов обыкновенных людей и мгновенно рождают неожиданный ответ, острый, пронзительный, как укол шпаги.

---

* Попутные записи во время работы над повестью «Корабельная чаща».

Мой герой — это Иван-дурак, как русское разрешение темы Дон-Кихота, — он вступился за мельницу: «Кто же ему теперь даст право ломать мельницы? Хорошо еще, ветер был, а будь тихо — чего бы он не наломал!»

«Новая мысль» — прибрать к рукам Дурака, то есть обратить его на службу не «царю», а человеку и раскрыть глаза Дон-Кихоту на время.

Путь Ивана-дурака, то есть путь искусства (сказки), — путь восприятия жизни цельной личностью. Так я и сделал, сбросив все «умное» на севере.

*

Туда, где складывается у людей правда, мне кажется, я спешу — спешу и кричу: «Погодите, погодите, возьмите меня!»

Итак, всюду, мне кажется, все делают правду, а каждый из нас непременно спешит, каждый нужен для всех, и все нужны для каждого.

Сегодня совсем маленький мороз — только не тает. Тихо слетает редкий спокойный снег. Мы стоим у перекрестка перед красным светом в несколько рядов и в каждом ряду в строгой очереди.

Тихо падающий снег шепчет о радости спокойного терпения. Кажется, будто можно так овладеть собой, что во всякое время и во всякой вещи будешь видеть тоже такой красный свет, говорящий: «Дальше ехать нельзя, надо ждать. Успокойся, стань в очередь и жди зеленого сигнала».

С какой-то отдаленной точки зрения человеческий род на земле похож на длинный фитиль, зажженный, чтобы взорвать земной шар и превратить его в небольшое солнце. Фитиль горит, после него остается зола — это наше прошлое; движение искры вперед — это наше настоящее, а будущий мир — это мы все, обращенные в солнце.

1945 год. Сама планета в опасности — это факт великий, но еще больше тот факт, что каждому через пять-шесть часов есть хочется.

И если даже планета с одной стороны загорится, то

люди с другой стороны будут биться за кусок хлеба, пока можно будет терпеть подходящий жар.

Противник факта. Разве это неправда, если я скажу, что есть нечто *большее* факта: мое творчество, из которого открывается факт в желанном мною направлении.

«Красота спасет мир»* — это значит, придет время, и всемирный противник чужого факта — художник — будет не только мечтателем, как теперь. Он будет осуществителем личного и красивого в жизни.

*

Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет и надо будет зажечь на земле новый огонь.

Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время?

ВОЙНА И МИР

Первая мировая война. Не понимаю, какая это может быть новая счастливая жизнь после войны, если после нее освободится на волю такое огромное количество зла?

Зло — это рассыпанные звенья оборванной цепи творчества. А сколько во время войны рассыпалось творческих жизней!

Иногда встречаешь радостное и говоришь: «Это у нас только бывает, это наше!» А то обрадуешься, что не у нас только это, а везде, на всем свете то же бывает.

Радость о своем — это чувство земли, а радость, что везде так, — это чувство океана.

Красота национального лица создается не политикой, а общей жизнью, и каждому, действующему в ее сфере, красота дается без всякого усилия, она сама является.

---

* Слова Достоевского.

Национализм тем отвратителен, что губит красоту жизни, а эта красота, собственно, и составляет национальность.

*

Вторая мировая война. Река женских слез. И скоро с фронта — река мужской крови. Расставаясь, плачут даже и молодые парни, этими женскими слезами прошибает мужа, и на время он становится женщиной, и в эти моменты будущее геройское дело кажется маленьким. Уложил две перемены, нож, ложку, еще кое-что, простился, глянул в последний раз на дымок, на две березки, и эти березки пошли с ним и остались в сердце до смерти: в последний миг расставанья с жизнью в несказанной красоте и доброте станут перед ним эти березки.

Все весенние цветочки и каждый зеленый смолистый лист просят нас об одном — о защите. И если мы хотим наслаждаться счастьем весны, которое они все приносят с собой, мы должны идти на войну за свое любимое и быть готовыми, любя, умереть. Все эти цветы новой весны тем и прекрасны, что пробуждают в нас лучшие силы в борьбе за любимое.

Сколько серых слез неодетой весны скопилось по сучкам, по веточкам и почкам и упало на землю, сколько теперь на тех же веточках и сучках шумит зеленых листьев и сколько цветов на земле под березой...

Я вспоминаю юношу на платформе с зенитным орудием. Стон, и вой, и вопль были в воздухе от деревенских женщин, провожавших эшелон на войну. Слезы рекой лились у всех и о том юноше, который сидел и улыбался возле зенитного орудия.

— Он улыбается! — сказал кто-то возле нас.

И кто-то ответил:

— А ты вглядись и пойми, чего эта улыбка ему стоит!

И вот теперь я смотрю на море радостных цветов под березой, на всю эту улыбку земли и сквозь свои собственные слезы вижу победителя-юношу с цветами в руках.

Сейчас идет война всего земного шара, потому что в беде, постигнувшей нас, весь мир виноват.

В этом и есть историческая задача большевиков — вскрыть язвы всего мира и нужду в спасении сделать всеобщей.

Зимой ведь только хрупкое стекло держит в доме тепло, и при центральном отоплении дом без стекол есть могила. Стекла вылетают от далеко разорвавшейся бомбы — и человек выброшен на улицу. Величайшее злодейство... И тот злодей, кто молчал и берег свою жизнь, и, может быть, больше всех злодей ты сам, не отдавший жизнь за необходимое огненное слово.

*

Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать, будет ли за этой жизнью в Усолье * какая-нибудь другая благополучная, но все равно эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас будут значительней всех будущих дней...

О время, время какое! Все маски сброшены с государств и с церкви, и все пережитое человечеством в этих формах опрокидывается в открытую душу каждого, как бремя, которое он должен вынести...

Говорят, люди в Москве теперь полусумасшедшие. И не мудрено: такой казни массовой посредством метания бомб в дома большого города еще не было. Кто первый придумал это и назвал именем тотальной войны?.. Ближе и ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой станут на борьбу действительно все, как живые, так и мертвые.

Ну-ка, ну-ка, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил!..

Слово. Утром в полумраке я увидел на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс — и все взорвано, страна

* Деревня Ярославской области, где М. М. Пришвин жил во время войны.

пуста, как во время татар или в «Слове о полку Игореве». Но вот оно, Слово, лежит, и я знаю, по Слову этому все встанет, заживет. Я так давно занят был словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном, а словом все делается.

*

З л о в к р а с о т е. Утром началась метель мельчайшими белыми пылинками, рассмотрев которые на темном, я убедился, что и такая пыль состоит из шестигранных звездочек... И все эти снежные груды, от которых гнутся пятидесятилетние сосны и аркой склоняются до земли березы, состоят из этих звездочек.

Сколько зла, сколько злобы в зиме, столь красивой для того, кто живет в тепле, и столь ужасной для застигнутого врасплох в поле путника... Сколько замерзает в одну только такую метель живых существ, сколько поломанных ветвей, сколько изуродованных деревьев! Но придет время, и каждая прекрасная и злая шестигранная звездочка зла превратится в круглую каплю доброты, включающей в себя и красоту. Сверху добро, внутри красота — какая сила! А зимой — наружу красота, а внутри зло.

Я продолжаю думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна.

Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все человечество. И пусть вырастут на крови цветы — не утешительно. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю добра — не утешительно!

М о г и л а м о г и л. Снежинки (шестигранные звездочки), падающие с неба, в совокупности своей материи, падая на сучки, на ветки деревьев, обнимая каждый изгиб, засыпая каждую лапку, трудятся, чтобы все округлить, все похоронить, над каждым покойником насыпать круглый холмик-могилку.

Над этими бесчисленными могилами высится могила могил — небесный свод, и в нем с прямыми лучами солнце — отец жизни.

Всякое существо живое на земле стремится навстречу солнцу, и так создается рост жизни по прямой: каждая веточка стремится прыгнуть из своей могилки

и воспрянуть в движении к солнцу, и вся жизнь в совокупности стремится выбраться к солнцу из-под своей могилы могил — небесного свода.

Священная прямая. Единство в многообразии форм составляет и стиль и содержание произведений художника, и это единство равнозначит в моем понимании со священной прямой.

В юности я верил в простую, как рельсы, прямую прогресса человечества. Потом, как и все, потерпел крушение, и весь мир с его человечеством завертелся по равнодействующей силы центростремительной, влекущей вниз, и центробежной силы, стремящей нас на прямую.

Теперь я начинаю верить, что, любя и благословляя жизнь, можно вращаться с живущими только при вере и уповании выйти когда-нибудь, как было это в юности, на священную прямую.

Прямая и Кривая. Прошлую кампанию немцы, наступая на Москву, убедились, что прямая не есть кратчайшее расстояние между Москвой и Берлином. В нынешнюю кампанию сорок второго года они убедились под Сталинградом, что и кривая не есть истинный путь.

*

Если бы только мог современный человек подойти к текущей воде с тем священным трепетом, с каким далекие от нас люди пустынь подходили в палящий зноем день к оазису и припадали страстными губами своими к холодной воде. Сколько наслаждения! Сколько благодарности! Сколько раздумья и поэзии!

А теперь не пустыню ли мы переходим, не изныл ли наш дух в тоске по живой воде? Я жду со всей страстью этого чуда, когда каждая шестигранная снежинка всего огромного скопленного зимою зла превратится в радужную круглую каплю воды.

На всю деревню голосит сиплым нечеловеческим голосом бабушка Аграфена: «Ой-и, жизнь моя, Ванюшка. Ванюшку убили. Ой-и, жизнь моя, Николаюшка. Николаюшку сегодня угнали. Ой-и, катитеся, слезы, по лицу моему». Идет с причитанием медленно через все село из конца в конец.

Слушал я этот вопль, и даже в мои годы подмывает злоба на немца, и тянет она включиться в массу, идущую на врага.

Но сегодня я опомнился от стыда, ведь мне семидесятый год, а я и молодой не умел помогать на пожарах. И самое происхождение этого чувства стыда неглубокое: это оттого, что сама гордость хочет взять на себя больше, чем может.

Валил снег вчера, валил сегодня весь день, и лес наш совсем завалило, лес стал глухой. И мы стали, глядя на падающий снег, распускать шерсть: она распускала, а я связывал нитки и наматывал. Снег падает — клубок мой растет и растет. Время незаметно проходило, как будто время, грызущее сердце, покинуло нас и сматывалось на клубок.

Стало темнеть.

— Я как-то не чувствую времени, — сказал я.

Она ответила:

— Мы наше время сматываем на клубок.

Мы зажгли лампу и продолжали наматывать, и время шло, и мы его не чувствовали. Потом стало клонить ко сну. Мы уснули, а клубок вырос до огромных размеров. И спали мы долго, может, мы столетия спали, блаженные, а наше злое время отдельно от нас все моталось и моталось в огромный клубок. И сколько снегу нападало. И весь лес стал глухой.

*

Я помню, как на верху горы из-под ледника мчался поток и громадные камни, скользя по разогретому солнечными лучами льду, время от времени падали в поток. Слышался глухой удар, всплеск, на мгновение вся вода из потока взлетала на воздух. Но скоро вода, обегая со всех сторон камень, принималась за свою работу.

И что же? Там, на берегу теплого моря, где волны прибоя ежеминутно приносят и дарят человеческим детям округленные разноцветные камешки, эта радость пришла от падения камня в поток: так вода обрабатывает камень.

Первый зазимок лег ночью, и утро вышло белое, и мелкий снег частой крупой все так и сыплется...

Я проснулся рано и лежал, не зная, что земля в обновке лежит. Но мысль моя, внутренний мой человек, определенно всматривался в то время конца России, когда писали Блок, Белый и другие поэты, всматривался с таким чувством, будто все там у меня назади осталось как кладбище, засыпаемое снегом. Так ясно и просто думалось, и воспоминания не вызывали ни сожаления, ни боли.

Потому не больно было вспоминать, что ведь это не Россия кончалась, а сама Европа — идеал нашего русского общества, — вся «заграница» погибала со всеми своими мадоннами, и соборами, и наукой, и парламентами.

Падает снег на мою душу, и я молюсь об одном, чтобы дождаться весны и прихода мысли в понимание пережитого конца и в оправдание погибших и нас, уцелевших...

Мы, русские, и западники и славянофилы, в истории одинаково все танцевали от печки — Европы, а вот теперь эта печка, этот моральный комплекс не существует.

Будем мы теперь танцевать от другой печки — Америки, или же, наученные, будем танцевать свободно от себя, а не от печки?

Только быки борются своей силой, а человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет.

*

Чем же плох этот мой труд — снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт. И так все, всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно... Так я смотрел на себя, фотографа, со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходят запросто и, положив ему руки на плечи, говорят на «ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле.

Выслушали женщину из Ленинграда, башмачную закройщицу. Почерневший от голода мальчишка вырвал кусок хлеба у женщины, которая веревкой подпоясала каракулевую шубу — так похудела, и ноги, отекшие от голода, обмотанные, похожи были на два

бочонка. Как молятся. Как убирают покойников. Как немцев отгоняют. Как умирают... скорее мужчины, потом женщины, и всего выносливее оказываются дети.

Женщина из Ленинграда стала притчей во языцех, все узнали вдруг, какой ценой достается наше продвижение вперед... И тоже понятнее становятся в устах англичан героические эпитеты в отношении Красной Армии... Может ли в большой войне пройти безнаказанно действие, подобное истреблению индейского племени европейцами?

— Вот то-то и есть, что является надежда на взрыв, на выход из-под глубоких подземных пластов огня жизни... А что это за огонь, что за сердце, такое большое, всеобщее, близкое, это сердце наше же собственное, что соединяет «я» и «ты» в наше «мы», это сердце, зарытое глубоко в землю, на которой люди теперь истребляют друг друга? Мы ждем этого взрыва.

*

Коровий рев. Каждое утро просыпаюсь, когда гонят мимо открытых окон коров и они мычат и ревут. Прежде меня просто раздражал этот коровий рев, сопровождающийся хлопаньем кнута и окриками пастухов. Теперь при этом глупом бессмысленно-безнадежном реве отдельных коров я содрогаюсь, мне слышится в этом реве, в глубине его где-то заключенный человек, не имеющий возможности дать знать о себе своим голосом.

А когда после того встаю и выхожу на росу, то даже и все величие солнца не удовлетворяет меня, и в лучах его, и в цветах, и в траве, и в росе, и уже в том, что солнце круглое, мне чудится какой-то недочет. Чего-то не хватает во всем этом, что-то пропущено или где-то заключено и скрыто, как в этом реве коровьем, слышном теперь уже издали, продолжает чудиться заключенный в темницу родной человек.

Хорошо, что я, хотя и поздно, а все-таки это чувствую...

С детства мы говорим «народ», как что-то священное, и много перевидали подвижников и мучеников за народное дело, за его землю и волю.

Только теперь начинаю понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а сокровенный в нас

самих, подземный, закрытый тяжелыми пластами земли. Это не только мужики или рабочие, и даже не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о человеке, продолжающем начатое без него творчество мира.

Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться.

Мой народ, которого я держался, не будучи народником, был мне вроде как теперь лес. Я хожу по лесу и своими образами как бы перелаживаю в человеческое сознание лес, улучшая его, и тем продолжаю незнакомое, неведомое мне творчество. Так и народ мой был мне как лес для художника.

В сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтобы творить будущий мир.

Смотрю в себя и через себя одного понимаю все русское, до того я сам русский. Так, если хочу понять, откуда у нас берется столько героев, то сам эту готовность к геройству вижу в себе, как будто сидишь ни у чего и ждешь, что тебя позовут, и как только позвали, то ты делаешься будто снарядом: вложили тебя в пушку — и полетишь, и с удовольствием, с наслаждением разорвешься где надо...

*

У меня свое, у тебя свое, у него... а вместе — это родина. Чувствовать вместе «свое» мы научились на войне.

Из окна. Погода ужасная, холод и буря. Березка перед моим окном едва только оделась, и так нежна еще зелень, что сквозь нее видны все сучки, от больших до самых тонких. И вот буря треплет ее, бросает в стороны, гнет чуть не до земли. Как это ужасно! И переношу мысль на человека: сколько надо было жить, мучиться человеку в этом безобразном хаосе, чтобы научиться удерживать в себе постоянную мечту и веру в возможность лучшего.

Что́ человек — посмотрите на кошку: как она от-

зывается на ласку. И даже свирепый тигр — разве он не таит в себе ту же потребность? Если бы такая особенная в его жизни тигровой выпала близость к человеку, разве он тоже бы не жался, не мурлыкал, не просил бы его там почесать, там поскрести?..

А разве все в мире не таит в себе готовность любви, разве в самой ужасной битве и при разжигании ненависти то же самое не вспыхивает там и тут искра голубого света этой таинственной всеобразующей силы?

Разговор с майором.

— Вы что теперь пишете? — спрашивает он.

— Я пишу, — ответил я, — только не удивляйтесь, не для войны, а для мира. Война пройдет: я не могу писать для преходящего. После войны будет мир. Так вот я для того мира пишу.

— Почему же вы думаете, что я удивляюсь: ваша мысль большая и верная. Война пройдет — книга останется. До войны и я тоже был учителем...

В книгах людей надо учить не рассуждению, книга не для того, чтобы ума набираться, а для того, чтобы учиться любви.

Молодой человек двадцати семи лет, садовод по профессии, ныне лейтенант. Заведует каким-то гаражом в Москве. Проходя ежедневно мимо моей дачи, он видел, как я шкурил столбы, как ухаживал за машиной: смазывал, надувал баллоны, мыл. Недавно, проходя мимо меня навеселе, он поманил меня пальцем и спросил:

— Ты, дедушка, кому это помогаешь?

— А я сам себе, — ответил я, — помогаю. Я писатель и стараюсь все для себя делать своими руками.

— Разрешите мне вам помочь, — сказал он с большим почтением, — у меня есть замечательная лампапереноска, есть конденсатор, молоточек для трамблера, хотите, я сейчас вам привезу на велосипеде?

— Привезите, — говорю, — только не знаю, как я расплачусь...

— А ничего не надо, поставьте сто граммов вина, распейте сами сто граммов со мной, и я буду очень доволен: я больше всего дорожу хорошим обществом.

Вечером я сказал жене:

— Ты, живя со мной, была не раз свидетельницей явления подобных неведомых друзей. Вот за это я и живу в России и люблю русский народ.

— Почему же русский, — спросила она, — разве англичане или любой хуже?

— Наверно, не хуже, — ответил я, — но ведь это отвлеченно и неощутимо для меня: ни языков как следует не знаю, ни соприкосновения не имею. Вывод, конечно, делаю: человек — везде человек. Но как я могу любить «вывод»? Я люблю русского человека и только на основании этой фактической любви делаю заключение, что у всех народов есть свои хорошие люди.

*

История человечества начинается жертвоприношением богу баранов и приходит к жертве себя самого за друзей своих. Какое же это движение вперед человека!

Так можно ли унывать даже во время самой жестокой войны?

МАТЬ-РОДИНА

...Так-то оно, конечно, лучше бы работать гражданином мира, но как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?»

Если слышу «больно» — ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так церемониться, разве он за «естественным богатством» железа, нефти и угля захочет чувствовать человека?

По правде сказать «я» можно лишь на родном языке.

Родина. Что скажет о ней дитя ее, что откроет, — не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней.

*

Чувство родины неизъяснимо, мы связываем его с чувством материнства, родина — это мать моя, а со-

брание дел моих (сочинений) есть мой паспорт в отечество.

Наконец-то дожил до понимания «Капитанской дочки» и тоже себя: откуда я пришел в литературу. Утверждение мира в гармонической простоте («мечта и существование» сходятся).

Пушкин отсылает своего Онегина и вообще «героя нашего времени» к Пугачеву (Швабрин) и оставляет себе то простое, что есть в капитанской дочке. И теперь читаешь — и как будто у себя на родине...

Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, — то и другое для меня теперь археология; моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, — моя родина — это повесть Пушкина «Капитанская дочка».

*

Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению, и спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения: одному это дрова и стройматериалы, другому — цветы и пение птиц, третьему — небо, четвертому — воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все.

Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес, мы почувствовали к природе во время войны, и как мы это почувствовали, общий интерес: это родина, дом наш.

Природа явилась нам как родина, и родина-мать обратилась в отечество.

Родина, как я ее понимаю, не есть что-то этнографическое, неподвижное, к чему я теперь прислоняюсь. Для меня родина — все, что я сейчас люблю и за что борюсь, родина — это я сам как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее.

Чувство родины в моем опыте есть основа творчества.

*

Мое направление Материал у меня под ногами — моя родная земля, а направление мне дает каж-

дое дерево своим ростом вверх прямо к свету. Все остальное — борьба.

У меня тоска бывает чаще всего от прихода в свое внимание чего-нибудь *избитого,* повторенного много раз, пошлого. Есть, однако, избитое, например, выбитая ногами людей тропа никогда не вызовет тоски, есть травка-муравка на дворе, всю жизнь смотришь — и ничего...

Деревенские задворки — самое чудесное место на земле: среди молчаливых сараев полукруг полей завершается лесами.

Солнце после дождя. Иду без шляпы в задворках по тропинке между сараями, трава на тропе подбита, примята ногами, и земля виднеется. А по сторонам тропы поднимается та самая трава-мурава, которая, кажется, была со мной от рождения, — это пырей, одуванчики, просвирки.

— Так вы тут стоите! — сказал я... И правда, стоят, а тропа — я иду, иду, и эта тропа есть моя самая близкая родина.

*

Моя наука есть наука родственного внимания своеобразию каждого существа. Эта наука привела меня к искусству слова, а искусство слова — к родине. И я понял, что природа есть родина.

Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к хорошим людям, от которых я произошел, замаскированное словом «природа». Это и есть живое чувство родины.

Тема о хороших людях, как чувство родины, в сущности, и есть содержание понятия «природа».

Если бочка под капелью полна и вода все льется из водосточной трубы, то нужно ли раздумывать воде, чтобы перелиться из бочки и свободным ручьем радостно, с говором бежать по земле в реку, в море и, может быть, в океан?

Так и я тоже мало думал о мастерстве строительства русской речи, а всегда помнил о той «бочке», откуда сам теку, и эта память о бочке определяла мое поведение.

*

В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к петрову дню цвету.

Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а, может быть, только что начинается.

ДУША ПРИРОДЫ

Дети, все дети, и вы, настоящие наши физические дети, и те взрослые, пожилые и вовсе старики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка!

Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы нашей матери.

Все мы вышли из тьмы, и все мы движемся к свету, вместе с нами совсем рядом из темной земли поднимаются к солнцу деревья, былинки, соломинки, цветы и вместе с нами живут.

Все лучшее дано мне в нерукотворной природе. И когда мне надо, я замираю в лесу, так притаиваюсь, так затихаю, что вижу, как поднимаются прижатые зимой травы, слышу, как трескается почка и как, прыгая, шлепается первая проснувшаяся лягушка. Я все это собираю и приношу туда, где я сам расту, сам живу, сам, как травы, поднимаю слои слежавшихся надо мной прелых листиков.

Сегодня я прошу, чтобы мне было легче подниматься и расти, легче было в тех усилиях, которыми приходится поднимать на себе тяжкое прошлое.

Я не потому прошу легкого вместо тяжкого, чтобы скорее выпрыгнуть, раньше всех показаться на свет, а только потому, что, истратив много труда, начинаешь переоценивать свое значение, гордиться перед нижестоящими и питать злое к вышестоящим и легко вырастающим.

Я прошу: улыбнись мне, матушка, и сдунь с меня, желтенького, старые тяжелые листки... Вспомни, сколько раз соблазнялось сердце мое величием трудного и сколько раз оно не пошло на соблазн!

*

Березовый сок. Вечер теплый и тихий, но вальдшнепов не было. Заря была звукоемкая.

Вот теперь больше не нужно резать березку, чтобы узнать, началось ли движение сока. Лягушки прыгают — значит, и сок есть в березе. Тонет нога в земле, как в снегу, — есть сок в березе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы — есть сок в березе.

Мысли мои старые все разбежались, как лед на реке, — есть сок в березе.

День прошел, как самый большой праздник, чего стоит жизнь одного только моего окна: какими чудесными узорами разукрасил его мороз поутру, как от солнца протаяла солнечная серединка, потом исчезло все и на краях, а вечером опять заузорилось. Так и весь день, как окно: в середине пламенеет воздух, плавится снег, и выступает вода на дороге, а утром и вечером все обрамляется легкоморозными зорями. День как в раме, день как окно в грядущее.

*

Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры.

Мое настоящее искусство — живопись, но я не могу рисовать, и то, что должно бы быть изображено линиями и красками, я стараюсь делать словами, подбирая из слов цветистые, из фраз—то прямые, как стены древних храмов, то гибкие, как в завитках рококо. Что же делать-то? При усердии и так хорошо.

А может быть, так и все художники работают *мастерством чужих искусств,* пользуясь *силой родного?* Молчаливый поток родства, продолжающий мир и иллюзию его.

Апрельский свет — это темно-желтый, из золотых лучей, коры и черной, насыщенной влагой земли.

В этом свете мы теперь и ходим.

Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно, и поставил стакан с купавой против луча.

Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло как солнце, а белые лепестки стали так ярко белы, что неровности бросили синие тени, и я понял весь цветок как отображение солнца на небе.

Долго смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде.

Бабочки. Белая и желтая бабочки долго кружились друг возле друга и разлетелись: белая полетела искать своих белых, а желтая — желтых.

Не один человек, но вся природа и в ней каждый род, даже род атомов, протонов и всяких еще более мелких частиц материи, таит в себе носителя лица. В материи нет ничего мертвого, в ней все живое.

Можно подходить к природе с тем, чтобы законы открывать, но можно открывать и беззакония: то, что случается единственный раз и больше уже никогда не повторится. Это чем отличается один человек от другого и носит название «я». Единственный раз это «я» пришло в мир и больше никогда не придет. Но точно так же и день придет и уйдет: другого точно такого дня не повторится, и «пара» дней — это бессмыслица.

*

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто — сам виноват.

Вошел утром я в лес, и удивился, и обрадовался — сколько чудес совершилось в одну майскую ночь без меня: как позеленились дорожки, как подросли свечи побегов на молодых соснах, как возмужали березки, сколько лужиц закрылось вырастающей из-под них ярко-зеленой травой.

И так много, много всего, и все без меня, все делалось само собой на радость и удивление. И я радовался и удивлялся этому миру, где могут создаваться прекрасные вещи без всякого личного моего участия.

Но в том же мире есть другие вещи, растущие только во мне и вырастающие только из меня и непременно в моем присутствии. Я знаю их хорошо в моем томлении духа, в страданиях, в ожидании лучшего, но никто бы не знал об этих страданиях, если бы они,

вырастая, не встретились бы через меня с тем прекрасным в природе, что создалось без меня.

Лес берегами, как руками, развел — и вышла река.

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые, и цветы возле них разные.

*

Такое задумчивое утро, что кажется, будто и петух кричит тем самым словом, какое держишь в уме.

Внутренняя жизнь природы — это я, или душа человека, и если надо что-нибудь в природе понять, то надо просто углубиться в себя, в то же время не выпуская из вида внешнего облика того, что захотелось в природе понять.

Жизнь — борьба, но только разная бывает борьба и разные люди. Бывает борьба весны с зимой, когда знаешь, что, какая бы ни была страшная борьба, все кончится к хорошему и начнется новая прекрасная жизнь. Такими бывают и весенние победные ручьи и бывают весенние люди. А то борется лето с зимой, и бывают осенние хмурые люди, борются за жизнь, но знают наперед, что им не победить.

Какой еще может быть вопрос, — все мы вышли из этой борьбы и в нас постоянно происходит то же самое, но только нам не видно, потому что все происходит в себе.

Каждую весну и каждую осень человек поэтически переживает и свое собственное рождение, и умирание.

Серый, теплый, очень тихий и задумчивый день. Кажется, все-то есть, и можно просто жить и ни о чем не думать самому: сам день за меня думает.

Конечно, это ветерок дунул, но нам было, будто липа это сама кашлянула и вдруг вся осыпалась.

Синяя тишина. Вчера десять и больше раз начинался дождь, и я уже не обращал на него внимания и ходил с Кадо по дождю.

В промежутках между дождями было так тихо и темно, что каждое дерево как будто оставалось наедине само с собой, и все можно было видеть у них, даже самое тайное.

Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, а в елках нависла синяя тишина.

З и м о й. Вошел в лес — уснувшие потоки тишины.

*

К природе нельзя подойти без ничего, потому что слабого она сию же минуту берет в плен и разлагает, поселяя в душу множество грызущих червей. Природа любит пахаря, певца и охотника.

Вещи, собранные в моей московской квартире, имеют один недостаток: они не мои. Моих вещей както вообще нет, но в лесу деревья, цветы на лугах, облака на небе — это все мое.

В г о р а х. Мы ехали шагом, и разговор у нас был секретный. Незаметно ветер переменился. Вдруг мне показалось, будто кто-то стоит у плеча, видит нас и слушает наш разговор. Я оглянулся и впервые увидал весь снежный хребет от Казбека до Эльбруса.

Горы, горы! Два месяца я буду смотреть на вас с этого места, и каждый день по-разному вы будете играть мною, часто определяя на весь день мое настроение... Сегодня утром перед окном земля белая поднимается к небесам. На лесах туман рассек все черное белой полосой и оставил вверху черные зубчики леса, пилой своей пересекающие бок ближайшей горы с вечным снегом. Но гора эта закрывает еще более высокий Эльбрус.

Да, так и у гор, как у людей, очень часто небольшие закрывают собой высочайшие, и надо сделать лично большое усилие, лично совершить трудный путь, чтобы увидать вершины во всей их свободной и ничем не заслоненной красоте.

Бывает, идешь по равнине с какой-нибудь досадной мыслью, и она тебе все отравляет, и ты никак не можешь выкинуть ее из себя, пока не встретится чтонибудь особенное и не расширит твой кругозор.

Здесь же, при восхождении на гору, можешь не бояться ничего самого скверного — стоит сделать вперед десять трудных шагов, и открывается другой горизонт, и ты в кругозоре сам другой человек.

Психология подъема на гору: мученье в себе и радость вовне. Возвращаясь к себе, переносишь муку легко. Точно так же и в жизни, когда задыхаешься от мелочей и готов сам в этом погибнуть, обращаешься посмотреть вне себя, и тогда оказывается, что ты повысился, ты видишь, ты открываешь вокруг себя невиданные горизонты, возвращаешься к мелочам великодушным и щедрым.

Значит, существует труд и мука подъема, но если рекомендовать другим, то надо рекомендовать воодушевление подъема, радость, которую открывает подъем, а не муку.

Эрос — это сила восхождения... Понижение (пол) рождает обман. Если ты не понизишься, ты все будешь и будешь близиться к правде жизни, а когда ослабеешь, понизишься, то все будет казаться в оправдание слабости твоей обманом.

П о с л е г р о з ы. Я люблю, когда после грозы в майский день капли, капая с листьев, собираются в большие и снова падают до тех пор, пока самые-самые большие задумчиво не повиснут на ветках на целый день. Тогда — конец грозе.

И большие спокойные капли вспоминают на ветках, как непонятно сдвигались тучи на небе, и огонь, и вода, и земля непонятно и грозно объяснялись... «О чем? Что они хотели сказать?» — спрашивают спокойные задумчивые капли после грозы.

Никто не таится так, как вода, и только сердце человека иногда затаивается в глубине и оттуда вдруг осветится, как заря на большой тихой воде. Затаивается сердце человека — и оттого свет...

Ночью было продолжение мысли о возвращении героев в себя и перешло на всю поэзию: что поэзия, погуляв на людях, может вернуться к себе, в свой дом и служить себе самой, как золотая рыбка. Тогда все, что было в мечте, как дружба, любовь, домашний уют, мо-

жет воплотиться: явится друг, явится любимая женщина, устроится дом, и все выйдет из поэзии, возвращенной к себе.

Я могу об этом свидетельствовать: в моем доме нет гвоздя, не тронутого рукой любимой женщины. Так, может быть, со временем и весь желанный мир, вся природа войдет в меня и будет со мной.

*

Закат солнца. Нарочно не спряталось совсем, а остался глазок, — солнце сказало себе: «Подожду, хоть одним глазком на все погляжу, как-то живете без меня».

...Все цветет. Так все роскошно вокруг и так много всего, что душа моя — глиняный кувшин — не вмещает, и все льется через край из моего кувшина.

Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка, и кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость...

Вот почему я *выхожу из себя* и записываю сегодня для всех: «Зеленеет дорожка, друзья мои!»

ДЕРЕВЬЯ

Жизнь — это борьба за бессмертие, опушки старых лесов покрыты, как щеткой, молодой порослью: старые передали молодым дело борьбы за жизнь, и молодые так живут, будто они родились совершенно бессмертными. Тут борьба совершается без лозунгов, без идей: на опушке леса величайшее из дел совершается в стыдливом молчании.

Как это можно смотреть на выразительные, старые, высокие деревья и не увидеть в них жизнь всего человека, каким он смотрится из-за нашей спины в тихие заводи ручьев, рек и озер.

Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени: было маленькое семя ели, это семя раскрыло теперь все за-

ложенные в него возможности, и по срезу огромного ствола я считаю годовые круги.

В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева: из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.

Как нет на земле безвоздушного пространства, так нет и полного молчания. Если же всякий звук стихает, то деревья, кусты, облака, а то и запахи начинают говорить.

Так однажды весной я слышал в аромате почек благоухающую беседу березы с черемухой.

Прочитав прекрасную книгу, я думаю: вот я ее в день прочитал, а ведь чтобы написать ее, он истратил всю жизнь!

Выслушав весной первый зеленый шум у березы, я говорю: чтобы так прошуметь, ведь она полвека росла.

Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.

*

Как распускаются разные деревья. Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками торчат заключавшие их створки почек.

Дуб сурово развертывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом младенчестве своем какой-то дубовый.

Осинка начинается не в зеленой краске, а в коричневой и в самом младенчестве своем монетками, и качается.

Клен распускается желтый, ладошки листа, сжатые, смущенно и крупно висят подарками.

Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолистожелтыми пальчиками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи.

Внизу, на земле, вся лиственная мелочь показывает, что и у нее такие же почки, как у больших, и в красо-

те своей они внизу ничуть не хуже, чем там, наверху, и что вся разница для них во времени: придет мое время, и я поднимусь.

В золотистых оранжевых сорочках рождаются новые веточки елки, и когда они выходят, сороки летят, и цепляются за невидимые паутинки, и тревожат напрасно всех лесных пауков.

Новорожденные ветки, светло-зеленые на темной старой зелени, частые, изменяли весь вид угрюмого дерева.

Но и в такие солнечные дни эти елки сохраняют свое непокорное наивному счастью лиственных деревьев достоинство.

Ранней весной от солнца еловый лес зеленеет, но, когда береза распустится, он становится еще чернее, чем был, как будто по березе понял, что не стоит вообще зеленеть на земле.

А березку ничего не смущает, как зеленое воздушное видение стоит, скрывая свой белый ствол в еловой черноте.

Молодые елочки маленькие дают прирост лапками светло-зелеными, в сравнении с основной темной зеленью ели почти белыми.

На эти белые лапки у совсем крошечных елок смешно смотреть так же, как на лапищи маленьких щенят.

До того хорош бобрик частых еловых самосевов, что хочется его погладить ладонью, и даже в голову тут не приходит, что в этом столь мирном сожительстве родных елочек происходит война с изреживанием: процент изреживания в этой мирной жизни елочек во много раз больше, чем на войне у людей.

Играла кудрявая береза своими листиками, трепетала осина, и между ними дремал молодой дуб.

Невозможно нежные создания вырастают в лесу из какого-нибудь желудя, уроненного сойкой или белкой. Нитки, не толще, чем бечевка, поднимаются от земли и расходятся тремя нитками, такими тоненькими, что удивляешься, как это они держатся.

И каждая из этих трех ниточек, поднимаясь над травами, оканчивается огромным дубовым листом.

Дуб, если попадет на опушку на просеке, не поглядит на соседние елки, а вывернет свои державные суки прямо по ним к свету.

*

Среди друзей. Впереди, на солнце, от легкого ветра волновалась пересекающая просеку паутина, а казалось, будто это стрелка летит и вспыхивает на солнце то тут, то там.

Невозможно бывает при солнце приблизиться и увидать такую паутину. Но на этот раз случилось — эту невидимую тонкую паутинку оседлала двоешка старой сосновой хвоинки.

И так мне было хорошо на душе, что я наклонился под хвоинку и оставил за собой незадетую паутинку с перебегающими по ней солнечными стрелками.

Так я шел между деревьями в лесу, а в сердце чувствовал, будто я между людей прохожу.

Шел в лесу долго и, вероятно, стал уставать. Мысли мои стали снижаться и уходить из лесу домой. Но вдруг я почувствовал себя внезапно радостным и возвышенным, глянул вокруг и увидел, что это лес стал высоким, и стройные прекрасные деревья своим устремлением вверх поднимали меня.

Чем выше поднимается дерево, тем и крылышки-ветки постепенно поднимаются, как будто собираясь по воздуху с силой ударить, вырвать дерево и унести его к солнцу.

А самые верхние крылышки совсем высоко поднимаются, и на самом верху пальчик елки показывает направление вверх...

Бывает, тишина приходит в лес просто, и все смолкает, — и сам где-нибудь замрешь на пеньке. А бывает, деревья, кусты, травы, птицы как будто сговорятся друг с другом, скажут: «Будем молчать!» И все делают тишину, и сам глубоко задумаешься и по-новому смотришь на далекое старое.

Не шевельнется ни одна веточка, ни один листик не дрогнет, и только по форме крон знаешь: деревья стоят, как восковые. Никто не может сделать из воска

все так неправильно, а в общем, чтобы выходило из этого лучше правильного.

И вот чувствуешь щекой, будто кто-то из глубины леса дохнул на тебя. Или это так показалось? Нет! Вот тоненький, в вязальную спицу, и длинный, почти до груди человека, увенчанный цветущей метелкой пырея стебелек пошевельнулся, кивнул другому, и другой нагнулся и кивнул третьему. А дальше там папоротник на одном стебельке перешепнулся с другими, и все о том же, что чувствую я своей щекой: в полной тишине наверху лес дышит изнутри, как человек.

ЖИВОТНЫЕ

Мысли и слова человеческого нет в природе, но человек, обернувшись назад в природу, может понять каждую тварь в ее напряженном движении к слову, и когда всякая тварь займет свое место, человек и радуется, понимая во всяком звуке природы свое же усилие на пути борьбы своей за слово.

Земля трудом человека не насытится, сколько ни трудись, все как будто кто-то смотрит на тебя и ждет усилия особенного в понимании.

В тревоге без памяти отдаемся труду до изнеможения, а собачка рядом сидит и глазами своими говорит: «Брось пустяки, не вертись, пойми, а потом делай, пойми сразу и начинай!»

Самая пустая собачонка, а вот как трудно забыть эти глаза...

...Это та наша собственная душа, которой мы стыдимся в себе, которой боимся, что она выпрыгнет в незаконное время, которой мы, глядя на детей, улыбаемся. Это душа наша бессмертная, и если ее соблюсти, то смерти не надо бояться.

Вот эта самая душа высвечивает у животных. Надо учиться уважать явления жизни животных.

*

Самая злая неправда о природе бывает от самомнения плохо образованного человека: он ставит себя слишком высоко для того, чтобы считаться с какими-

то зверушками, и оттого спешит объяснить их жизнь по себе — человеку... И вдруг я понял свое дело как науку связи между всем существующим.

Друг человека. Обезьяна не тем нам дурна, что некрасива, а что судит о нас по себе и все, что нам дорого, отличающее человека от животного, принимает за свои обезьяньи естественные потребности.

Напротив, собака видит в нас высшее существо и старается заслужить нашу любовь и уважение.

Бывает, собака-щенок, играя с бумажкой, привязанной на ниточку, вдруг что-то заметит, может быть, даже разгадает секрет игры и глазами, как будто освещенными настоящим светом разума, заглянет в глаза самому человеку.

Если собака поглядела на меня человеческим взглядом, то, значит, был же человек на свете, передавший собаке этот свой человеческий глаз?

Я понимаю, если собака моя ложится на пол и прижимается непременно к моей ноге, это для того, чтобы во время ее сна я не ушел. Понимаю ее, как собаку. Но если ночью, когда идти некуда, она проснулась, ей стало не по себе почему-то, и она, взяв зубами своими свой тюфячок, подтащила к моей кровати на другой стороне комнаты, и уснула, и была довольна, что спала не с печкой, а рядом с человеком, — это у нее человеческое чувство одиночества и жажды близости, и это от человека у нее.

Бой. «А если я крепко усну, он же напьется чаю, уйдет, закроет за собой дверь, и мне останется только выть с горя?»

Так думает Бой под лавкой, когда я пью чай, и, подумав (что несомненно), тихо, крадучись переходит к выходной двери и тут у порога ложится и закрывает глаза.

Жулька. Жулька сначала идет по следу, а когда потеряет, ведет по мечте. И все поле переходит в мечте.

Метель в поле страшная, наст, однако, в лесу от собаки не проваливается. Сквозь метель Жулька увидела летящую птичку и со всех ног во все тяжкие бросилась за ней по насту. Она догнала, схватила, но это не птичка, а старый сухой дубовый лист. Но ничего! Вот другой летит, и собака уже не бежит за ним.

Так и мы тоже бежим за мечтой своей, как за птичкой, а потом научаемся мечтой своей управлять и свою птичку не смешивать с каким-нибудь сухим листиком.

Как зеленое пламя, вспыхнула береза в еловом темном лесу, и ветерок уже заиграл всеми ее листиками и будет играть всю весну, все лето и осень, пока все не сорвет и не останется береза опять одна со своими голыми прутиками.

— Ты знаешь, Жулька, — сказал я своей умнице собаке, — эта березка, может быть, так же когда-нибудь, как мы с тобой, бегала, но ей понравился ветер, и что он играет ее листиками. Вот она остановилась и отдалась ветру, и с тех пор она стоит так, и он ею играет.

Она невидимая и неслышимая шныряет в кустах, и на полянке узнаешь о ней только по цветам: цветочки, раскачиваясь после нее на своих длинных высоких стеблях, перешептывают друг другу: «Она тут шла, шла и прошла...»

В лесу много пней и есть какой-нибудь, где я когда-то сидел и писал. Жулька, забежав вперед меня, сядет около него и ждет. А когда я покажусь из кустов, напряженно глядит на меня, и я понимаю ее вопрос: «Дальше пойдем или будем писать?» В этот раз мне захотелось пописать.

— Будем писать, — сказал я.

И сел. А Жулька села, тесно прижавшись к моей коленке. Это она делает всегда, неизменно, и у меня есть два объяснения: одно — что так лучше ей будет дать знать, когда покажется враг, и второе — что так в тесноте ей отчасти можно будет участвовать в творчестве.

*

Гусь на солнце. Вернулось солнце. Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружинке, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, ярко сверкающий клюв и загоготал.

Дятел. Видел дятла: летел короткий (хвостик у него ведь маленький), насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежав вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места, он увидел, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчала отработанная и несброшенная шишка, и новую шишку ему некуда было девать. И нельзя было ему, нечем было сбросить старую: клюв был занят.

Тогда дятел, совсем как сделал бы в его положении человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую шишку, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

Ласточка. Паводок почти как весной, все лавы снесены давно, и некоторые береговые кусты корзиночной ивы стали островами. На одном таком островке ласточка усадила своих питомцев, чтобы никто не мешал их кормить. И люди вокруг стояли маленькие и большие.

Маленькие тужили, что никак их не достанешь, а старшие дивились уму ласточки: нашла же место — все видят, а тронуть не могут.

Водяная крыса. Это было в апреле на пойме, где разлив затопил леса. Кустиками над водой торчали верхушки деревьев. Я подъехал к ним на челноке, и тут на одной ветке в лучах вечернего солнца сидела водяная крыса. Она потеряла свою родину, и это событие в ее личной крысиной судьбе было не общее крысиное, а чисто личное: для спасения своего она не могла применить общий крысиный опыт, как делают все крысы, и как делала она сама всю жизнь, и только этим жила, и опыта этого ей было довольно.

Теперь она стала как человек и должна была для своего спасения придумать что-то свое, личное. Она плыла, наверное, издалека и до того была утомлена, что не бросилась в воду, даже когда я стал в упор смотреть на нее... Лоб ее округлялся, как у человека, и что-то прекрасное человеческое было в ее глазах, обыкно-

венно черных, теперь кровавого цвета в луче заходящего солнца.

Прекрасным был мне отблеск разума в крысиной судьбе, и я думал: вот и тут человек есть, в этой крысе, и везде он может быть.

И тихо, боясь нарушить покой отдыхающей водяной крысы, я стал отодвигать назад свой челн.

СВЕТ И ТЕНЬ

В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ.

Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его путях в пространстве и времени.

Бывает, погасшая для себя звезда для нас, людей, на земле горит еще тысячи лет.

Человека того нет, а слово остается и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды во вселенной.

*

Солнцеворот. Композитор Н. поздравил меня с «весной света».

Нет сомнения в том, что так это и надолго пойдет от меня: весна света. Сам же я начинаю подумывать о весне теней: только ведь благодаря теням остается жизнь на земле.

Свет и свет! Там не бывает времен года, солнце само по себе горит и горит, а это земля повертывается, и это движение *вокруг себя* порождает тени, регулирующие свет, чтобы длилась жизнь на земле.

Жизнь есть воздействие света на тень: в свете все соединяется, в тени образуется.

Все стремится к свету, но если бы всем сразу свет, жизни бы не было: облака облегают тенью своей солнечный свет, так и люди прикрывают друг друга тенью своей, она от нас самих, мы ею защищаем детей своих от непосильного света.

Много сказано о физике света, но почему же так мало знаем мы о физике тени? Что, если свет является первостимулом движения вверх, а тень, падающая с ос-

вещенного предмета на землю, заставляет затененный предмет выйти из-под тени, и это и есть начало движения вширь?

Есть существа, способные так прямо, и верно, и открыто, и сияюще смотреть, что сами становятся похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветком-солнцем посреди.

Но бывают цветы-мечтатели, они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не видят, и форма цветов у них как результат отношений света и тени. Посмотрите на ландыш...

*

Тот маленький дом, в котором мы рождаемся, разрушается со временем, как и гнездо у птиц: птицы вылетают на большой простор, предоставляя гнездо дождям и бурям, а человек должен непременно достигнуть такого простора, чтобы тело свое почувствовать вместе со всей землей, ее воздухом, светом, водой, огнем и всем населением, как свой собственный дом.

Прочитал популярную астрономию Спенсера Джонса. Книга представляет нам вселенную во всем ее бездушии и жизнь как случайность. Автор отвечает на вопрос о том, есть ли жизнь в других мирах, сомнением: слишком для этого много должно сойтись случайностей. В особенности у него страшна одна огромная планета с ядовитой атмосферой, исключающей всякую жизнь, и покрытая огромной толщины льдом. Раздумывая об этом, в ужасе прижимаешься к образу человека с его звездами — ангельскими душками — и ясно видишь происхождение космической гармонии в душе человека («на воздушном океане хоры стройные»).

Чем больше астрономия открывает на небе мертвых миров, раскаленных солнц и планет, покрытых льдом толщиной в тысячи километров, окруженных отравленной атмосферой, тем ярче разгораются в нашей душе на нашем собственном человеческом небе глазки ангелов, глядевших в детстве оттуда на нас.

Придет время, когда мы на эти свои огоньки на нашем собственном человеческом небе будем смотреть,

не пугаясь бездушного вращения и бега горячих и холодных астрономических тел.

Мало того! У нас есть надежда, что когда-нибудь мы им поможем, горячие отведем, холодные подведем к горячим, чтобы у них началась наша жизнь. Какое тогда откроется над мертвой вселенной одухотворенное человеческое небо!

Но когда еще это будет, а пока каждый из нас должен стать между своим небом и астрономическими телами и должен выбрать для себя такое место, чтобы видно было и свое небо, и то, подлежащее изменению.

Просто говоря, каждый из нас должен найти собственное полезное место в общем творчестве мира и потом держаться его.

Мир, с которым в душе мы приходим, в миллион раз прекрасней того, что мы потом узнаем о нем из книг. Разве можно чудеса звездного неба в какой-нибудь мере сравнить с тем, что открывает нам астрономия? Но знание тем хорошо, что открывает нам силу человека, не такого отдельного, как я и мои знакомые, а всего, соединенного законами жизни человека.

После нашей луны, как являлась она нам среди деревьев в аромате лугов и садов, что скажут нам открытые на ней мертвые бесчеловечные пустыни? Этот глаз соединенного знанием человека, пронзающий пространства, и этот ум одного великого человека, переходящий по наследству к другому, нарастающий в культуре, как лавина, в ужасающей силе, и просторы возможностей в будущем...

Когда же наконец педагоги начнут нашим детям рассказывать о знании, не обманывая их в открытиях чем-то лучшим, а открывая им перспективу нарастающей мощи восходящего в единстве своем человека, способного в будущем повелевать вселенной?

Проснулся в два с половиной утра, когда на востоке внизу явно светлело, а повыше, в кулак величиной, горела звезда. Пробудилось во мне знакомое чувство космоса в борьбе его ужасной с нигилизмом науки. Как будто вся жизнь была истрачена в этой борьбе на то, чтобы гармонию космоса вернуть себе: я ее породил, я ее распространил на небо, и я же теперь ее

возвращаю себе и назначаю туда, где нет ученых и где совершенство никто не возьмет у меня.

Так была звезда утром на рассвете. А сейчас в десять утра я пишу о ней. На листике цветущего картофеля блестит крупная капля росы, и она для меня сейчас лучами своими поднимает такую же радость, как и та утренняя звезда. Только там, я знаю, это не звезда была, а небесная планета Венера, слишком нагретая солнцем, чтобы можно было на ней предполагать жизнь. А эта росинка неразоблачима, и ее теперь мне совершенно достаточно, чтобы ощутить ту же самую радость, какую в детстве давала планета.

И вот это-то и есть прогресс человека: не в том, значит, что он энергией мысли своей, познавая, гасит миры, а в том, что, погашая те, он смыслом мысли своей зажигает новые.

Купался и встретился первым глазом с незабудкой. Не знаю, что и думать, я ли на нее обратил внимание или она сама заставила меня обратить на себя внимание после чтения страшной книги о бездушье вселенной?

В этой незабудке с ее желтеньким солнцем внутри и с небом голубым о пяти лепестках я встретил живую вселенную, побеждающую существом своим внутреннее бессмыслие ее вертящихся органов.

И пусть нет звездочек на небе, как «ангельских душек», зато есть на земле незабудки.



СОДЕРЖАНИЕ

Пришвин Михаил Михайлович

П-77 Сказка о правде. Составитель и автор предисловия В. Д. Пришвина. М., «Молодая гвардия», 1973.

496 с., с илл. («Тебе в дорогу, романтик».) 150 000 экз.

В 1973 году исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина.

Произведения Пришвина отличаются глубоким проникновением в жизнь природы и огромной любовью к человеку.

В сборник «Сказка о правде» вошли отрывки из автобиографического романа «Кащеева цепь», «Календарь природы», «Черный араб», «Женьшень», отрывки из последнего романа «Осударева дорога».

Р2

7—6—3
165—72

Редактор **М. Катаева**

Художник **Ю. Иванов**

Художественный редактор **В. Плешко**

Технические редакторы **В. Агеева, И. Соленов**

Корректоры **З. Харитонова, Г. Василёва**

Сдано в набор 4/X 1972 г. Подписано к печати 3/I 1973 г. Формат 84×108[1]/32. Бумага № 1. Печ. л. 15,5 (усл. 26,04) + 1 вкл. Уч.-изд. л. 25,7. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 22 к. Т. П. 1972 г., № 165. Заказ 1238. Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: Москва, А-30, Сущевская, 21.

Ц. 22 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


М. ПРИШВИН